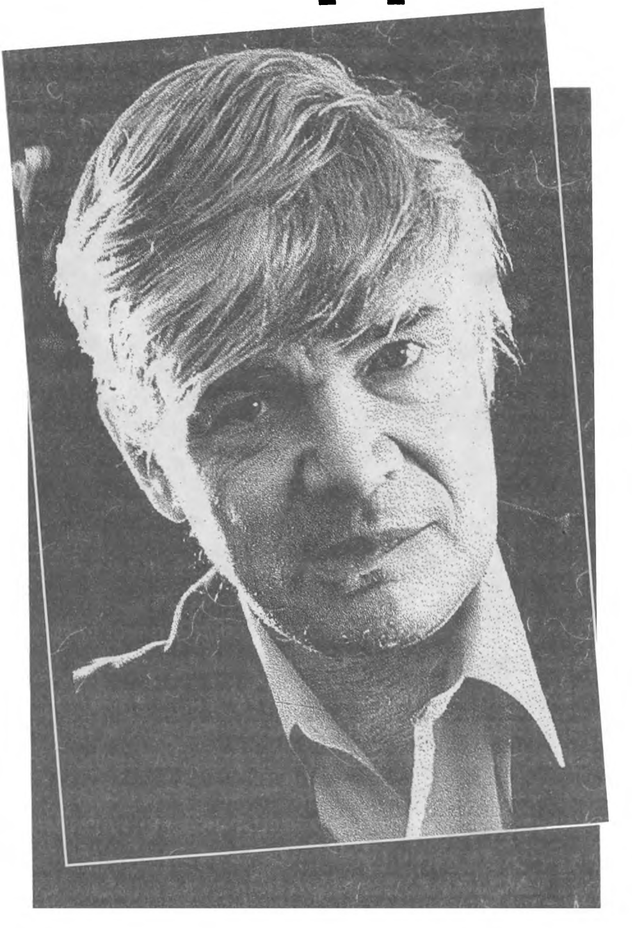
Венедикт ЕРОФЕЕВ

1

Венедикт ЕРОФЕЕВ 1

В. Гр.

Венедикт



Ерофеев



собрание сочинений

том 1

Краткая автобиография

Москва-Петушки

Вальпургиева ночь,
или Шаги Командора

Из записных книжек



МОСКВА ВАГРИУС 2001

УДК 882-3
ББК 84Р7
Е 78

Художник Т. Гусейнова

Подготовка текста В. Муравьева

ISBN 5-264-00705-5
ISBN 5-264-00706-3 (т. 1)

«Высоких зрелищ зритель»

...Однажды осенним утром лет тридцать тому назад с Курского вокзала отправилась за сто верст электричка, а в ней якобы сидел, прижимая к груди чемоданчик с полными бутылками, некий Венедикт («Веничка») Ерофеев. Ехал он до конца, в городок Петушки, по делам *не менее любовным, нежели семейным,* одинаково — жизненно! — важным для него. Эта поездка, более или менее подлинная, приобрела поэтическое измерение и тем самым сугубую реальность, став «Путешествием из Москвы в Петушки», описанным Веничкиным двойником, загадочнейшим Венедиктом Васильевичем Ерофеевым, который любил подписываться В. Ер.: а «Wer» по-немецки «кто», а «Ник. Т-о» — псевдоним очень любимого им поэта Иннокентия Анненского.

Согласно описанию, путешествие подобающе завершилось злодейским убийством Венички — и, само собой, его немедленным воскресением de facto в качестве,

---

Эта статья (на наш взгляд, одно из лучших произведений о творчестве Вен. Ерофеева) была опубликована в качестве предисловия к сборнику прозы «Записки психопата» («ВАГРИУС», 2000). К сожалению, ее автор, Владимир Муравьев, не дожил до выхода двухтомника, к созданию которого он приложил немало усилий. — *Здесь и далее примеч. ред.*

скажем так, антилитературного героя поэмы «Москва — Петушки», явившейся миру в 1970-м и прочтенной сперва несколькими тысячами советских людей в машинописных копиях, а затем несколькими десятками тысяч обитателей зарубежья на пяти-шести европейских языках. С конца 1980-х начали множиться ее типографские оттиски, более или менее искаженные, на родине автора.

Издания расходились и расходятся, так что поэму, по-видимому, читают; но у критиков она, как правило, не в чести — и это при том, что ее оприходовали и зачислили в состав российской литературы, что бы это ни значило (значит это немногое).

Разумеется, пробовали и ниспровергать автора, разоблачать его и вообще ставить на место с некоторым профессорским недоумением, как Вл. Новиков, или писательским раздражением, как Вас. Аксенов. Но чаще пытались как-нибудь пристроить к месту поэму, объявляя ее то исповедью, то отповедью, то проповедью, то заповедью.

И все это — в художественных и нравственных пределах позднесоветской или постсоветской литературы, под воздействием туманного представления, будто если что-нибудь написано в 60-х, то автор — «шестидесятник», пусть и необычный. Расхожие представления о «шестидесятниках» до смешного типологизованы, и мы едва ли не заранее знаем, что и в каком смысле хотел сказать Евтушенко, Вознесенский или опять же Аксенов, даже из-за границы. По-видимому, отсюда и готовность наскоро понимать, «о чем Ерофеев».

Контекстом «шестидесятничества» была советская литература, а если взять шире — то советская социали-

стическая культура мировосприятия, насквозь идеологизированного, причем никакие частные акценты, протестные или обновленческие, дела не меняли. Мировосприятие это намертво скреплялось образом жизни, в которой безраздельно властвовали определенные стандарты речи, внешности, поведения, одежды... Никакое «инакомыслие» в условиях морально-политического единства было даже непредставимо и уж во всяком случае с самого начала (оно же и конец) находилось в компетенции соответствующих органов. В принципе, надлежало стандартизовать все, и не столько отрицательный, сколько заблудший персонаж тогдашнего советского популярного романа робко жалуется возлюбленной: что это — чуть шаг в сторону, сразу окрик; возлюбленная же удивленно советует ему: а ты не суйся в сторону, иди в строю, как все.

Самым страшным и убийственным было забытое сейчас громовое слово-обвинение «отщепенец», действительное на всех уровнях жизни. Собственно говоря, это было то же самое, что прежде «враг народа», и недаром прозорливый администратор сообщает герою ерофеевских «Записок психопата», что он — «врах» и что его надо без лишних слов расстрелять. Самым детективным сюжетом было тогда изобличение («узнавание») чужака, притворяющегося своим — и в чем-то, как выясняется, не такого, как все («как положено»).

В поэме «Москва — Петушки» этот сюжет многократно отражается, преломляется и служит ее заключительным аккордом. Конечно, он озвучен совсем иначе, нежели в советской и постсоветской литературе. Что и неудивительно — ведь во всякой поэме присутствует, если не преобладает, лирическое начало, а здесь это на-

чало чрезвычайно усилено повествованием от первого лица: от лица, как уже говорилось, авторского двойника.

Главенствует в поэме изображение речи; да собственно говоря, кроме речи, в ней ничего и не изображается, а речь изображает рассказчика. Иного его изображения не дано.

Этот рассказчик заведомо не стоял ни в одной из бесконечных очередей советской действительности — разве что за водкой, но тогда их еще почти не было, и вообще очереди за выпивкой — «особь-статья», как и сама выпивка. Вместе с выпивкой «особь-статья» и все существование Венички Ерофеева, новоявленного «лишнего человека» русской литературы, в свою очередь лишней, сброшенной с «парохода современности» еще на заре новой эпохи. Правда, впоследствии она была огулом реабилитирована и объявлена провозвестием грядущего социализма — и в этой сомнамбулической роли стала подспорьем ерофеевских игрищ.

В своем качестве сочинителя-повествователя Ерофеев подыгрывает такому и тому подобному маскараду. Он — его соучастник, зритель и ведущий, массовик-затейник. На этой последней роли в его трагедии «Вальпургиева ночь» оказываются целых два персонажа; но пока что, в словесном действе поэмы, за всех отдувается один Веничка.

Хорош, однако, «лишний человек»! Однако же именно «лишний», примыкающий к той веренице героев русской литературы, которую открывает Евгений Онегин и которую литературовед Г. А. Лесскис называет «онегинской парадигмой» в книгах «Пушкинский путь в русской литературе» (1993) и «Национальный русский тип (От Онегина до Живаго)» (1997). Правда,

в отличие от неприкаянных ее представителей, Веничка с веселой благодарностью принимает свою роль изгоя и отщепенца как жизненное назначение. «Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль», как заявлял в подобном случае лирический герой Пастернака, тут же, впрочем, требуя «увольнения» от «иной драмы». Веничка увольнения со сцены не ждет и не требует.

...До самого недавнего времени в советской России обозначались примерно три жизненных позиции — можно было либо целиком вписаться в социалистический образ жизни, либо обустроиться в нем на особых правах — то ли начальником, то ли блатным, то ли отечественным иностранцем: словом, отыскать, что называется, «экологическую нишу», либо же стать «третьим лишним», вроде известного тунеядца Иосифа Бродского. Правда, Бродский, как и его лирический герой, рано возымел социальный статус поэта и таким образом явочным порядком перешел во вторую из означенных категорий.

Веничка, как и Венедикт Васильевич Ерофеев, *никакого* социального статуса не возымел. *Как* будущий герой поэмы выбивается из всех жизненных сценариев советской действительности, *чего* это ему стоит и *что* с ним при этом делается — явствует из «Записок психопата» даже в том довольно усеченном виде, в каком они здесь впервые публикуются.

Неустроенность жизни приобретала значение программное и метафорическое («Сын Человеческий не знает, где приклонить Ему главу») и в этом значении становилась Скитальчеством и квалифицировалась как бродяжничество и тунеядство. Процесс против тунеядца

Бродского был тем символическим «запретом на скитальчество», о котором идет речь в пьесе Венедикта Ерофеева.

Задним числом и особенно из «прекрасного далека» иной раз казалось, как тому же Бродскому из Америки, будто в СССР так-таки можно было пребывать в стороне от советской действительности. На самом деле этого было никак нельзя; но притворяться, будто живешь в «некотором царстве» и вести себя так, словно «ничего этого нет» — пробовали, и порой небезуспешно.

Такая страусиная игра в прятки с реальностью делала человека нравственно невменяемым, а вдобавок означала еще и подмену жизни, утрату ее исторического смысла и места собеседника на пиру у «всеблагих», как выражался в молодости Федор Тютчев. Он утверждал, что «счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые», потому что «счастливец» приглашен и призван, он — «высоких зрелищ зритель». Стихотворение, как известно, о Цицероне, который был отнюдь не просто «зрителем зрелищ», а их активным участником и даже организатором.

Вот и для Ерофеева дело было не в том, чтобы укрыться или спастись от советской действительности; он снова и снова разыгрывал свое пришествие в нее — перефразируя Маяковского, «бросался в коммунизм с небес поэзии», нырял в повседневность, стараясь как можно полнее оценить ее обыденно-ритуализованное безобразие и распознать в нем мистериальное действо, сделавшись его соучастником и в то же время наблюдателем.

Таковы тематический прицел и, соответственно, построение «Москвы — Петушков», поэмы о советской

обыденной жизни перед лицом мировой культуры, за которую предстательствует Веничка Ерофеев. В конце поэмы полномочная четверка, то есть некое сакральное число хозяев и распорядителей этой жизни, Веничку закалывает, и, в отличие от сходного убийства безымянного героя Кафки в «Процессе», это — ритуальное жертвоприношение, и социальный смысл его хоть и темен, но очевиден. Веничка погибает за то, что непохож на «других», на «всех», и это вовсе не трагический финал индивидуальной судьбы, а часть все того же таинственного игрища советской повседневности, опрокинутой в культурно-историческое измерение.

К сожалению, у оценщиков ерофеевского творчества речь чаще заходила о религиозном измерении: и правда, «действо о Ерофееве» время от времени приобретает христианско-мифологический оттенок, становясь как бы «страстями по Ерофееву». Иногда повествование нарочито приводит на память евангельские мотивы воскрешения Лазаря и дочери Иаира, Христовых притч и поучений, Тайной Вечери, восшествия на Голгофу, распятия... Но любая жизнь в нашем христианском эоне так или иначе сопричастна его центральному сюжету, повести о казни Бога-искупителя как странной и чудовищной благой вести. С нею очень даже вяжется Веничкина как бы предначертанная участь бесприютного странника, поэта и провидца, открывателя «тайн бытия» и безвинной, кроткой жертвы. От этого, впрочем, очень далеко до уподобления рассказчика Христу и тем более до его самоотождествления с Ним; да такое дурацкое и постыдное кощунство и не идет к Веничкиному облику. Он вовсе не Иешуа Га-Ноцри, и его религиозные притязания по большей части пародийны, как богоугодное на-

мерение создать новый коктейль или усмотрение Десницы Божией в неравномерности пьяной икоты. Веничка — сказитель-выдумщик, ведущий речевого действа, воссоздающего действительность — и как соучастник творения, разумеется, сопричастен Слову-Логосу, хоть эта сопричастность и осложнена обоюдоострой иронией.

Поэма несет утоление тем, кто изголодался по слову не подсобному и не затасканному, а «самовитому», как выражались футуристы, в данном случае освобождающему от ощущения иллюзорности и неполноценности обыденного существования. От ощущения, скажем прямо, иллюзорного, навязываемого нам безличным обыденным сознанием, которое представляется адекватным действительности, ее «отражением», чуть ли не зеркальным. Наивный реализм закрепощает человека, и надо лишь понять и почувствовать, что это — наваждение, чтобы освободиться. Повседневность оказывается гораздо объемнее и многомернее, чем ее узкое, «зашоренное» восприятие.

Об этом и свидетельствует поэма, в которой утреннее похмелье, опохмел и попойка в электричке со случайными попутчиками, сон с перепою и вечерняя абстиненция претворяются в мистерию: приоткрываются историческое и мифологическое измерения жизни, обнаруживается ее всеобъемлющая поэтическая значимость, бытовые мелочи обретают символическую окраску, всякое слово прокатывается эхом и оборачивается событием. Один из ранних рассказов Кафки назывался «Доказательство того, что жить невозможно»; поэма Ерофеева — открытие возможной полноты бытия, принятие обыденной жизни в самых неприглядных и невыгодных обстоятельствах.

Чтобы толком воспринимать ерофеевскую прозу, надо читать ее как поэзию, благо и в языке ее, и в ритмике то и дело чувствуется стихотворная ориентация. «Поэма» — определение количественное, и обозначает оно всего-то навсего большую поэтическую форму, а уж стихи или проза ее образуют — не столь важно. В конце концов, чем проза не стихи? По отношению к ерофеевской прозе на этот вопрос ответить невозможно, во всяком случае, по отношению к поэме «Москва — Петушки».

Основные свои признаки эта проза сохраняет и в других его сочинениях, ни в чем не повторяющих поэму, автором которой в первую и последнюю очередь ему суждено остаться навсегда. В полной мере сохраняется и самодовлеющий, антиописательный характер прозы, и ее установка на преображение, а не изображение. Авторский голос все тот же, и он мгновенно распознается по сверхразговорным — и чрезвычайно индивидуальным — интонациям и рискованным словесным перепадам; даже если, как в трагедии «Вальпургиева ночь», автор расщепляется, превращаясь в двух псевдорезонеров и псевдорежиссеров (в набросках второй трагедии «Фанни Каплан» — в двух Лжедимитриев). В «розановском» беллетризованном эссе это раздвоение происходит иначе: появляется собеседник, персонаж, составленный из цитат, так или иначе подыгрывающих автору, как бы корректирующих его речь, оттачивающих его собственные соображения и высказывания. Впрочем, Василий Васильевич Розанов тоже подает кое-какие реплики и даже содействует выстраиванию авторских монологов — затем и приглашен в качестве благосклонного призрака.

Персонажи «Вальпургиевой ночи» — застывшие маски, как нельзя более уместные в трагедии (или трагикомедии) античного толка. Это «чистая» трагедия рока: в ней тоже, собственно, ничего не происходит, кроме дружного отравления палаты психиатрической лечебницы метиловым спиртом, — но превращается оно в пляску смерти и гибельное действо, достойно завершающее игры воображения персонажей. Каждый из них выполняет свое речевое задание — и умирает либо пропадает за сценой. Два ерофеевских затейника организуют, направляют и комментируют действие, заключающееся в произнесении монологов или разыгрывании сценок, имеющих самое косвенное касательство к очень скудному внешнему, «больничному» сюжету. И, как в «купе» электрички, следующей в Петушки и подвозящей Веничку к гибели, в палате становится празднично. Празднуется встреча со смертью. Метиловый спирт вкушается, как причастие, и действительность (не больничная, а историческая, «современная», советская) претворяется в мистерию. Вычеркнутые из жизни, лишенные обыденного существования узники-духовидцы становятся ее (мистерии) действующими лицами.

Но чтобы стать таковыми, требуется особого рода искус. Блаженные и юродивые, впрочем, могут и без него обойтись, зато уж автору надлежит «вкусить все отравы» и примерить самые разнообразные словесные обличья. Стажировка на соучастие в собственной прозе, обживание слова в контексте действительности — сюжет его юношеских, подготовительных, — а впрочем, как убедится читатель, вполне самодовлеющих «Записок психопата». Вряд ли их можно принять за дневник: а упоминания подлинных лиц и событий здесь совершенно

того же свойства, что в грядущей поэме. Это по-своему целостная и законченная повесть о писательском становлении, о преображении персонажа в Автора. Обязательное условие такого преображения — непрерывный информационно-смысловой поиск: он отражен в мозаичном зеркале выборки из записных книжек. Очевидно, три основных, изданных при жизни автора, сочинения Ерофеева в сочетании с «Записками психопата», более или менее дополненные его записными книжками и интервью, и должны составить канон его творческого наследия.

Владимир Муравьев

Краткая автобиография

Ерофеев Венедикт Васильевич. Родился 24 октября 1938 года на Кольском полуострове, за Полярным кругом. Впервые в жизни перешел Полярный круг (с севера на юг, разумеется), когда по окончании школы с отличием, на 17 году жизни, поехал в столицу ради поступления в Московский университет. Поступил, но через полтора года был отчислен за нехождение на занятия по военной подготовке. С тех пор, то есть с марта 1957 года, работал в разных качествах и почти повсеместно: грузчиком продовольственного магазина (Коломна), подсобником каменщика на строительстве Черемушек (Москва), истопником-кочегаром (Владимир), дежурным отделения милиции (Орехово-Зуево), приемщиком винной посуды (Москва), бурильщиком в геологической партии (Украина), стрелком военизированной охраны (Москва), библиотекарем (Брянск), коллектором в геофизической экспедиции (Заполярье), заведующим цементным складом на строительстве шоссе Москва — Пекин (Дзержинск, Горьковской области) и многое другое. Самой длительной, однако, оказалась служба в системе связи: монтажник кабельных линий связи (Тамбов, Мичуринск, Елец, Орел, Липецк, Смоленск, Литва, Белоруссия — от Гомеля до Полоцка через Могилев и пр. и

пр.). Почти 10 лет в системе связи. А единственной работой, которая пришлась по сердцу, была в 1974 году в Голодной степи (Узбекистан, Янгиер), работа в качестве «лаборанта паразитологической экспедиции», и в Таджикистане в должности «лаборанта ВНИИДиС по борьбе с окрыленным кровососущим гнусом». С 1966 года — отец. С 1988 года — дед (внучка Настасья Ерофеева).

Писать, по свидетельству матери, начал с пяти лет. Первым заслуживающим внимания сочинением считаются «Записки психопата» (1956—1958 гг.), начатые в 17-летнем возрасте, самое объемное и самое нелепое из написанного. В 1962 г. — «Благая весть», которую знатоки в столице расценили как вздорную попытку дать «Евангелие русского экзистенциализма» и «Ницше, наизнанку вывернутого». В начале 60-х годов написано несколько статей о земляках-норвежцах (одна о Гамсуне, одна о Бьернсоне, две о поздних драмах Ибсена). Все были отвергнуты редакцией «Ученых записок Владимирского Государственного педагогического института», как «ужасающие в методологическом отношении». Осенью 1969 года добрался, наконец, до собственной манеры письма и зимой 1970 года нахрапом создал «Москва — Петушки» (с 19 января до 6 марта 1970). В 1972 году за «Петушками» последовал «Дмитрий Шостакович», черновая рукопись которого была потеряна, однако, а все попытки восстановить ее не увенчались ничем.

В последующие годы все написанное складывалось в стол, в десятках тетрадей и толстых записных книжек. Если не считать написанного под давлением журнала «Вече» развязного эссе о Василии Розанове и кое-чего по мелочам.

Весной 1985 года появилась трагедия в пяти актах «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Начавшаяся летом этого же года болезнь (рак горла) надолго оттянула срок осуществления замысла двух других трагедий. Впервые в России: «Москва — Петушки» в слишком сокращенном виде появились в журнале «Трезвость и культура», (№ 12, за 1988 год, № 1, № 2, № 3 за 1989 год), затем в более полном виде — в альманахе «Весть»... и, наконец, почти в каноническом виде — в этой книге*, в чем, признаюсь, я до последней минуты сильно сомневался.

---

* Ерофеев В. «Москва — Петушки» и пр. М.: Прометей, 1989.

Москва-Петушки

ПОЭМА

Уведомление автора

Первое издание «Москва — Петушки», благо было в одном экземпляре, быстро разошлось. Я получал с тех пор много нареканий за главу «Серп и Молот — Карачарово», и совершенно напрасно. Во вступлении к первому изданию я предупреждал всех девушек, что главу «Серп и Молот — Карачарово» следует пропустить, не читая, поскольку за фразой «И немедленно выпил» следуют полторы страницы чистейшего мата, что во всей этой главе нет ни единого цензурного слова, за исключением фразы «И немедленно выпил». Добросовестным уведомлением этим я добился только того, что все читатели, в особенности девушки, сразу хватались за главу «Серп и Молот — Карачарово», даже не читая предыдущих глав, даже не прочитав фразы «И немедленно выпил». По этой причине я счел необходимым во втором издании выкинуть из главы «Серп и Молот — Карачарово» всю бывшую там матерщину. Так будет лучше, потому что, во-первых, меня станут читать подряд, а во-вторых, не будут оскорблены.

В. Ер.

Вадиму Тихонову,
моему любимому первенцу,
посвящает автор
эти трагические листы

Москва. На пути к Курскому вокзалу

Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало — и ни разу не видел Кремля.

Вот и вчера опять не увидел, — а ведь целый вечер крутился вокруг тех мест, и не так чтоб очень пьян был: я, как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декокта люди ничего лучшего еще не придумали.

Так. Стакан зубровки. А потом — на Каляевской — другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели, но я согласен, что и это антигуманно. Поэтому там же, на Каляевской, я добавил еще две кружки жигулевского пива и из горлышка альб-де-дессерт.

Вы, конечно, спросите: а дальше, Веничка, а дальше — что ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. Помню — это я отчетливо помню — на улице Чехова я выпил два стакана охотничьей. Но ведь не мог я пересечь

Садовое кольцо, ничего не выпив? Не мог. Значит, я еще чего-то пил.

А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так: когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, и надо было идти на Курский вокзал, а не в центр, а я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть: все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал.

Обидно мне теперь почти до слез. Не потому, конечно, обидно, что к Курскому вокзалу я так вчера и не вышел. (Это чепуха: не вышел вчера — выйду сегодня). И уж, конечно, не потому, что проснулся утром в чьем-то неведомом подъезде (оказывается, сел я вчера на ступеньку в подъезде, по счету снизу сороковую, прижал к сердцу чемоданчик — и так и уснул). Нет, не поэтому мне обидно. Обидно вот почему: я только что подсчитал, что с улицы Чехова и до этого подъезда я выпил еще на шесть рублей — а что и где я пил? и в какой последовательности? Во благо ли себе я пил или во зло? Никто этого не знает, и никогда теперь не узнает. Не знаем же мы вот до сих пор: царь Борис убил царевича Димитрия или наоборот?

Что это за подъезд, я до сих пор не имею понятия; но так и надо. Все так. Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян.

Я вышел на воздух, когда уже рассвело. Все знают — все, кто в беспамятстве попадал в подъезд, а на рассвете выходил из него, — все знают, какую тяжесть в сердце пронес я по этим сорока ступеням чужого подъезда и какую тяжесть вынес на воздух.

«Ничего, ничего, — сказал я сам себе, — ничего.

Вон — аптека, видишь? А вон — этот пидор в коричневой куртке скребет тротуар. Это ты тоже видишь. Ну вот и успокойся. Все идет как следует. Если хочешь идти налево, Веничка, иди налево, я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо — иди направо».

Я пошел направо, чуть покачиваясь от холода и от горя, да, от холода и от горя. О, эта утренняя ноша в сердце! о, иллюзорность бедствия! о, непоправимость! Чего в ней больше, в этой ноше, которую еще никто не назвал по имени, чего в ней больше: паралича или тошноты? истощения нервов или смертной тоски где-то неподалеку от сердца? А если всего поровну, то в этом во всем чего же все-таки больше: столбняка или лихорадки?

«Ничего, ничего, — сказал я сам себе, — закройся от ветра и потихоньку иди. И дыши так редко, редко. Так дыши, чтобы ноги за коленки не задевали. И куда-нибудь да иди. Все равно куда. Если даже ты пойдешь налево — попадешь на Курский вокзал; если прямо — все равно на Курский вокзал. Поэтому иди направо, чтобы уж наверняка туда попасть».

О, тщета! О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа — время от рассвета до открытия магазинов! Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов! Иди, Веничка, иди.

Москва. Площадь Курского вокзала

Ну вот, я же знал, что говорил: пойдешь направо — обязательно попадешь на Курский вокзал. Скучно тебе было в этих проулках, Веничка, захотел ты суеты — вот и получай свою суету...

— Да брось ты, — отмахнулся я от себя, — разве суета мне твоя нужна? люди разве твои нужны? Ведь вот Искупитель даже, и даже Маме своей родной, и то говорил: «Что мне до тебя?» А уж тем более мне — что мне до этих суетящихся и постылых?

Я лучше прислонюсь к колонне и зажмурюсь, чтобы не так тошнило...

— *Конечно, Веничка, конечно,* — кто-то пропел в высоте так тихо, так ласково-ласково, — *зажмурься, чтобы не так тошнило.*

О! Узнаю! Это опять они! Ангелы Господни! Это вы опять?

— *Ну, конечно, мы,* — и опять так ласково!..

— А знаете что, ангелы? — спросил я, тоже тихо-тихо.

— *Что?* — ответили ангелы.

— Тяжело мне...

— *Да мы знаем, что тяжело,* — пропели ангелы — *А ты походи, легче будет, а через полчаса магазин откроется: водка там с девяти, правда, а красненького сразу дадут...*

— Красненького?

— *Красненького,* — нараспев повторили ангелы Господни.

— Холодненького?

— *Холодненького, конечно...*

О, как я стал взволнован!..

— Вы говорите: походи, походи, легче будет. Да ведь и ходить-то не хочется... Вы же сами знаете, каково в моем состоянии — ходить!..

Помолчали на это ангелы. А потом опять запели:

— *А ты вот чего: ты зайди в ресторан вокзальный. Может, там чего и есть. Там вчера вечером херес был. Не могли же выпить за вечер весь херес!..*

— Да, да, да. Я пойду. Я сейчас пойду узнаю. Спасибо вам, ангелы.

И они так тихо-тихо пропели:

— *На здоровье, Веня...*

А потом так ласково-ласково:

— *Не стоит...*

Какие они милые!.. Ну что ж... Идти так идти. И как хорошо, что я вчера гостинцев купил, — не ехать же в Петушки без гостинцев. В Петушки без гостинцев никак нельзя. Это ангелы мне напомнили о гостинцах, потому что те, для кого они куплены, сами напоминают ангелов. Хорошо, что купил... А когда ты их вчера купил? вспомни... иди и вспоминай...

Я пошел через площадь — вернее, не пошел, а повлекся. Два или три раза я останавливался — и застывал на месте, чтобы унять в себе дурноту. Ведь в человеке не одна только физическая сторона; в нем и духовная сторона есть, и есть — больше того — есть сторона мистическая, сверхдуховная сторона. Так вот, я каждую минуту ждал, что меня, посреди площади, начнет тошнить со всех трех сторон. И опять останавливался и застывал.

— Так когда же вчера ты купил свои гостинцы? После охотничьей? Нет. После охотничьей мне было не до гостинцев. Между первым и вторым стаканом охотничьей? Тоже нет. Между ними была пауза в тридцать секунд, а я не сверхчеловек, чтобы в тридцать секунд что-нибудь успеть. Да сверхчеловек и свалился бы после первого стакана охотничьей, так и не выпив второго... Так когда же? Боже милостивый, сколько в мире тайн! Непроницаемая завеса тайн! До кориандровой или между пивом и альб-де-дессертом?

Москва. Ресторан Курского вокзала

Нет, только не между пивом и альб-де-дессертом, там уж решительно не было никакой паузы. А вот до кориандровой — это очень может быть. Скорее даже так: орехи я купил до кориандровой, а уж конфеты — после. А может быть, и наоборот: выпив кориандровой, я...

— Спиртного ничего нет, — сказал вышибала. И оглядел меня всего, как дохлую птичку или как грязный лютик.

«Нет ничего спиртного!!!»

Я, хоть весь и сжался от отчаяния, но все-таки сумел промямлить, что пришел вовсе не за этим. Мало ли зачем я пришел? Может быть, мой экспресс на Пермь по какой-то причине не хочет идти на Пермь, и вот я сюда пришел: съесть бефстроганов и послушать Ивана Козловского или что-нибудь из «Цирюльника».

Чемоданчик я все-таки взял с собой и, как давеча в подъезде, прижал его к сердцу в ожидании заказа.

Нет ничего спиртного! Царица небесная! Ведь если верить ангелам, здесь не переводился херес. А теперь — только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. Это ведь и в самом деле Иван Козловский поет, я сразу узнал, мерзее этого голоса нет. Все голоса у всех певцов одинаково мерзкие, но мерзкие у каждого по-своему. Я поэтому легко их на слух различаю... Ну, конечно, Иван Козловский... «О-о-о, чаша моих прэ-э-эдков... О-о-о, дай мне наглядеться на тебя при свете зве-о-о-озд ночных»... Ну, конечно, Иван Козловский... «О-о-о, для чего тобой я околдо-о-ован... Не отверга-а-ай»...

— Будете чего-нибудь заказывать?

— А у вас чего — только музыка?

— Почему «только музыка»? Бефстроганов есть, пирожное. Вымя...

Опять подступила тошнота.

— А херес?

— А хересу нет.

— Интересно. Вымя есть, а хересу нет!

— Оччень интересно. Да. Хересу — нет. А вымя — есть.

И меня оставили. Я, чтобы не очень тошнило, принялся рассматривать люстру над головой...

Хорошая люстра. Но уж слишком тяжелая. Если она сейчас сорвется и упадет кому-нибудь на голову, — будет страшно больно... Да нет, наверно, даже и не больно: пока она срывается и летит, ты сидишь и, ничего не подозревая, пьешь, например, херес. А как она до тебя долетела — тебя уже нет в живых. Тяжелая это мысль: ты сидишь, а на тебя сверху люстра. Очень тяжелая мысль...

Да нет, почему тяжелая?.. Если ты, положим, пьешь херес, если ты уже похмелился — не такая уж тяжелая эта мысль... Но если ты сидишь с перепою и еще не успел похмелиться, а хересу тебе не дают, и тут тебе еще на голову люстра — вот это уже тяжело... Очень гнетущая это мысль. Мысль, которая не всякому под силу. Особенно с перепою...

А ты бы согласился, если бы тебе предложили такое: мы тебе, мол, принесем сейчас 800 грамм хереса, а за это мы у тебя над головой отцепим люстру и...

— Ну, как, надумали? Будете брать что-нибудь?

— Хересу, пожалуйста. 800 грамм.

— Да ты уж хорош, как видно! Сказано же тебе русским языком: нет у нас хереса!

— Ну... я подожду... когда будет...

— Жди-жди... Дождешься!.. Будет тебе сейчас херес!

И опять меня оставили. Я вслед этой женщине посмотрел с отвращением. В особенности на белые чулки безо всякого шва; шов бы меня смирил, может быть, разгрузил бы душу и совесть...

Отчего они все так грубы? А? И грубы-то ведь, подчеркнуто грубы в те самые мгновенья, когда нельзя быть грубым, когда у человека с похмелья все нервы навыпуск, когда он малодушен и тих? Почему так?! О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив, и был бы так же ни в чем не уверен: ни в себе, ни в серьезности своего места под небом — как хорошо бы! Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости! — всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигам. «Всеобщее малодушие» — да ведь это спасение от всех бед, это панацея, это предикат величайшего совершенства! А что касается деятельного склада натуры...

— Кому здесь херес?!..

Надо мной — две женщины и один мужчина, все трое в белом. Я поднял глаза на них — о, сколько, должно быть, в моих глазах сейчас всякого безобразия и смутности — я это понял по н и м, по их глазам, потому что и в их глазах отразилась эта смутность и это безобразие... Я весь как-то сник и растерял душу.

— Да ведь я... почти и не прошу. Ну и пусть, что хересу нет, я подожду... я так...

— Это как то есть «так»!.. Чего это вы «подождете»!..

— Да пппочти ничего... Я ведь просто еду в Петушки, к любимой девушке (ха-ха! «к любимой девушке»!) — гостинцев купил...

Они, палачи, ждали, что я еще скажу.

— Я ведь... из Сибири, я сирота... А просто чтобы не так тошнило... хереса хочу.

Зря это я опять про херес, зря! Он их сразу взорвал. Все трое подхватили меня под руки и через весь зал — о, боль такого позора! — через весь зал провели меня и вытолкнули на воздух. Следом за мной чемоданчик с гостинцами; тоже — вытолкнули.

Опять — на воздух. О, пустопорожность! О, звериный оскал бытия!

Москва. К поезду через магазин

Что было потом — от ресторана до магазина и от магазина до поезда — человеческий язык не повернется выразить. Я тоже не берусь. А если за это возьмутся ангелы, — они просто расплачутся, а сказать от слез ничего не сумеют.

Давайте лучше так — давайте почтим минутой молчания два этих смертных часа. Помни, Веничка, об этих часах. В самые восторженные, в самые искрометные дни своей жизни — помни о них. В минуты блаженства и упоений — не забывай о них. Это не должно повториться. Я обращаюсь ко всем родным и близким, ко всем людям доброй воли, я обращаюсь ко всем, чье сердце открыто для поэзии и сострадания.

Оставьте ваши занятия. Остановитесь вместе со мной, и почтим минутой молчания то, что невыразимо. Если есть у вас под рукой какой-нибудь завалящий гудок — нажмите на этот гудок.

Так. Я тоже останавливаюсь. Ровно минуту, мутно глядя в вокзальные часы, я стою как столб посреди пло-

щади Курского вокзала. Волосы мои то развеваются на ветру, то дыбом встают, то развеваются снова. Такси обтекают меня со всех четырех сторон. Люди — тоже, и смотрят так дико: думают, наверное, — изваять его вот так, в назидание народам древности, или не изваять?

И нарушает эту тишину лишь сиплый женский бас, льющийся из ниоткуда.

«Внимание! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

А я продолжаю стоять.

«Повторяю! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

Ну, вот и все. Минута истекла. Теперь вы все, конечно, набрасываетесь на меня с вопросами: «Ведь ты из магазина, Веничка?»

— Да, — говорю я вам, — из магазина. — А сам продолжаю идти в направлении перрона, склонив голову влево.

— Твой чемоданчик теперь тяжелый? Да? А в сердце поет свирель? Ведь правда?

— Ну, это как сказать! — говорю я, склонив голову вправо. — Чемоданчик — точно, очень тяжелый. А насчет свирели говорить еще рано...

— Так что же, Веничка, что же ты все-таки купил? Нам страшно интересно...

— Да ведь я понимаю, что интересно. Сейчас, сейчас перечислю: во-первых, две бутылки кубанской по два шестьдесят две каждая, итого пять двадцать четыре.

Дальше: две четвертинки российской, по рупь шестьдесят четыре, итого пять двадцать четыре плюс три двадцать восемь. Восемь рублей пятьдесят две копейки. И еще какое-то красное. Сейчас, вспомню. Да — розовое крепкое за рупь тридцать семь.

— Так-так-так, — говорите вы, — а общий итог? Ведь все это страшно интересно...

Сейчас я вам скажу общий итог.

— Общий итог девять рублей восемьдесят девять копеек, — говорю я, вступив на перрон. — Но ведь это не совсем общий итог. Я ведь еще купил два бутерброда, чтобы не сблевать.

— Ты хотел сказать, Веничка: «чтобы не стошнило»?

— Нет. Что я сказал, то сказал. Первую дозу я не могу без закуски, потому что могу сблевать. А вот уж вторую и третью могу пить всухую, потому что стошнить может и стошнит, но уже ни за что не сблюю. И так — вплоть до девятой. А там опять понадобится бутерброд.

— Зачем? Опять стошнит?

— Да нет, стошнить-то уже ни за что не стошнит, а вот сблевать — сблюю.

Вы все, конечно, на это качаете головой. Я даже вижу — отсюда, с мокрого перрона, — как все вы, рассеянные по моей земле, качаете головой и беретесь иронизировать:

— Как это сложно, Веничка! как это тонко!

— Еще бы!

— Какая четкость мышления! И это — все? И это — все, что тебе нужно, чтобы быть счастливым? И больше — ничего?

— Ну как, то есть, — ничего? — говорю я, входя в вагон. — Было б у меня побольше денег, я взял бы еще пива и пару портвейнов, но ведь...

Тут уж вы совсем принимаетесь стонать.

— О-о-о, Веничка! О-о-о, примитив!

Ну, так что же? Пусть примитив, говорю. И на этом перестаю с вами разговаривать. Пусть примитив! А на вопросы ваши я больше не отвечаю. Я лучше сяду, к сердцу прижму чемоданчик и буду в окошко смотреть. Вот так. Пусть примитив!

А вы все пристаете:

— Ты чего, обиделся?

— Да нет, — отвечаю.

— Ты не обижайся. Мы тебе добра хотим. Только зачем ты, дурак, все к сердцу чемодан прижимаешь? Потому что водка там, что ли?

Тут уж я совсем обижаюсь: да при чем тут водка? Я вижу, вы ни о чем не можете говорить, кроме водки.

«Граждане пассажиры, наш поезд следует до станции Петушки. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

В самом деле, при чем тут водка? Далась вам эта водка! Да я и в ресторане, если хотите, прижимал его к сердцу, а водки там еще не было. И в подъезде, если помните, — тоже прижимал, а водкой там еще и не пахло!.. Если уж вы хотите все знать, — я вам все расскажу, погодите только. Вот только похмелюсь на Серпе и Молоте, и

Москва — Серп и Молот

и тогда все, все расскажу. Потерпите. Ведь я-то терплю!

Ну, конечно, все они считают меня дурным человеком. По утрам и с перепою я сам о себе такого же мнения. Но ведь нельзя же доверять мнению человека, который

еще не успел похмелиться! Зато по вечерам — какие во мне бездны! — если, конечно, хорошо набраться за день, — какие бездны во мне по вечерам!

Но — пусть. Пусть я дурной человек. Я вообще замечаю: если человеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон замыслов, и грез, и усилий — он очень дурной, этот человек. Утром плохо, а вечером хорошо — верный признак дурного человека. Вот уж если наоборот — если по утрам человек бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его одолевает изнеможение — это уж точно человек дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне этот человек. Не знаю как вам, а мне гадок.

Конечно, бывают и такие, кому одинаково любо и утром, и вечером, и восходу они рады, и закату тоже рады, — так это уж просто мерзавцы, о них и говорить-то противно. Ну уж, а если кому одинаково скверно — и утром, и вечером — тут уж я не знаю, что и сказать, это уж конченый подонок и мудозвон. Потому что магазины у нас работают до девяти, а Елисеевский — тот даже до одиннадцати, и если ты не подонок, ты всегда сумеешь к вечеру подняться до чего-нибудь, до какой-нибудь пустяшной бездны...

Итак, что же я имею?

Я вынул из чемоданчика все, что имею, и все ощупал: от бутерброда до розового крепкого за рупь тридцать семь. Ощупал — и вдруг затомился. Еще раз ощупал — и поблек... Господь, вот Ты видишь, чем я обладаю. Но разве *это* мне нужно? Разве по *этому* тоскует моя душа? Вот что дали мне люди взамен того, по чему тоскует душа! А если б они мне дали *того*, разве нуждался бы я в *этом*? Смотри, Господь, вот: розовое крепкое за рупь тридцать семь...

И, весь в синих молниях, Господь мне ответил:

— А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны. Но они ей желанны.

— Вот-вот! — отвечал я в восторге. — Вот и мне, и мне тоже — желанно мне это, но ничуть не нужно!

«Ну, раз желанно, Веничка, так и пей», — тихо подумал я, но все медлил. Скажет мне Господь еще что-нибудь или не скажет?

Господь молчал.

Ну, хорошо. Я взял четвертинку и вышел в тамбур. Так. Мой дух томился в заключении четыре с половиной часа, теперь я выпущу его погулять. Есть стакан и есть бутерброд, *чтобы не стошнило.* И есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия. *Раздели со мной трапезу, Господи!*

Серп и Молот — Карачарово

И немедленно выпил.

Карачарово — Чухлинка

А выпив, — сами видите, как долго я морщился и сдерживал тошноту, сколько чертыхался и сквернословил. Не то пять минут, не то семь минут, не то целую вечность — так и метался в четырех стенах, ухватив себя за горло, и умолял Бога моего не обижать меня.

И до самого Карачарова, от Серпа и Молота до Карачарова, мой Бог не мог расслышать мою мольбу, — выпитый стакан то клубился где-то между чревом и пищеводом, то взметался вверх, то снова опадал. Это было как Везувий, Геркуланум и Помпея, как перво-

майский салют в столице моей страны. И я страдал и молился.

И вот только у Карачарова мой Бог расслышал и внял. Все улеглось и притихло. А уж если у меня что-нибудь притихнет и уляжется, так это бесповоротно. Будьте уверены. Я уважаю природу, было бы некрасиво возвращать природе ее дары... Да.

Я кое-как пригладил волосы и вернулся в вагон. Публика посмотрела на меня почти безучастно, круглыми и как будто ничем не занятыми глазами...

Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости... Можно себе представить, какие глаза там. Где все продается и все покупается: ...глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза... Девальвация, безработица, пауперизм... Смотрят исподлобья, с неутихающей заботой и мукой — вот какие глаза в мире чистогана...

Зато у моего народа — какие глаза! Они постоянно навыкате, но — никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий — эти глаза не сморгнут. Им все божья роса...

Мне нравится мой народ. Я счастлив, что родился и возмужал под взглядами этих глаз. Плохо только вот что: вдруг да они заметили, что я сейчас там на площадке выделывал?.. Кувыркался из угла в угол, как великий трагик Федор Шаляпин, с рукою на горле, как будто меня что душило?

Ну да, впрочем, пусть. Если кто и видел — пусть. Может, я там что репетировал? Да... В самом деле. Может, я играл в бессмертную драму «Отелло, мавр венецианский»? Играл в одиночку и сразу во всех ролях? Я, например, изменил себе, своим убеждениям: вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждениям; я себе нашептал про себя — о, такое нашептал! — и вот я, возлюбивший себя за муки, как самого себя, — я принялся себя душить. Схватил себя за горло и душу. Да мало ли что я там делал?

Вон — справа, у окошка — сидят двое. Один такой тупой-тупой и в телогрейке. А другой такой умный-умный и в коверкотовом пальто. И пожалуйста — никого не стыдятся, наливают и пьют. Закусывают и тут же опять наливают. Не выбегают в тамбур и не заламывают рук. Тупой-тупой выпьет, крякнет и говорит: «А! Хорошо пошла, курва!» А умный-умный выпьет и говорит: «Транс-цен-ден-тально!» И таким праздничным голосом! Тупой-тупой закусывает и говорит «Заку-уска у нас сегодня — блеск! Закуска типа «я вас умоляю!» А умный-умный жует и говорит: «Да-а-а... Транс-цен-ден-тально!..»

Поразительно! Я вошел в вагон и сижу, страдаю от мысли, за кого меня приняли — мавра или не мавра? плохо обо мне подумали, хорошо ли? А эти — пьют горячо и открыто, как венцы творения, пьют с сознанием собственного превосходства над миром... «Закуска типа «я вас умоляю»!»... Я, похмеляясь утром, прячусь от неба и земли, потому что это интимнее всякой интимности!.. До работы пью — прячусь. Во время работы пью — прячусь... а эти!! «Транс-цен-ден-тально!»

Мне очень вредит моя деликатность, она исковеркала

мне мою юность. Мое детство и отрочество... Скорее так: скорее это не деликатность, а просто я безгранично расширил сферу интимного — и сколько раз это губило меня...

Вот сейчас я вам расскажу. Помню, лет десять тому назад я поселился в Орехово-Зуеве. К тому времени, как я поселился, в моей комнате уже жило четверо, я стал у них пятым. Мы жили душа в душу, и ссор не было никаких. Если кто-нибудь хотел пить портвейн, он вставал и говорил: «Ребята, я хочу пить портвейн». А все говорили: «Хорошо. Пей портвейн. Мы тоже будем с тобой пить портвейн». Если кого-нибудь тянуло на пиво, всех тоже тянуло на пиво.

Прекрасно. Но вдруг я стал замечать, что эти четверо как-то *отстраняют* меня от себя, как-то *шепчутся*, на меня глядя, как-то *смотрят* за мной, если я куда пойду. Странно мне было это и даже чуть тревожно... И на их физиономиях я читал ту же озабоченность и будто даже страх... «В чем дело? — терзался я, — отчего это так?»

И вот, наступил вечер, когда я понял, в чем дело и отчего это так. Я, помнится, в этот день даже и не вставал с постели: я выпил пива и затосковал. Просто: лежал и тосковал.

И вижу: все четверо потихоньку меня обсаживают — двое сели на стулья у изголовья, а двое в ногах. И смотрят мне в глаза, смотрят с упреком, смотрят с ожесточением людей, не могущих постигнуть какую-то заключенную во мне тайну... Не иначе, как что-то случилось...

— Послушай-ка, — сказали они, — *ты это брось*.

— Что «брось»? — я изумился и чуть привстал.

— Брось считать, что ты выше других... что мы мелкая сошка, а ты Каин и Манфред...
— Да с чего вы взяли!..
— А вот с того и взяли. Ты пиво сегодня пил?

Чухлинка — Кусково

— Пил.
— Много пил?
— Много.
— Ну так вставай и иди.
— Да куда «иди»??
— Будто не знаешь! Получается так — мы мелкие козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред...
— Позвольте, — говорю, — я этого не утверждал...
— Нет, утверждал. Как ты поселился к нам — ты каждый день это утверждаешь. Не словом, но делом. Даже не делом, а отсутствием этого дела. Ты негативно это утверждаешь...
— Да какого «дела»? Каким «отсутствием»? — я уж от изумления совсем глаза распахнул...
— Да известно какого дела. До ветру ты не ходишь — вот что. Мы сразу почувствовали: что-то неладно. С тех пор как ты поселился, мы никто ни разу не видели, чтобы ты в туалет пошел. Ну, ладно, по большой нужде еще ладно! Но ведь ни разу даже по малой... даже по малой!
И все это было сказано без улыбки, тоном до смерти оскорбленных.
— Нет, вы меня не так поняли, ребята... просто я...
— Нет, мы тебя правильно поняли...
— Да нет же, не поняли. Не могу же я, как вы: встать с постели, сказать во всеуслышание: «Ну, ребята, я ..ать

пошел!» или «Ну, ребята, я ..ать пошел!» Не могу же я так...

— Да почему же ты не можешь! Мы — можем, а ты — не можешь! Выходит, ты лучше нас! Мы грязные животные, а ты как лилея!..

— Да нет же... Как бы это вам объяснить...

— Нам нечего объяснять... нам все ясно.

— Да вы послушайте... поймите же... в этом мире есть вещи...

— Мы не хуже тебя знаем, какие есть вещи, а каких вещей нет...

И я никак не мог их ни в чем убедить. Они своими угрюмыми взглядами пронзали мне душу... Я начал сдаваться...

— Ну, конечно, я тоже могу... я тоже мог бы...

— Вот-вот. Значит, ты можешь, как мы. А мы, как ты, — не можем. Ты, конечно, все можешь, а мы ничего не можем. Ты Манфред, ты Каин, а мы как плевки у тебя под ногами...

— Да нет, нет, — тут уж я совсем стал путаться. — В этом мире есть вещи... есть такие сферы... нельзя же так просто: встать и пойти. Потому что самоограничение, что ли?.. есть такая заповеданность стыда, со времен Ивана Тургенева... и потом — клятва на Воробьевых горах... И после этого встать и сказать: «Ну, ребята...» Както оскорбительно... Ведь если у кого щепетильное сердце...

Они, все четверо, глядели на меня уничтожающе. Я пожал плечами и безнадежно затих.

— Ты это брось про Ивана Тургенева. Говори, да не заговаривайся. Сами читали. А ты лучше вот что скажи: ты пиво сегодня пил?

— Пил.

— Сколько кружек?

— Две больших и одну маленькую.

— Ну так вставай и иди. Чтобы мы все видели, что ты пошел. Не унижай нас и не мучь. Вставай и иди.

Ну что ж, я встал и пошел. Не для того, чтобы облегчить себя. Для того, чтобы и х облегчить. А когда вернулся, один из них мне сказал: «С такими позорными взглядами ты вечно будешь одиноким и несчастным».

Да. И он был совершенно прав. Я знаю многие замыслы Бога, но для чего Он вложил в меня столько целомудрия, я до сих пор так и не понял. А это целомудрие — самое смешное! — это целомудрие толковалось так навыворот, что мне отказывали даже в самой элементарной воспитанности...

Например, в Павлово-Посаде. Меня подводят к дамам и представляют так:

— А вот это тот самый, знаменитый Веничка Ерофеев. Он знаменит очень многим. Но больше всего, конечно, тем знаменит, что за всю свою жизнь ни разу не пукнул...

— Как!! Ни разу!! — удивляются дамы и во все глаза меня рассматривают. — Ни ра-зу!!

Я, конечно, начинаю конфузиться. Я не могу при дамах не конфузиться. Я говорю:

— Ну, как то есть ни разу! Иногда... все-таки...

— Как!! — еще больше удивляются дамы. — Ерофеев — и... странно подумать!.. «Иногда все-таки!»

Я от этого окончательно теряюсь, я говорю примерно так:

— Ну... а что в этом т а к о г о, я же... это ведь — п у к н у т ь — это ведь так ноуменально... Ничего в этом феноменального нет — в том, чтоб пукнуть...

— Вы только подумайте! — обалдевают дамы.

А потом трезвонят по всей петушинской ветке: «Он все это делает вслух, и говорит, что это н е п л о х о он делает! Что это он делает х о р о ш о!»

Ну, вот видите. И так всю жизнь. Всю жизнь довлеет надо мной этот кошмар — кошмар, заключающийся в том, что понимают тебя не п р е в р а т н о, нет — «п р е в р а т н о» бы еще ничего! — но именно с т р о г о н а о б о р о т, то есть совершенно по-свински, то есть а н т и н о м и ч н о.

Я многое мог бы рассказать по этому предмету, но если я буду рассказывать все — я растяну до самых Петушков. А лучше я не буду рассказывать все, а только один-единственный случай, потому что он самый свежий: о том, как неделю тому назад меня сняли с бригадирского поста за «внедрение порочной системы индивидуальных графиков». Все наше московское управление сотрясается от у ж а с а, стоит им вспомнить об этих графиках. А чего же тут у ж а с н о г о, казалось бы!

Да! Где это мы сейчас едем?..

Кусково! Мы чешем без остановки через Кусково! По такому случаю мне следовало бы еще раз выпить, но я лучше сначала вам расскажу,

Кусково — Новогиреево

а уж потом пойду и выпью.

Итак, неделю тому назад меня скинули с бригадирства, а пять недель тому назад — назначили. За четыре

недели, сами понимаете, крутых перемен не введешь, да я и не вводил никаких крутых перемен, а если кому показалось, что и вводил, так поперли меня все-таки не за крутые перемены.

Дело началось проще. До меня наш производственный процесс выглядел следующим образом: с утра мы садились и играли в сику, на деньги (вы умеете играть в сику?). Так. Потом вставали, разматывали барабан с кабелем и кабель укладывали под землю. А потом — известное дело: садились, и каждый по-своему убивал свой досуг, ведь все-таки у каждого своя мечта и свой темперамент: один — вермут пил, другой, кто попроще — одеколон «Свежесть», а кто с претензией — пил коньяк в международном аэропорту Шереметьево. И ложились спать.

А наутро так: садились и пили вермут. Потом вставали и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали, потому что он уже весь мокрый был, конечно. А потом — что же? — потом садились играть в сику, на деньги. Так и ложились спать, не доиграв.

Рано утром уже будили друг друга: «Леха! Вставай в сику играть!» «Стасик, вставай доигрывать вчерашнюю сику!» Вставали, доигрывали в сику. А потом — ни свет, ни заря, ни «Свежести» не попив, ни вермуту, хватали барабан с кабелем и начинали его разматывать, чтоб он до завтра отмок и пришел в негодность. А потом — каждый за свой досуг, потому что у каждого свои идеалы. И так все сначала.

Став бригадиром, я упростил этот процесс до мыслимого предела. Теперь мы делали вот как: один день играли в сику, другой — пили вермут, на третий день — опять в сику, на четвертый — опять вермут. А тот, кто с

интеллектом, — тот и вовсе пропал в аэропорту Шереметьево: сидел и коньяк пил. Барабан мы, конечно, и пальцем не трогали, — да если б я и предложил барабан тронуть, они все рассмеялись бы, как боги, потом били бы меня кулаками по лицу, ну а потом разошлись бы: кто в сику играть, на деньги, кто вермут пить, а кто «Свежесть».

И до времени все шло превосходно: мы им туда раз в месяц посылали соцобязательства, а они нам жалованье два раза в месяц. Мы, например, пишем: по случаю предстоящего столетия обязуемся покончить с производственным травматизмом. Или так: по случаю славного столетия добьемся того, чтобы каждый шестой обучался заочно в высшем учебном заведении. А уж какой там травматизм и заведения, если мы за сикой белого света не видим, и нас всего пятеро!

О, свобода и равенство! О, братство и иждивенчество! О, сладость неподотчетности! О, блаженнейшее время в жизни моего народа — время от открытия и до закрытия магазинов!

Отбросив стыд и дальние заботы, мы жили исключительно духовной жизнью. Я расширял им кругозор по мере сил, и им очень нравилось, когда я им его расширял: особенно во всем, что касается Израиля и арабов. Тут они были в совершенном восторге — в восторге от Израиля, в восторге от арабов, и от Голанских высот в особенности. А Абба Эбан и Моше Даян с языка у них не сходили. Приходят они утром с блядок, например, и один у другого спрашивает: «Ну как? Нинка из 13-й комнаты даян эбан?» А тот отвечает с самодовольной усмешкою: «Куда ж она, падла, денется? Конечно, даян!»

А потом (слушайте), а потом, когда они узнали, отчего умер Пушкин, я дал им почитать «Соловьиный сад», поэму Александра Блока. Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плеча и неозаренные туманы и розовые башни в дымных ризах, там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, блядки и прогулы. Я сказал им: «Очень своевременная книга, — сказал, — вы прочтете ее с большой пользой для себя». Что ж? они прочли. Но вопреки всему, она на них сказалась удручающе: во всех магазинах враз пропала вся «Свежесть». Непонятно почему, но сика была забыта, вермут был забыт, международный аэропорт Шереметьево был забыт, — и восторжествовала «Свежесть», все пили только «Свежесть».

О, беззаботность! О, птицы небесные, не собирающие в житницы! О, краше Соломона одетые полевые лилии! — Они выпили всю «Свежесть» от станции Долгопрудная до международного аэропорта Шереметьево!

И вот тут-то меня озарило: да ты просто бестолочь, Веничка, ты круглый дурак; вспомни, ты читал у какого-то мудреца, что Господь Бог заботится только о судьбе принцев, предоставляя о судьбе народов заботиться принцам. А ведь ты бригадир и, стало быть, «маленький принц». Где же твоя забота о судьбе твоих народов? Да смотрел ли ты в души этих паразитов, в потемки душ этих паразитов? Диалектика сердца этих четверых мудаков — известна ли тебе? Если б была известна, тебе было б понятнее, что общего у «Соловьиного сада» со «Свежестью» и почему «Соловьиный сад» не сумел ужиться ни с сикой, ни с вермутом, тогда

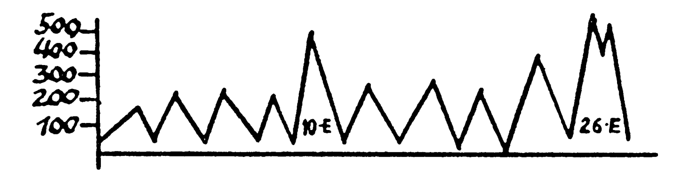
как с ними прекрасно уживались и Моше Даян и Абба Эбан!..

И вот тогда-то я ввел свои пресловутые «индивидуальные графики», за которые меня наконец и поперли...

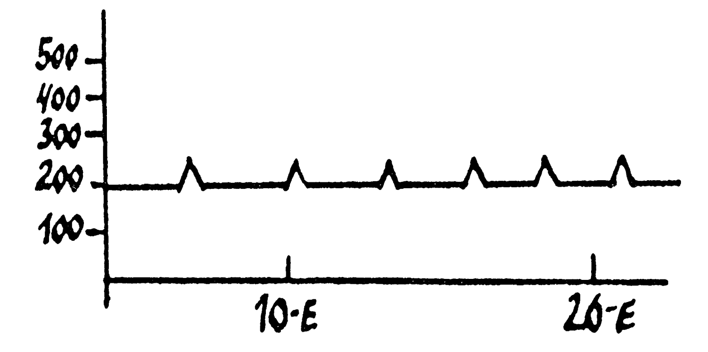
Новогиреево — Реутово

Сказать ли вам, что это были за графики? Ну, это очень просто: на веленевой бумаге, черной тушью, рисуются две оси — одна ось горизонтальная, другая вертикальная. На горизонтальной откладываются последовательно все рабочие дни истекшего месяца, а на вертикальной — количество выпитых граммов, в пересчете на чистый алкоголь. Учитывалось, конечно, только выпитое на производстве и до него, поскольку выпитое вечером — величина для всех более или менее постоянная и для серьезного исследователя не может представить интереса.

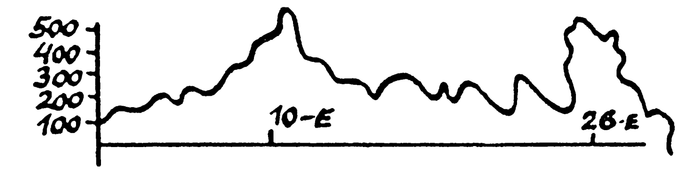
Итак, по истечении месяца рабочий подходит ко мне с отчетом: в такой-то день выпито того-то и столько-то, в другой — столько-то, et cetera. А я, черной тушью и на веленевой бумаге, изображаю все это красивою диаграммою. Вот, полюбуйтесь, например, это линия комсомольца Виктора Тотошкина:



А это Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 года, потрепанный старый хрен:



А вот уж это — ваш покорный слуга, экс-бригадир монтажников ПТУСа, автор поэмы «Москва — Петушки»:



Ведь правда, интересные линии? Даже для самого поверхностного взгляда — интересные? У одного — Гималаи, Тироль, бакинские промыслы или даже верх кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда не видел. У другого — предрассветный бриз на реке Каме, тихий всплеск и бисер фонарной ряби. У третьего — биение гордого сердца, песня о буревестнике и девятый вал. И все это — если видеть только внешнюю форму линии.

А тому, кто пытлив (ну вот мне, например), эти линии выбалтывали все, что только можно выболтать о человеке и о человеческом сердце: все его качества, от сексу-

альных до деловых, все его ущербы, деловые и сексуальные. И степень его уравновешенности, и способность к предательству, и все тайны подсознательного, если только были эти тайны.

Душу каждого мудака я теперь рассматривал со вниманием, пристально и в упор. Но не очень долго рассматривал: в один злосчастный день у меня со стола исчезли все мои диаграммы. Оказалось: эта старая шпала, Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 года, в тот день отсылал в управление наше новое соцобязательство, где все мы клялись по случаю предстоящего столетия быть в быту такими же, как на производстве, — и, сдуру ли или спьяну, он в тот же конверт вложил и мои индивидуальные графики.

Я, как только заметил пропажу, выпил и схватился за голову. А там, в управлении, тоже — получили пакет, схватились за голову, выпили и в тот же день въехали на «москвиче» в расположение нашего участка. Что они обнаружили, вломившись к нам в контору? Они ничего не обнаружили, кроме Лехи и Стасика: Леха дремал на полу, свернувшись клубочком, а Стасик блевал. В четверть часа все было решено: моя звезда, вспыхнувшая на четыре недели, закатилась. Распятие совершилось — ровно через тридцать дней после Вознесения. Один только месяц — от моего Тулона до моей Елены. Короче, они меня разжаловали, а на место мое назначили Алексея Блиндяева, этого дряхлого придурка, члена КПСС с 1936 года. А он, тут же после назначения, проснулся на своем полу, попросил у них рупь — они ему рупь не дали. Стасик перестал блевать и тоже попросил рупь — они и ему не дали. Попили красного вина, сели в свой «москвич» и уехали обратно.

И вот — я торжественно объявляю: до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу, и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы — по плевку. Чтобы по ней подыматься, надо быть жидовскою мордою без страха и упрека, надо быть пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я — не такой.

Как бы то ни было — меня поперли. Меня, вдумчивого принца-аналитика, любовно перебиравшего души своих людей, меня — снизу — сочли штрейкбрехером и коллаборационистом, а сверху — лоботрясом с неуравновешенной психикой. Низы не хотели меня видеть, а верхи не могли без смеха обо мне говорить. «Верхи не могли, а низы не хотели». Что это предвещает, знатоки истинной философии истории? Совершенно верно: в ближайший же аванс меня будут пиздить по законам добра и красоты, а ближайший аванс — послезавтра, а значит, послезавтра меня измудохают.

— *Фффу!*

— Кто сказал *«фффу!»* Это вы, ангелы, сказали *«Фффу»?*

— *Да, это мы сказали. Фффу, Веня, как ты ругаешься!!*

— Да как же, посудите сами, как не ругаться! Весь этот житейский вздор так надломил меня, что я с того самого дня не просыхаю. Я и до этого не сказать, чтоб очень просыхал, но во всяком случае я хоть запоминал, что я пью и в какой последовательности, а теперь и этого не могу упомнить... У меня все полосами, все в жизни как-то полосами: то не пью неделю подряд, то пью потом сорок дней, потом опять четыре дня не пью, а потом

опять шесть месяцев пью без единого роздыха... Вот и теперь...

— *Мы понимаем, мы все понимаем. Тебя оскорбили, и твое прекрасное сердце...*

Да, да, в тот день мое сердце целых полчаса боролось с рассудком. Как в трагедиях Пьера Корнеля, поэта-лауреата: долг борется с сердечным влечением. Только у меня наоборот: сердечное влечение боролось с рассудком и долгом. Сердце мне говорило: «Тебя обидели, тебя сравняли с говном. Поди, Веничка, и напейся. Встань и поди напейся как сука». Так говорило мое прекрасное сердце. А мой рассудок? Он брюзжал и упорствовал: «Ты не встанешь, Ерофеев, ты никуда не пойдешь и ни капли не выпьешь». А сердце на это: «Ну ладно, Веничка, ладно. Много пить не надо, не надо напиваться как сука; а выпей четыреста грамм и завязывай». «Никаких грамм! — отчеканивал рассудок. — Если уж без этого нельзя, поди и выпей три кружки пива; а о граммах своих, Ерофеев, и помнить забудь». А сердце заныло: «Ну хоть двести грамм. Ну...

Реутово — Никольское

ну хоть сто пятьдесят...» И тогда рассудок: «Ну, хорошо, Веня, — сказал, — хорошо, выпей сто пятьдесят, только никуда не ходи, сиди дома...»

Что же вы думаете? Я выпил сто пятьдесят и усидел дома? Ха-ха. Я с этого дня пил по тысяче пятьсот каждый день, чтобы усидеть дома, и все-таки не усидел. Потому что на шестой день размок уже настолько, что исчезла грань между рассудком и сердцем, и оба в голос мне затвердили: «Поезжай, поезжай в Петушки!

В Петушках — твое спасение и радость твоя, поезжай».

«Петушки — это место, где не умолкают птицы ни днем ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех — может, он и был — там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен...»

«Там каждую пятницу, ровно в одиннадцать, на вокзальном перроне меня встречает э т а д е в у ш к а с глазами белого цвета, — белого, переходящего в белесый, — эта любимейшая из потаскух, эта белобрысая дьяволица. А сегодня пятница, и меньше, чем через два часа будет ровно одиннадцать, и будет она, и будет вокзальный перрон, и этот белесый взгляд, в котором нет ни совести, ни стыда. Поезжайте со мной — о, вы такое увидите!..»

«Да и что я оставил — там, откуда уехал и еду? Пару дохлых портянок и казенные брюки, плоскогубцы и рашпиль, аванс и накладные расходы, — вот что оставил! А что впереди? что в Петушках на перроне? — а на перроне рыжие ресницы, опущенные ниц, и колыхание форм, и коса от затылка до попы. А после перрона — зверобой и портвейн, блаженства и корчи, восторги и судороги. Царица небесная, как далеко еще до Петушков!»

«А там, за Петушками, где сливаются небо и земля, и волчица воет на звезды, — там совсем другое, но то же самое: там в дымных и вшивых хоромах, неизвестный этой белесой, распускается мой младенец, самый пухлый и самый кроткий из всех младенцев. Он знает букву «ю» и за это ждет от меня орехов. Кому из вас в три года была знакома буква «ю»? Никому; вы и теперь-то ее толком не знаете. А вот он — знает, и никакой за это награды не ждет, кроме стакана орехов».

«Помолитесь, ангелы, за меня. Да будет светел мой путь, да не преткнусь о камень, да увижу город, по которому столько томился. А пока — вы уж простите меня — пока присмотрите за моим чемоданчиком, я на десять минут отлучусь. Мне нужно выпить кубанской, чтобы не угасить порыва».

И вот — я снова встал и через половину вагона прошел на площадку.

И пил уже не так, как пил у Карачарова, нет, теперь я пил без тошноты и без бутерброда, из горлышка, запрокинув голову, как пианист, и с сознанием величия того, что еще только начинается и чему еще предстоит быть.

Никольское — Салтыковская

«Не в радость обратятся тебе эти тринадцать глотков», — подумал я, делая тринадцатый глоток.

«Ты ведь знаешь и сам, что вторая по счету утренняя доза, если ее пить из горлышка, — омрачает душу, пусть не надолго, только до третьей дозы, выпитой из стакана, — но все-таки омрачает. Тебе ли этого не знать?

Ну пусть. Пусть светел твой сегодняшний день. Пусть твое завтра будет еще светлее. Но почему же смущаются ангелы, чуть только ты заговоришь о радостях на петушинском перроне и после?

Что ж они думают? Что меня там никто не встретит? или поезд провалится под откос? или в Купавне высадят контролеры, или где-нибудь у 105-го километра я задремлю от вина, и меня, сонного, удавят, как мальчика? или зарежут, как девочку? Почему же ангелы смущаются и молчат? Мое завтра светло. Да. Наше завтра светлее, чем наше вчера и наше сегодня. Но кто поручится,

что наше послезавтра не будет хуже нашего позавчера?»

«Вот-вот! Ты хорошо это, Веничка, сказал. Наше завтра и так далее. Очень складно и умно ты это сказал, ты редко говоришь так складно и умно.

И вообще, мозгов в тебе не очень много. Тебе ли, опять же, этого не знать? Смирись, Веничка, хотя бы на том, что твоя душа вместительнее ума твоего. Да и зачем тебе ум, коли у тебя есть совесть и сверх того еще вкус? Совесть и вкус — это уже так много, что мозги делаются прямо излишними.

А когда ты в первый раз заметил, Веничка, что ты дурак?»

«А вот когда. Когда я услышал одновременно сразу два полярных упрека: и в скучности, и в легкомыслии. Потому что если человек умен и скучен, он не опустится до легкомыслия. А если он легкомыслен да умен — он скучным быть себе не позволит. А вот я, рохля, как-то сумел сочетать.

И сказать, почему? Потому что я болен душой, но не подаю и вида. Потому что с тех пор, как помню себя, я только и делаю, что симулирую душевное здоровье, каждый миг, и на это расходую все (все без остатка) и умственные, и физические, и какие угодно силы. Вот оттого и скушен... Все, о чем вы говорите, все, что повседневно вас занимает, — мне бесконечно посторонне. Да. А о том, что м е н я занимает, — об этом никогда и никому не скажу ни слова. Может, из боязни прослыть стебанутым, может, еще отчего, но все-таки — н и с л о в а.

Помню, еще очень давно, когда при мне заводили речь или спор о каком-нибудь вздоре, я говорил: «Э! И хочется это вам толковать об этом вздоре!» А мне

удивлялись и говорили: «Какой же это вздор? Если и это вздор, то что же тогда не вздор?» А я говорил: «О, не знаю, не знаю! Но есть».

Я не утверждаю, что мне — теперь — истина уже известна или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я уже на такое расстояние к ней подошел, с которого ее удобнее всего рассмотреть.

И я смотрю и вижу, и поэтому скорбен. И я не верю, чтобы кто-нибудь еще из вас таскал в себе это горчайшее месиво; из чего это месиво — сказать затруднительно, да вы все равно не поймете, но больше всего в нем «скорби» и «страха». Назовем хоть так. Вот: «скорби» и «страха» больше всего, и еще немоты. И каждый день, с утра, «мое прекрасное сердце» источает этот настой и купается в нем до вечера. У других, я знаю, у других это случается, если кто-нибудь вдруг умрет, если самое необходимое существо на свете вдруг умрет. Но у меня-то ведь это вечно! — хоть это-то поймите.

Как же не быть мне скушным и как же не пить кубанскую? Я это право заслужил. Я знаю лучше, чем вы, что «мировая скорбь» — не фикция, пущенная в оборот старыми литераторами, потому что я сам ношу ее в себе и знаю, что это такое, и не хочу этого скрывать. Надо привыкнуть смело, в глаза людям, говорить о своих достоинствах. Кому же, как не нам самим, знать, до какой степени мы хороши?

К примеру: вы видели «Неутешное горе» Крамского? Ну конечно, видели. Так вот, если бы у нее, у этой оцепеневшей княгини или боярыни, какая-нибудь кошка уронила бы в ту минуту на пол что-нибудь такое — ну, фиал из севрского фарфора, — или, положим, разорвала бы в клочки какой-нибудь пеньюар немыслимой цены, — что

ж она? стала бы суматошиться и плескать руками? Никогда бы не стала, потому что все это для нее вздор, потому что на день или на три, но теперь она «выше всяких пеньюаров и кошек и всякого севра»!

Ну, так как же? Скушна эта княгиня? — Она невозможно скушна и еще бы не была скушна! Она легкомысленна? — В высшей степени легкомысленна!

Вот так и я. Теперь вы поняли, отчего я грустнее всех забулдыг? Отчего я легковеснее всех идиотов, но и мрачнее всякого дерьма? Отчего я и дурак, и демон, и пустомеля разом?

Вот и прекрасно, что вы все поняли. Выпьем за понимание — весь этот остаток кубанской, из горлышка, и немедленно выпьем».

Смотрите, как это делается!..

Салтыковская — Кучино

Остаток кубанской еще вздымался совсем неподалеку от горла, и поэтому, когда мне сказали с небес:

— *Зачем ты все допил, Веня? Это слишком много...*

Я от удушья едва сумел им ответить:

— Во всей земле... во всей земле, от самой Москвы и до самых Петушков — нет ничего такого, что было бы для меня слишком многим... И чего вам бояться за меня, небесные ангелы?

— *Мы боимся, что ты опять...*

— Что я опять начну выражаться? О, нет, нет, я просто не знал, что вы постоянно со мной, я и раньше не стал бы... Я с каждой минутою все счастливей... и если теперь начну сквернословить, то как-нибудь счастливо... как в стихах у германских поэтов: «Я покажу вам радугу!» или

«Идите к жемчугам!» и не больше того... какие вы глупые-глупые!..

— *Нет, мы не глупые, мы просто боимся, что ты опять не доедешь...*

— До чего не доеду?!.. До них, до Петушков — не доеду? До нее не доеду? — до моей бесстыжей царицы с глазами, как облака?.. Какие смешные вы...

— *Нет, мы не смешные, мы боимся, что ты до него не доедешь, и он останется без орехов...*

— Ну что вы, что вы! Пока я жив... что вы! В прошлую пятницу — верно, в прошлую пятницу она не пустила меня к нему поехать... Я раскис, ангелы, в прошлую пятницу, я на белый живот ее загляделся, круглый, как небо и земля... Но сегодня — доеду, если только не подохну, убитый роком... Вернее — нет, сегодня я не доеду, сегодня я буду у ней, я буду до утра пастись между лилиями, а вот уж завтра!..

— *Бедный мальчик...* — вздохнули ангелы.

— «Бедный мальчик»? Почему это «бедный»? А вы скажите, ангелы, вы будете со мной до самых Петушков? Да? Вы не отлетите?

— О *нет, до самых Петушков мы не можем... Мы отлетим, как только ты улыбнешься... Ты еще ни разу сегодня не улыбнулся, как только улыбнешься в первый раз — мы отлетим... и уже будем покойны за тебя...*

— И там, на перроне, встретите меня, да?

— *Да, там мы тебя встретим...*

Прелестные существа, эти ангелы! Только почему это «бедный мальчик»? Он нисколько не бедный! Младенец, знающий букву «ю», как свои пять пальцев, младенец, любящий отца, как самого себя, — разве нуждается в жалости?

Ну, допустим, он болен был в позапрошлую пятницу, и все там были за него в тревоге... Но ведь он тут же пошел на поправку — как только меня увидел!.. Да, да... Боже милостивый, сделай так, чтобы с ним ничего не случилось и никогда ничего не случалось!..

Сделай так, Господь, чтобы он, если даже и упал бы с крыльца или печки, не сломал бы ни руки своей, ни ноги. Если нож или бритва попадутся ему на глаза — пусть он ими не играет, найди ему другие игрушки, Господь. Если мать его затопит печку — он очень любит, когда его мать затопляет печку, — оттащи его в сторону, если сможешь. Мне больно подумать, что он обожжется... А если и заболеет, — пусть как только меня увидит, пусть сразу идет на поправку...

Да, да, когда я в прошлый раз приехал, мне сказали: он спит. Мне сказали: он болен и лежит в жару. Я пил лимонную у его кроватки, и меня оставили с ним одного. Он и в самом деле был в жару, и даже ямка на щеке вся была в жару, и было диковинно, что вот у такого ничтожества еще может быть жар...

Я выпил три стакана лимонной, прежде чем он проснулся и посмотрел на меня и на четвертый стакан, у меня в руке... Я долго тогда беседовал с ним и говорил:

— Ты... знаешь что, мальчик? ты не умирай... ты сам подумай (ты ведь уже рисуешь буквы, значит, можешь подумать сам): очень глупо умереть, зная одну только букву «ю» и ничего больше не зная... Ты хоть сам понимаешь, что это глупо?

— *Понимаю, отец...*

И как он это сказал! И все, что они говорят — вечно живущие ангелы и умирающие дети, — все так значительно, что я слова их пишу длинными курсивами, а все,

что мы говорим, — махонькими буковками, потому что это более или менее чепуха. *«Понимаю, отец!»...*

— Ты еще встанешь, мальчик, и будешь снова плясать под мою «поросячью фарандолу» — помнишь? Когда тебе было два года, ты под нее плясал. Музыка отца и слова его же. «Там та-ки-е милые, смешные чер-те-нятки цапали-царапали-кусали мне жи-во-тик...» А ты, подпершись одной рукой, а другой платочком размахивая, прыгал, как крошечный дурак... «С фе-вра-ля до ав-густа я хныкала и вякала, на исхо-де ав-густа ножки про-тяну-ла»... Ты любишь отца, мальчик?

— *Очень люблю...*

— Ну вот и не умирай... Когда ты не умрешь и поправишься, ты мне снова чего-нибудь спляшешь... Только нет, мы фарандолу плясать не будем. Там есть слова, не идущие к делу... «На исхо-де ав-густа ножки про-тяну-ла...» Это не годится. Гораздо лучше вот что: «Раз-два-туфли-надень-ка-как-ти-бе-не-стыдно-спать?»... У меня особые причины любить эту гнусность...

Я допил свой четвертый стакан и разволновался:

— Когда тебя нет, мальчик, я совсем одинок... Ты понимаешь?.. ты бегал в лесу этим летом, да?.. И, наверно, помнишь, какие там сосны?.. Вот и я, как сосна... Она такая длинная-длинная и одинокая-одинокая, вот и я тоже... Она, как я, — смотрит только в небо, а что у нее под ногами — не видит и видеть не хочет... Она такая зеленая и вечно будет зеленая, пока не рухнет. Вот и я — пока не рухну, вечно буду зеленым...

— *Зеленым,* — отозвался младенец.

— Или вот, например, одуванчик. Он все колышется и облетает от ветра, и грустно на него глядеть... Вот и я:

разве я не облетаю? разве не противно глядеть, как я целыми днями все облетаю да облетаю?..

— *Противно,* — повторил за мной младенец и блаженно заулыбался...

Вот и я теперь: вспоминаю его *«Противно»* и улыбаюсь, тоже блаженно. И вижу: мне издали кивают ангелы — и отлетают от меня, как обещали.

Кучино — Железнодорожная

Но сначала все-таки к н е й. Сначала — к н е й! Увидеть ее на перроне, с косой от попы до затылка, и от волнения зардеться, и вспыхнуть, и напиться в лежку, и пастись, пастись между лилиями — ровно столько, чтобы до смерти изнемочь!

Принеси запястья, ожерелья,
Шелк и бархат, жемчуг и алмазы,
Я хочу одеться королевой,
Потому что мой король вернулся.

Эта девушка вовсе не девушка! Эта искусительница — не девушка, а баллада ля бемоль мажор! Эта женщина, эта рыжая стервоза — не женщина, а волхвование! Вы спросите: «Да где ты, Веничка, ее откопал, и откуда она взялась, эта рыжая сука? И может ли в Петушках быть что-нибудь путное?»

— Может! — говорю я вам, и говорю так громко, что вздрагивают и Москва, и Петушки. — В Москве — нет, в Москве не может быть, а в Петушках — может! Ну так что же, что «сука»? Зато какая гармоническая сука! А если вам интересно, где и как я ее откопал,

если интересно — слушайте, бесстыдники, я вам все расскажу.

В Петушках, как я вам уже говорил, жасмин не отцветает и птичье пение не молкнет. Вот и в этот день, ровно двенадцать недель тому назад, были птички и был жасмин. А еще был день рождения непонятно у кого. И еще — была бездна всякого спиртного: не то десять бутылок, не то двенадцать, не то двадцать пять. И было все, что может пожелать человек, выпивший столько спиртного: то есть решительно все, от разливного пива до бутылочного. «А еще? — спросите вы. — А еще что было?»

— А еще — было два мужичка, и были три косеющих твари, одна пьянее другой, и дым коромыслом, и ахинея. Больше как будто ничего не было.

И я разбавлял и пил, разбавлял российскую жигулевским пивом и глядел на этих «троих» и что-то в них прозревал. Что именно я прозревал в них, не могу сказать, а поэтому разбавлял и пил, и чем больше я прозревал в них это «что-то», тем чаще разбавлял и пил, и от этого еще острее прозревал.

Но вот ответное прозрение — я только в одной из них ощутил, только в одной! О, рыжие ресницы, длиннее, чем волосы на ваших головах! О, невинные бельмы! О, эта белизна, переходящая в белесость! О, колдовство и голубиные крылья!

— Так это вы: Ерофеев? — и чуть подалась ко мне, и сомкнула ресницы и разомкнула...

— Ну, конечно! Еще бы не я!

(О, гармоническая! как она догадалась?)

— Я одну вашу вещицу — читала. И знаете: я бы никогда не подумала, что на полсотне страниц можно столько нанести околесицы. Это выше человеческих сил!

— Так ли уж выше! — я, польщенный, разбавил и выпил. — Если хотите, я нанесу еще больше! Еще выше нанесу!..

Вот — с этого все началось. То есть началось беспамятство: три часа провала. Что я пил? О чем говорил? В какой пропорции разбавлял? Может, этого провала и не было бы, если б я пил, не разбавляя. Но — как бы то ни было — я очнулся часа через три, и вот в каком положении я очнулся: я сижу за столом, разбавляю и пью.

И кроме нас двоих — никого. И она — рядом, смеется надо мною, как благодатное дитя. Я подумал: «Неслыханная! Это — женщина, у которой до сегодняшнего дня грудь стискивали только предчувствия. Это — женщина, у которой никто до меня даже пульса не щупал. О, блаженный зуд и в душе, и повсюду!»

А она взяла — и выпила еще сто грамм. Стоя выпила, откинув голову, как пианистка. А выпив, все из себя выдохнула, все, что в ней было святого, — все выдохнула. А потом изогнулась, как падла, и начала волнообразные движения бедрами, — и все это с такою пластикою, что я не мог глядеть на нее без содрогания...

Вы, конечно, спросите, вы, бессовестные, спросите: «Так что же, Веничка? Она ....?» Ну, что вам ответить? Ну, конечно, она ....! Еще бы она не ....! Она мне прямо сказала: «Я хочу, чтобы ты меня властно обнял правою рукою!» Ха-ха. «Властно» и «правою рукою»! — а я уже так набрался, что не только властно обнять, а хочу потрогать ее туловище — и не могу, все промахиваюсь мимо туловища...

«Что ж! играй крутыми боками! — подумал я, разбавив и выпив. — Играй, обольстительница! Играй, Клеопатра! Играй, пышнотелая блядь, истомившая сердце поэта! Все, что есть у меня, все, что, м о ж е т   б ы т ь, есть — все швыряю сегодня на белый алтарь Афродиты!»

Так думал я. А она — смеялась. А она — подошла к столу и выпила залпом еще сто пятьдесят, ибо она была совершенна, а совершенству нет предела...

Железнодорожная — Черное

выпила — и сбросила с себя что-то лишнее. «Если она сбросит, — подумал я, — если она, следом за этим лишним, сбросит и исподнее — содрогнется земля и камни возопиют».

А она сказала: «Ну, как, Веничка, хорошо у меня . . . . ?» А я, раздавленный желанием, ждал греха, задыхаясь. Я сказал ей: «Ровно тридцать лет я живу на свете... но еще ни разу не видел, чтобы у кого-нибудь так хорошо . . . . !»

Что же мне теперь? Быть ли мне вкрадчиво-нежным? Быть ли мне пленительно-грубым? Черт его знает, я никогда не понимаю толком, в какое мгновение как обратиться с захмелевшей... До этого — сказать ли вам? — до этого я их плохо знал, и захмелевших, и трезвых. Я стремился за ними мыслью, но как только устремлялся — сердце останавливалось в испуге. Помыслы — были, но не было намерений. Когда же являлись намерения — помыслы исчезали и хотя я устремлялся за ними сердцем, в испуге останавливалась мысль.

Я был противоречив. С одной стороны, мне нравилось, что у них есть талия, а у нас нет никакой талии, это

будило во мне — как бы это назвать? «негу», что ли? — ну да, это будило во мне негу. Но, с другой стороны, ведь они зарезали Марата перочинным ножиком, а Марат был неподкупен, и резать его не следовало. Это уже убивало всякую негу. С одной стороны, мне, как Карлу Марксу, нравилась в них слабость, то есть, вот они вынуждены мочиться, приседая на корточки, это мне нравилось, это наполняло меня — ну, чем это меня наполняло? негой, что ли? — ну да, это наполняло меня негой. Но, с другой стороны, ведь они в И... из нагана стреляли! Это снова убивало негу: приседать приседай, но зачем в И... из нагана стрелять? И было бы смешно после этого говорить о неге... Но я отвлекся.

Итак, каким же мне быть теперь? Быть грозным или быть пленительным?

Она сама — сама сделала за меня мой выбор, запрокинувшись и погладив меня по щеке своею лодыжкою. В этом было что-то от поощрения и от игры, и от легкой пощечины. И от воздушного поцелуя — тоже что-то было. И потом — эта мутная, эта сучья белизна в зрачках, белее, чем бред и седьмое небо! И как небо и земля — живот. Как только я увидел его, я чуть не зарыдал от вдохновения, я весь задымился. И все смешалось: и розы, и лилии, и в мелких завитках — весь — влажный и содрогающийся вход в Эдем, и беспамятство, и рыжие ресницы. О, всхлипывание этих недр! О, бесстыжие бельмы! О, блудница с глазами, как облака! О, сладостный пуп!

Все смешалось, чтобы только начаться, чтобы каждую пятницу повторяться снова и не выходить из сердца и головы. И знаю: и сегодня будет то же, тот же хмель и то же душегубство...

Вы мне скажете: «Так ты что же, Веничка, ты думаешь, ты один у нее такой душегуб?»

А какое мне дело! А вам — тем более! Пусть даже и не верна. Старость и верность накладывают на рожу морщины, а я не хочу, например, чтобы у нее на роже были морщины. Пусть и не верна, не совсем, конечно, «пусть», но все-таки «пусть». Зато вся она соткана из неги и ароматов. Ее не лапать и не бить по ебалу — ее вдыхать надо. Я както попробовал сосчитать все ее сокровенные изгибы, и не мог сосчитать — дошел до двадцати семи и так забалдел от истомы, что выпил зубровки и бросил счет, не окончив.

Но красивее всего у нее предплечья, конечно. В особенности, когда она поводит ими и восторженно смеется, и говорит: «Эх, Ерофеев, мудила ты грешный!» О, дьяволица! Разве можно такую не вдыхать?

Случалось, конечно, случалось, что и она была ядовитой, но это все вздор, это все в целях самообороны и чего-то там такого женского — я в этом мало понимаю. Во всяком случае, когда я ее раскусил до конца, яду там совсем не оказалось, там была малина со сливками. В одну из пятниц, например, когда я совсем был тепленький от зубровки, я ей сказал:

— Давай, давай всю нашу жизнь будем вместе! Я увезу тебя в Лобню, я облеку тебя в пурпур и крученый виссон, я подработаю на телефонных коробках, а ты будешь обонять что-нибудь — лилии, допустим, будешь обонять. Поедем!

А она — молча протянула мне шиш. Я в истоме поднес его к своим ноздрям, вдохнул и заплакал:

— Но почему?.. почему?

Она мне — второй шиш. Я и его поднес, и зажмурился, и снова заплакал:

— Но почему? — заклинаю — ответь — почему???

Вот тогда-то и она разрыдалась, и обвисла на шее:

— Умалишенный! ты ведь сам знаешь, почему! сам — знаешь, почему, угорелый!

И после того — почти каждую пятницу повторялось все то же: и эти слезы, и эти фиги. Но сегодня — сегодня что-то решится, потому что сегодняшняя пятница — тринадцатая по счету. И все ближе к Петушкам. Царица Небесная!..

Черное — Купавна

Я заходил по тамбуру в страшном волнении и все курил, курил...

— И ты говоришь после этого, что ты одинок и непонят? Ты, у которого с т о л ь к о в душе и с т о л ь к о за душой! Ты, у которого т а к а я есть в Петушках! И т а к о й за Петушками!.. Одинок?

— Нет, нет, уже не одинок, уже понят, уже двенадцать недель как понят. Все минувшее миновалось. Вот, помню, когда мне стукнуло двадцать лет, — тогда я был безнадежно одинок. И день рождения был уныл. Пришел ко мне Юрий Петрович, пришла Нина Васильевна, принесли мне бутылку столичной и банку овощных голубцов, — и таким одиноким, таким невозможно одиноким показался я сам себе от этих голубцов, от этой столичной — что, не желая плакать, заплакал...

А когда стукнуло тридцать, минувшей осенью? А когда стукнуло тридцать, — день был уныл, как день двадцатилетия. Пришел ко мне Боря с какой-то полоумной поэтессою, пришли Вадя с Лидой, Ледик с Володей. И принесли мне — что принесли? — две бутылки сто-

личной и две банки фаршированных томатов. И такое отчаяние, такая мука мной овладели от этих томатов, что хотел я заплакать — и уже не мог...

Значит ли это, что за десять лет я стал менее одиноким? Нет, не значит. Тогда значит ли это, что я огрубел душою за десять лет? и ожесточился сердцем? Тоже — не значит. Скорее даже наоборот; но заплакать все-таки не заплакал...

Почему? Я, пожалуй, смогу вам это объяснить, если найду для этого какую-нибудь аналогию в мире п р е к р а с н о г о. Допустим, так: если тихий человек выпьет семьсот пятьдесят, он сделается буйным и радостным. А если он добавит еще семьсот? — будет он еще буйнее и радостнее? Нет, он опять будет тих. Со стороны покажется даже, что он протрезвел. Но значит ли это, что он протрезвел? Ничуть не бывало: он уже пьян, как свинья, оттого и тих.

Точно так же и я: не менее одиноким я стал в эти тридцать лет, и сердцем не очерствел, — совсем наоборот. А если смотреть со стороны — конечно...

Нет, вот уж т е п е р ь — жить и жить! А жить совсем не скучно! Скучно было жить только Николаю Гоголю и царю Соломону. Если уж мы прожили тридцать лет, надо попробовать прожить еще тридцать, да, да. «Человек смертен» — таково мое мнение. Но уж если мы родились — ничего не поделаешь, надо немножко пожить... «Жизнь прекрасна» — таково мое мнение.

Да знаете ли вы, сколько еще в мире тайн, какая пропасть неисследованного, и какой простор для тех, кого влекут к себе эти тайны! Ну вот, самый простой пример: отчего это, если ты с вечера выпил, положим, семьсот пятьдесят, а утром не было случая похмелиться — служ-

ба и все такое — и только далеко за полдень, промаявшись шесть часов или семь, ты выпил, наконец, чтобы облегчить душу (ну, сколько выпил? ну, допустим, сто пятьдесят) — отчего твоей душе не легче? Дурнота, которая сопутствовала тебе с утра, от этих ста пятидесяти сменяется дурнотой другой категории, стыдливой дурнотой, щеки делаются пунцовыми, как у бляди, а под глазами так сине, как будто накануне ты и не пил свои семьсот пятьдесят, а как будто тебя накануне, взамен этого, весь вечер лупили по морде? Почему?

Я вам скажу почему. Потому что человек этот стал жертвою своих шести или семи служебных часов. Надо уметь выбрать себе работу, плохих работ нет. Дурных профессий нет, надо уважать всякое призвание. Надо, чуть проснувшись, немедленно чего-нибудь выпить, даже нет, вру, не «чего-нибудь», а именно того самого, что ты пил вчера, и с паузами в сорок — сорок пять минут пить и пить так, чтобы к вечеру ты выпил на двести пятьдесят больше, чем накануне. Вот тогда не будет ни дурноты, ни стыдливости, и сам ты будешь таким белолицым, как будто тебя уже полгода по морде не били.

Вот видите — сколько в природе загадок, роковых и радостных. Сколько белых пятен повсюду!

А эта пустоголовая юность, идущая нам на смену, как будто и не замечает тайн бытия. Ей недостает размаха и инициативы, и я вообще сомневаюсь, есть ли у них у всех чего-нибудь в мозгах. Что может быть благороднее, например, чем экспериментировать на себе? Я в их годы делал так: вечером в четверг выпивал одним махом три с половиной литра ерша — выпивал и ложился спать, не разуваясь, с одной только мыслью: проснусь я утром в пятницу или не проснусь?

И все-таки утром в пятницу я не просыпался. А просыпался утром в субботу, и уже не в Москве, а под насыпью железной дороги, в районе Наро-Фоминска. А потом — потом я с усилием припоминал и накапливал факты, а накопив, сопоставлял. А сопоставив, начинал опять восстанавливать, напряжением памяти и со всепроникающим анализом. А потом переходил от созерцания к абстракции, другими словами, вдумчиво опохмелялся и, наконец, узнавал, куда же все-таки девалась пятница.

Сызмальства почти, от молодых ногтей, любимым словом моим было «дерзание». И — Бог свидетель — как я дерзал! Если вы так дерзнете — вас хватит кондрашка или паралич. Или даже нет, если бы вы дерзали так, как я в ваши годы дерзал, вы бы в одно прекрасное утро взяли да и не проснулись. А я — просыпался, каждое утро почти просыпался — и снова начинал дерзать.

Например, так: к восемнадцати годам или около того я заметил, что с первой дозы по пятую включительно я мужаю, то есть мужаю неодолимо, а вот уж начиная с шестой

Купавна — 33-й километр

и включительно по девятую — размягчаюсь. Настолько размягчаюсь, что от десятой смежаю глаза, так же неодолимо. И что же я по наивности думал? Я думал: «Надо заставить себя волевым усилием преодолеть дремоту и выпить одиннадцатую дозу — тогда, может быть, начнется рецидив возмужания». Но нет, не тут-то было. Никаких рецидивов — я пробовал.

Я бился над этой загадкой три года подряд, ежедневно бился, и все-таки ежедневно после десятой засыпал.

А ведь все раскрылось так просто! Оказывается, если вы уже выпили пятую, вам надо и шестую, и седьмую, и восьмую, и девятую выпить сразу, одним махом — но выпить идеально, то есть выпить только в воображении. Другими словами, вам надо одним волевым усилием, одним махом — не выпить ни шестой, ни седьмой, ни восьмой, ни девятой.

А выдержав паузу, приступить непосредственно к десятой, и точно так же, как девятую симфонию Антонина Дворжака, фактически девятую, условно называют пятой, точно так же и вы: условно назовите десятой свою шестую и будьте уверены: теперь вы будете уже беспрепятственно мужать и мужать, от самой шестой (десятой) и до самой двадцать восьмой (тридцать второй) — то есть мужать до того предела, за которым следуют безумие и свинство.

Нет, честное слово, я презираю поколение, идущее вслед за нами. Оно внушает мне отвращение и ужас. Максим Горький песен о них не споет, нечего и думать. Я не говорю, что мы в их годы волокли с собою целый груз святынь. Боже упаси! — святынь у нас было совсем чуть-чуть, но зато сколько вещей, на которые нам было не наплевать. А вот им — на все наплевать.

Почему бы им не заняться вот чем: я в их годы пил с большими антрактами; попью-попью — перестану, попью-попью — опять перестану. Я не вправе судить поэтому, одушевленнее ли утренняя депрессия, если делается ежедневной привычкой, то есть если с шестнадцати лет пить каждый день по четыреста пятьдесят грамм в семь часов пополудни. Конечно, если бы мне вернуть мои годы и начать жизнь сначала, я, конечно, попробовал бы, — но ведь они-то! они!..

Да только ли это! А сколько неизвестности таят в себе другие сферы человеческой жизни! Вот представьте себе, к примеру, один день с утра до вечера вы пьете исключительно белую водку и ничего больше; а на другой день — исключительно красные вина. В первый день вы к полуночи становитесь как одержимый. Вы к полуночи такой пламенный, что через вас девушки могут прыгать в ночь на Ивана Купала. Вы, как костер, — сидите, а они через вас прыгают. И, ясное дело, они все-таки допрыгаются, если вы с утра до ночи пили исключительно белую водку.

А если вы с утра до ночи пили только крепленые красные вина? Да девушки через вас и прыгать не станут в ночь на Ивана Купала. Даже наоборот: сядет девушка в ночь на Ивана Купала, а вы через нее и перепрыгнуть не сумеете, не то что другое чего. Конечно, при условии, что вы с утра до вечера пили только красное!..

Да, да! А сколько захватывающего сулят эксперименты в узко специальных областях! Ну, например, икота. Мой глупый земляк Солоухин зовет вас в лес соленые рыжики собирать. Да плюньте вы ему в его соленые рыжики! Давайте лучше займитесь икотой, то есть исследованием пьяной икоты в ее математическом аспекте...

— Помилуйте! — кричат мне со всех сторон. — Да неужели же на свете, кроме этого, нет ничего такого, что могло бы...

— Вот именно: нет! — кричу я во все стороны. — Нет ничего, кроме этого! Нет ничего такого, что могло бы! Я не дурак, я понимаю, есть еще на свете психиатрия, есть внегалактическая астрономия, все это так!

Но ведь все это — не наше, все это нам навязали Петр Великий и Николай Кибальчич, а ведь наше призвание совсем не здесь, наше призвание совсем в другой сторо-

не! В той самой стороне, куда я вас приведу, если вы не станете упираться. Вы скажете: «Призвание это гнусно и ложно». А я вам скажу, я вам снова повторю: «Нет ложных призваний, надо уважать всякое призвание».

И тьфу на вас, наконец! Лучше оставьте янкам внегалактическую астрономию, а немцам — психиатрию. Пусть всякая сволота вроде испанцев идет на свою корриду глядеть, пусть подлец-африканец строит свою Асуанскую плотину, пусть строит, подлец, все равно ее ветром сдует, пусть подавится Италия своим дурацким бельканто, пусть!..

А мы, повторяю, займемся икотой.

33-й километр — Электроугли

Для того, чтоб начать ее исследование, надо, разумеется, ее вызвать: или an sich (термин Иммануила Канта), то есть вызвать ее в себе самом, — или же вызвать ее в другом, но в собственных интересах, то есть für sich. Термин Иммануила Канта. Лучше всего, конечно, и an sich и für sich, а именно вот как: два часа подряд пейте что-нибудь крепкое: старку, или зверобой, или охотничью. Пейте большими стаканами, через полчаса по стакану, по возможности избегая всяких закусок. Если это кому-нибудь трудно, можно позволить себе минимум закуски, но самой неприхотливой: не очень свежий хлеб, кильку пряного посола, кильку простого посола, кильку в томате.

А потом — сделайте часовой перерыв. Ничего не ешьте, ничего не пейте; расслабьте мышцы и не напрягайтесь.

И вы убедитесь сами: к исходу этого часа о н а начнется. Когда вы икнете в первый раз, вас удивит внезапность е е начала: потом вас удивит неотвратимость вто-

рого раза, третьего раза et cetera. Но если вы не дурак, скорее перестаньте удивляться и займитесь делом: записывайте на бумаге, в каких интервалах ваша икота удостаивает вас быть — в секундах, конечно:

— восемь — тринадцать — семь — три — восемнадцать.

Попробуйте, конечно, отыскать здесь хоть какую-нибудь периодичность, хоть самую приблизительную, попробуйте, если вы все-таки дурак, попытайтесь вывести какую-нибудь вздорную формулу, чтобы хоть как-то предсказать длительность следующего интервала. Пожалуйста. Жизнь все равно опрокинет все ваши телячьи построения:

— семнадцать — три — четыре — семнадцать — один — двадцать три — четыре — семь — семь — семь — восемнадцать —

Говорят, вожди мирового пролетариата, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, тщательно изучили смену общественных формаций и на этом основании сумели м н о г о е предвидеть. Но тут они были бы бессильны предвидеть хоть самое малое. Вы вступили, по собственной прихоти, в сферу фатального — смиритесь и будьте терпеливы. Жизнь посрамит и вашу элементарную, и вашу высшую математику:

— тринадцать — пятнадцать — четыре — двенадцать — четыре — пять — двадцать восемь —

Не так ли в смене подъемов и падений, восторгов и бед каждого отдельного человека — нет ни малейшего намека на регулярность? Не так ли беспорядочно чередуются в жизни человечества его катастрофы? Закон — он выше всех нас. Икота — выше всякого закона. И как поразила вас недавно внезапность ее начала, так поразит

вас ее конец, который вы, как смерть, не предскажете и не предотвратите:

— двадцать два — четырнадцать — все. И тишина.

И в этой тишине ваше сердце вам говорит: о н а неисследима, а мы — беспомощны. Мы начисто лишены всякой свободы воли, мы во власти произвола, которому нет имени и спасения от которого — тоже нет.

Мы — дрожащие твари, а о н а — всесильна. О н а, то есть Божья Десница, которая над всеми нами занесена и пред которой не хотят склонить головы одни кретины и проходимцы. О н непостижим уму, а следовательно, О н есть.

Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный.

Электроугли — 43-й километр

Да. Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма. Взгляните на икающего безбожника: он рассредоточен и темнолик, он мучается и он безобразен. Отвернитесь от него, сплюньте и взгляните на меня, когда я стану икать. Верящий в предопределение и ни о каком противоборстве не помышляющий, я верю в то, что Он благ, и сам я поэтому благ и светел.

Он благ. Он ведет меня от страданий — к свету. От Москвы — к Петушкам. Через муки на Курском вокзале, через очищение в Кучине, через грезы в Купавне — к свету и Петушкам. Durch Leiden — Licht!

Я заходил по площадке в еще более страшном волнении. И все курил, и все курил. И тут яркая мысль, как молния, поразила мой мозг:

— Что мне выпить еще, чтобы и *этого* порыва — не угасить? Что мне выпить во Имя Твое?..

Беда! Нет у меня ничего такого, что было бы Тебя достойно. Кубанская — это такое дерьмо! А российская — смешно при Тебе и говорить о российской. И розовое крепкое за рупь тридцать семь! Боже!..

Нет, если я сегодня доберусь до Петушков — невредимый, — я создам *коктейль*, который можно было бы без стыда пить в присутствии Бога и людей. В присутствии людей и во имя Бога. Я назову его «Иорданские струи» или «Звезда Вифлеема». Если в Петушках я об этом забуду — напомните мне, пожалуйста.

Не смейтесь. У меня богатый опыт в создании коктейлей. По всей земле, от Москвы до Петушков, пьют эти *коктейли* до сих пор, не зная имени автора: пьют «Ханаанский бальзам», пьют «Слезу комсомолки», и правильно делают, что пьют. Мы не можем ждать милостей от природы. А чтобы взять их у нее, надо, разумеется, знать их точные рецепты: я, если вы хотите, дам вам эти рецепты. Слушайте.

Пить просто водку, даже из горлышка, — в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном — в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса. А вот выпить стакан «Ханаанского бальзама» — в этом есть и каприз, и идея, и пафос, и сверх того еще метафизический намек.

Какой компонент «Ханаанского бальзама» мы ценим превыше всего? Ну конечно, денатурат. Но ведь денатурат, будучи только *объектом вдохновения*, сам этого вдохновения начисто лишен. Что же, в таком случае, мы ценим в денатурате превыше всего? Ну конечно: голое вкусовое ощущение. А еще превыше тот миазм, ко-

торый он источает. Чтобы этот миазм оттенить, нужна хоть крупица благоухания. По этой причине в денатурат вливают в пропорции 1:2:1 бархатное пиво, лучше всего останкинское или сенатор, и очищенную политуру.

Не буду вам напоминать, как очищается политура. Это всякий младенец знает. Почему-то никто в России не знает, отчего умер Пушкин, а как очищается политура — это всякий знает.

Короче, записывайте рецепт «Ханаанского бальзама». Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах:

Денатурат — 100 г.
Бархатное пиво — 200 г.
Политура очищенная — 100 г.

Итак, перед вами «Ханаанский бальзам» (его в просторечье называют «чернобуркой») — жидкость в самом деле черно-бурого цвета, с умеренной крепостью и стойким ароматом. Это даже не аромат, а гимн. Гимн демократической молодежи. Именно так, потому что в выпившем этот коктейль вызревают вульгарность и темные силы. Я сколько раз наблюдал!..

А чтобы вызревание этих темных сил хоть как-то предотвратить, есть два средства. Во-первых, не пить «Ханаанский бальзам», а во-вторых, пить взамен его коктейль «Дух Женевы».

В нем, в этом «Духе Женевы», нет ни капли благородства, но есть букет. Вы спросите меня: в чем загадка этого букета? Я вам отвечу: не знаю, в чем загадка этого букета. Тогда вы подумаете и спросите: а в чем же разгадка? А в

том разгадка, что «Белую сирень», составную часть «Духа Женевы», не следует ничем заменять, ни жасмином, ни шипром, ни ландышем. «В мире компонентов нет эквивалентов», как говорили старые алхимики, а они-то знали, что говорили. То есть «Ландыш серебристый» — это вам не «Белая сирень», даже в нравственном аспекте, не говоря уже о букетах.

«Ландыш», например, будоражит ум, тревожит совесть, укрепляет правосознание. А «Белая сирень» — напротив того, успокаивает совесть и примиряет человека с язвами жизни...

У меня было так: я выпил целый флакон «Серебристого ландыша», сижу и плачу. Почему я плачу? Потому что маму вспомнил, то есть вспомнил и не могу забыть свою маму. «Мама», — говорю. И плачу. А потом опять: «Мама», — говорю, и снова плачу. Другой бы, кто поглупее, так бы сидел и плакал. А я? Взял флакон «Сирени» — и выпил. И что же вы думаете? Слезы обсохли, дурацкий смех одолел, а маму так даже и забыл, как звать по имени-отчеству.

И как мне смешон поэтому тот, кто, приготовляя «Дух Женевы», в средство от потливости ног добавляет «Ландыш серебристый»! Слушайте точный рецепт:

Белая сирень — 50 г.
Средство от потливости ног — 50 г.
Пиво жигулевское — 200 г.
Лак спиртовой — 150 г.

Но если человек не хочет зря топтать мироздание, пусть он пошлет к свиньям и «Ханаанский бальзам», и

«Дух Женевы». А лучше пусть он сядет за стол и приготовит себе «Слезу комсомолки». Пахуч и странен этот коктейль. Почему пахуч, вы узнаете потом. Я вначале объясню, чем он странен.

Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твердую память или, наоборот — теряет разом и то, и другое. А в случае со «Слезой комсомолки» просто смешно: выпьешь ее сто грамм, этой слезы, — память твердая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь еще сто грамм — и сам себе удивляешься: откуда взялось столько здравого ума? и куда девалась вся твердая память?

Даже сам рецепт «Слезы» благовонен. А от готового коктейля, от его пахучести, можно на минуту лишиться чувств и сознания. Я, например, — лишался.

Лаванда — 15 г.
Вербена — 15 г.
Одеколон «Лесная вода» — 30 г.
Лак для ногтей — 2 г.
Зубной эликсир — 150 г.
Лимонад — 150 г.

Приготовленную таким образом смесь надо двадцать минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повиликой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек — но вы меня не заставите помешивать повиликой «Слезу комсомолки», я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда при мне помешивают «Слезу» не жимолостью, а повиликой...

Но о «Слезе» довольно. Теперь я предлагаю вам последнее и наилучшее. «Венец трудов, превыше всех наград», как сказал поэт. Короче, я предлагаю вам коктейль «Сучий потрох», напиток, затмевающий все. Это уже не напиток — это музыка сфер. Что самое прекрасное в мире? — борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что (записывайте):

Пиво жигулевское — 100 г.
Шампунь «Садко — богатый гость» — 30 г.
Резоль для очистки волос от перхоти — 70 г.
Клей БФ — 15 г.
Тормозная жидкость — 30 г.
Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых — 30 г.

Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов — и подается к столу...

Мне приходили письма, кстати, в которых досужие читатели рекомендовали еще вот что: полученный таким образом настой еще откидывать на дуршлаг. То есть — на дуршлаг откинуть и спать ложиться... Это уже черт знает что такое, и все эти дополнения и поправки — от дряблости воображения, от недостатка полета мысли; вот откуда эти нелепые поправки...

Итак, «Сучий потрох» подан на стол. Пейте его с появлением первой звезды, большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет.

43-й километр — Храпуново

Вы хоть что-нибудь записать успели? Ну вот, пока и довольно с вас... А в Петушках — в Петушках я обещаю поделиться с вами секретом «Иорданских струй», если доберусь живым; если милостив Бог.

А теперь давайте подумаем с вами вместе: что бы мне сейчас выпить? Какую комбинацию я могу создать из этой вшивоты, что осталась в моем чемоданчике? «Поцелуй тети Клавы»? Пожалуй что да. Из моего чемоданчика никаких других «Поцелуев» не выжмешь, кроме «Первого поцелуя» и «Поцелуя тети Клавы». Объяснить вам, что значит «Поцелуй»? А «Поцелуй» значит: смешанное в пропорции пополам-напополам любое красное вино с любою водкою. Допустим: сухое виноградное вино плюс перцовка или кубанская — это «Первый поцелуй». Смесь самогона с 33-м портвейном — это «Поцелуй, насильно данный», или, проще, «Поцелуй без любви», или, еще проще, «Инесса Арманд». Да мало ли разных «Поцелуев»! Чтобы не так тошнило от всех этих «Поцелуев», к ним надо привыкнуть с детства.

У меня в чемоданчике есть кубанская. Но нет сухого виноградного вина. Значит, и «Первый поцелуй» исключен для меня, я могу только грезить о нем. Но — у меня в чемоданчике есть полторы четвертинки российской и розовое крепкое за рупь тридцать семь. А их совокупность и дает нам «Поцелуй тети Клавы». Согласен с вами: он невзрачен по вкусовым качествам, он в высшей степени тошнотворен, им уместнее поливать фикус, чем пить его из горлышка, — согласен, но что же делать, если нет сухого вина, если нет даже фикуса? Приходится пить «Поцелуй тети Клавы».

Я пошел в вагон, чтобы слить мое дерьмо в «Поцелуй». О, как давно я здесь не был! С тех пор, как вышел в Никольском...

На меня, как и в прошлый раз, глядела десятками глаз, больших, на все готовых, выползающих из орбит, — глядела мне в глаза моя родина, выползшая из орбит, на все готовая, большая. Тогда, после ста пятидесяти грамм российской, мне нравились эти глаза. Теперь, после пятисот кубанской, я был влюблен в эти глаза, влюблен, как безумец. Я чуть покачнулся, входя в вагон, — но прошел к своей лавочке совершенно независимо и на всякий случай чуть-чуть улыбаясь...

Подошел — и остолбенел. Где моя четвертинка российской? Та самая четвертинка, которую я у Серпа и Молота только ополовинил? От самого Серпа и Молота она стояла у чемоданчика, в ней оставалось почти сто грамм — где же она теперь?

Я обвел глазами всех — ни один не сморгнул. Нет, я положительно влюблен и безумец. Когда отлетели ангелы? Они ведь все-таки следили за чемоданчиком, если я отлучался, — когда они от меня отлетели? В районе Кучино? Так. Значит, у к р а л и между Кучино и 43-м километром. Пока я делился с вами восторгом моего чувства, пока посвящал вас в тайны бытия, — меня тем временем лишали «Поцелуя тети Клавы»... В простоте душевной я ни разу не заглянул в вагон все это время — прямо комедия... Но теперь — «довольно простоты», как сказал драматург Островский. И — финита ля комедиа. Не всякая простота — святая. И не всякая комедия — божественная... Довольно в мутной воде рыбку ловить — пора ловить человеков!..

Но как ловить и кого ловить?..

Черт знает, в каком жанре я доеду до Петушков... От самой Москвы все были философские эссе и мемуары, все были стихотворения в прозе, как у Ивана Тургенева... Теперь начинается детективная повесть... Я заглянул внутрь чемоданчика: все ли там на месте? Там все было на месте. Но где же эти сто грамм? и кого ловить?..

Я взглянул вправо: там все до сих пор сидят эти двое, тупой-тупой и умный-умный. Тупой в телогрейке уже давно закосел и спит. А умный в коверкотовом пальто сидит напротив тупого и будит его. И как-то по-живодерски будит: берет его за пуговицу и до отказа подтаскивает к себе, как бы натягивая тетиву, — а потом отпускает: и тупой-тупой в телогрейке летит на прежнее место, вонзаясь в спинку лавочки, как в сердце тупая стрела Амура...

«Транс-цен-ден-тально»... — подумал я. — И давно это он его так?.. Нет, эти двое украсть не могли. Один из них, правда, в телогрейке, а другой не спит, — значит, оба, в принципе, могли бы украсть. Но ведь один-то спит, а другой в коверкотовом пальто, — значит, ни тот, ни другой украсть не могли...»

Я глянул назад — нет, там тоже нет ничего такого, что могло бы натолкнуть на мысль. Двое, правда, наталкивают на мысль, но совсем не на ту. Очень странные люди эти двое: он и она. Они сидят по разным сторонам вагона, у противоположных окон, и явно незнакомы друг с другом. Но при всем том — до странности похожи: он в жакетке, и она — в жакетке; он в коричневом берете и при усах, и она — при усах и в коричневом берете...

Я протер глаза и еще раз посмотрел назад... Удивительная похожесть, и оба то и дело рассматривают друг дружку с интересом и гневом... Ясное дело, они не могли украсть.

А впереди? Я глянул вперед.

И впереди то же самое, странных только двое: дедушка и внучек. Внучек на две головы длиннее дедушки и от рождения слабоумен. Дедушка — на две головы короче, но слабоумен тоже. Оба глядят мне прямо в глаза и облизываются...

«Подозрительно», — подумал я. Отчего бы это им облизываться? Все ведь тоже глядят мне в глаза, но ведь никто не облизывается! Очень подозрительно... Я стал рассматривать их так же пристально, как они меня.

Нет, внучек — совершенный кретин. У него и шея-то не как у всех, у него шея не врастает в торс, а как-то вырастает из него, вздымаясь к затылку вместе с ключицами. И дышит он как-то идиотически: вначале у него выдох, а потом вдох, тогда как у всех людей наоборот: сначала вдох, а уж потом выдох. И смотрит на меня, смотрит, разинув глаза и сощурив рот...

А дедушка — тот смотрит еще напряженнее, смотрит, как в дуло орудия. И такими синими, такими разбухшими глазами, что из обоих этих глаз, как из двух утопленников, влага течет ему прямо на сапоги. И весь он, как приговоренный к высшей мере, и на лысой голове его мертво. И вся физиономия — в оспинах, как расстрелянная в упор. А посередке расстрелянной физии — распухший и посиневший нос, висит и качается, как старый удавленник...

«Очччень подозрительно», — подумал я еще раз. И, привстав на месте, поманил их пальцем к себе.

Оба вскочили немедленно и бросились ко мне, не переставая облизываться. «Это тоже странно, — подумал я, — они вскочили даже, по-моему, чуть раньше, чем я их поманил»...

Я пригласил их сесть напротив себя.

Оба сели, в упор рассматривая мой чемоданчик. Внучек сел как-то странно. Мы все садимся на задницу, а этот сел как-то странно: избоченясь, на левое ребро, и как бы предлагая одну свою ногу мне, а другую — дедушке.

— Как звать тебя, папаша, и куда ты едешь?

Храпуново — Есино

— Митричем меня звать. А это мой внучек, он тоже Митрич... Едем в Орехово, в парк... в карусели покататься...

А внучек добавил:

— И-и-и-и-и...

Необычен был этот звук, и чертовски обидно, что я не могу его как следует передать. Он не говорил, а верещал. И говорил не ртом, потому что рот его был вечно сощурен и начинался откуда-то сзади. А говорил он левой ноздрей, и то с таким усилием, как будто левую ноздрю приподымал правой: «И-и-и-и, как мы быстро едем в Петушки, славные Петушки»... «И-и-и, какой пьяный дедушка, хороший дедушка»...

— Тта-а-ак. Значит, говоришь, в карусели?..

— В карусели.

— А может, все-таки, не в карусели?..

— В карусели, — еще раз подтвердил Митрич, и все тем же приговоренным голосом, и влага из глаз его все текла...

— А скажи мне, Митрич, а что ты тут делал, пока я в тамбуре был? пока я в тамбуре был погружен в свои мысли? в свои мысли о своем чувстве? к любимой женщине? А? Скажи...

Митрич, не шелохнувшись, весь как-то забегал.

— Я... нничего. Я просто хотел компоту покушать... Компоту с белым хлебом...

— Компоту с белым хлебом?

— Компоту. С белым хлебом.

— Прекрасно. Значит, так: я стою на площадке и весь погружен в мысли о чувстве. А вы, между тем, ищете у меня на лавочке: нет ли тут компоту с белым хлебом?.. А не найдя компоту...

Дедушка — первый не вынес, и весь расплакался. А следом за ним и внучек: верхняя губа у него совсем куда-то пропала, а нижняя свесилась до пупа, как волосы у пианиста... Оба плакали...

— Я вас понимаю, да. Я все могу понять, если захочу простить... У меня душа, как у троянского коня пузо, многое вместит. Я все прощу, если захочу понять. А я — понимаю: вы просто хотите компота и белого хлеба. Но у меня на лавочке вы не находите ни того, ни другого. И вы просто вынуждены выпить хотя бы то, что вы находите, — взамен того, чего вы хотите...

Я их раздавил своими уликами, они закрыли лицо, оба, и покаянно раскачивались на лавке, в такт моим обвинениям.

— Вы мне напоминаете одного старичка в Петушках. Он — тоже, он пил на чужбинку, он пил только краденое: утащит, например, в аптеке флакон тройного одеколона, пойдет в туалет у вокзала и там тихонько выпьет. Он называл это «пить на брудершафт», он был серьезно убежден, что это и есть «пить на брудершафт», он так и умер в своем заблуждении... Так что же? Значит, и вы решили — на брудершафт?..

Они все раскачивались и плакали, а внучек — тот даже заморгал от горя, всеми своими подмышками...

— Но — довольно слез. Я если захочу понять, то все вмещу. У меня не голова, а дом терпимости. Если вы хотите, я могу угостить еще. Вы уже по пятьдесят грамм выпили — я могу налить вам еще по пятьдесят грамм...

В эту минуту кто-то подошел к нам сзади и сказал:

— Я тоже хочу с вами выпить.

Все разом на него поглядели. То был черноусый, в жакетке и в коричневом берете.

— И-и-и-и, — заверещал молодой Митрич, — какой дяденька, какой хитрый дяденька...

Черноусый оборвал его, взглядом из-под усов:

— Я никакой не хитрый. Я не ворую, как некоторые. Я не ворую у незнакомых людей предметов первой необходимости. Я пришел со своей — вот...

И он поставил мне на лавочку бутылку столичной.

— От моей не откажетесь? — спросил он меня.

Я потеснился, чтобы дать ему место.

— Нет, потом, пожалуй, и не откажусь, а пока хочу свое. «Поцелуй тети Клавы».

— Тети Клавы?

— Тети Клавы.

Мы налили себе, каждый свое. Дед и внук протянули мне свою посуду: они, оказывается, давно держали ее наготове, задолго до того, как я их поманил. Дед вынул пустую четвертинку, я сразу ее признал. А внучек — тот вынул даже целый ковш, и вынул откуда-то из-под лобка и диафрагмы...

Я налил им, сколько обещал, и они улыбались.

— На брудершафт, ребятишки?

— На брудершафт.

Все пили, запрокинув головы, как пианисты... «Наш поезд на станции Есино — не останавливается. Остановки по всем пунктам — кроме Есино».

Есино — Фрязево

Началось шелестенье и чмоканье. Как будто тот пианист, который все пил, — теперь уже все выпил и, утонув в волосах, заиграл этюд Ференца Листа «Шум леса», до диез минор.

Первым заговорил черноусый в жакетке. И почему-то обращался единственно только ко мне:

— Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие люди, если выпьют, — обязательно покраснеют...

— Ну так что же?

— Как, то есть, «что же»? А Куприн и Максим Горький — так те вообще не просыпались!..

— Прекрасно. Ну, а дальше?

— Как, то есть «ну, а дальше»? Последние предсмертные слова Антона Чехова какие были? Он сказал: «Ихь штербе», то есть «я умираю». А потом добавил: «Налейте мне шампанского». И уж тогда только — умер.

— Так-так?..

— А Фридрих Шиллер — тот не только умереть, тот даже жить не мог без шампанского. Он знаете как писал? Опустит ноги в ледяную ванну, нальет шампанского — и пишет. Пропустит один бокал — готов целый акт трагедии. Пропустит пять бокалов — готова целая трагедия в пяти актах.

— Так-так-так... Ну, и...

Он кидал в меня мысли, как триумфатор червонцы, а я едва-едва успевал их подбирать. «Ну, и...»

— Ну, и Николай Гоголь...

— Что Николай Гоголь?..

— Он всегда, когда бывал у Аксаковых, просил ставить ему на стол особый, розовый бокал...

— И пил из розового бокала?

— Да. И пил из розового бокала.

— А что пил?

— А кто его знает!.. Ну, что можно пить из розового бокала? Ну, конечно, водку...

И я, и оба Митрича с интересом за ним следили. А он, черноусый, так и смеялся, в предвкушении новых триумфов...

— А Модест-то Мусоргский! Бог ты мой, а Модест-то Мусоргский! Вы знаете, как он писал свою бессмертную оперу «Хованщина»? Это смех и горе. Модест Мусоргский лежит в канаве с перепою, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков, в смокинге и с бамбуковой тростью. Остановится Николай Римский-Корсаков, пощекочет Модеста своей тростью и говорит: «Вставай! Иди умойся и садись дописывать свою божественную оперу «Хованщина»!»

И вот они сидят — Николай Римский-Корсаков в креслах сидит, закинув ногу за ногу, с цилиндром на отлете. А напротив него — Модест Мусоргский, весь томный, весь небритый — пригнувшись на лавочке, потеет и пишет ноты. Модест на лавочке похмелиться хочет: что ему ноты! А Николай Римский-Корсаков с цилиндром на отлете похмелиться не дает...

Но уж как только затворяется дверь за Римским-Корсаковым — бросает Модест свою бессмертную оперу «Хованщина» и — бух! в канаву. А потом встанет — и опять похмеляться, и опять — бух!.. А между прочим, социал-демократы...

— Начитанный, чччерт! — в восторге прервал его старый Митрич, а молодой, от чрезмерного внимания, вобрал в себя все волосы и заиндевел...

— Да, да! Я очень люблю читать! В мире столько прекрасных книг! — продолжал человек в жакетке. —

Я, например, пью месяц, пью другой, а потом возьму и прочитаю какую-нибудь книжку, и так хороша покажется мне эта книжка, и так дурен кажусь я сам себе, что я совсем расстраиваюсь и не могу читать, бросаю книжку и начинаю пить: пью месяц, пью другой, а потом...

— Погоди, — тут уж я его прервал, — погоди. Так что же социал-демократы?

— Какие социал-демократы? Разве только социал-демократы? Все ценные люди России, все нужные ей люди — все пили, как свиньи. А лишние, бестолковые — нет, не пили. Евгений Онегин в гостях у Лариных и выпил-то всего-навсего брусничной воды, и то его понос пробрал. А честные современники Онегина «между лафитом и клико» (заметьте: «между лафитом и клико»!) тем временем рождали «мятежную науку» и декабризм... А когда они наконец разбудили Герцена...

— Как же! Разбудишь его, вашего Герцена! — рявкнул кто-то с правой стороны. Мы все вздрогнули и повернулись направо. Это рявкал Амур в коверкотовом пальто. — Ему еще в Храпунове надо было выходить, этому Герцену, а он все едет, собака...

Все, кто мог смеяться, — все рассмеялись: «Да оставь ты его в покое, черт, декабрист хуев!» «Уши ему потри, уши!» «Какая разница — в Храпуново ехать или в Петушки! Может, человеку захотелось в Петушки, а ты его гонишь в Храпуново!» Все вокруг незаметно косели, незаметно и радостно косели, незаметно и безобразно... И я — вместе с ними... Я повернулся к жакетке и черным усам:

— Ну допустим, ну разбудили они Александра Герцена, при чем же тут демократы и «Хованщина» и...

— А вот и при том! С этого и началось все главное — сивуха началась вместо клико! разночинство началось,

дебош и хованщина! Все эти Успенские, все эти Помяловские — они без стакана не могли написать ни строки! Я читал, я знаю! Отчаянно пили! все честные люди России! а отчего они пили? — с отчаяния пили! пили оттого, что честны, оттого, что не в силах были облегчить участь народа! Народ задыхался в нищете и невежестве, почитайте-ка Дмитрия Писарева! Он так и пишет: «Народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины, оттого и пьет русский мужик, от нищеты своей пьет! Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского, а одна только водка, и монопольная, и всякая, и в разлив, и навынос! Оттого он и пьет, от невежества своего пьет!»

Ну как тут не прийти в отчаяние, как не писать о мужике, как не спасать его, как от отчаяния не запить! Социал-демократ — пишет и пьет, и пьет, как пишет. А мужик — не читает и пьет, пьет, не читая. Тогда Успенский встает — и вешается, а Помяловский ложится под лавку в трактире — и подыхает, а Гаршин встает — и с перепою бросается через перила...

Черноусый уже вскочил, и снял берет, и жестикулировал, как бешеный, — все выпитое подстегивало его и ударяло в голову, все ударяло и ударяло... Декабрист в коверкотовом пальто — и тот бросил своего Герцена, подсел к нам ближе и воздел к оратору мутные, сырые глаза...

— И вы смотрите, что получается! Мрак невежества все сгущается, и обнищание растет а б с о л ю т н о! Вы Маркса читали? А б с о л ю т н о! Другими словами, пьют все больше и больше! Пропорционально возрастает отчаяние социал-демократа, тут уже не лафит, не клико, те еще как-то добудились Герцена! А теперь — вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет не просыпаясь! Бей

во все колокола, по всему Лондону — никто в России головы не поднимет, все в блевотине и всем тяжело!..

И так — до наших времен! вплоть до наших времен! Этот круг, порочный круг бытия — он душит меня за горло! И стоит мне прочесть хорошую книжку — я никак не могу разобраться, кто отчего пьет: низы, глядя вверх, или верхи, глядя вниз. И я уже не могу, я бросаю книжку. Пью месяц, пью другой, а потом...

— Стоп! — прервал его декабрист. — А разве нельзя не пить? Взять себя в руки — и не пить? Вот тайный советник Гете, например, совсем не пил.

— Не пил? Совсем? — черноусый даже привстал и надел берет. — Не может этого быть!

— А вот и может. Сумел человек взять себя в руки — и ни грамма не пил...

— Вы имеете в виду Иоганна фон Гете?

— Да. Я имею в виду Иоганна фон Гете, который ни грамма не пил.

— Странно... А если б Фридрих Шиллер поднес бы ему?.. бокал шампанского?

— Все равно бы не стал. Взял бы себя в руки — и не стал. Сказал бы: не пью ни грамма.

Черноусый поник и затосковал. На глазах у публики рушилась вся его система, такая стройная система, сотканная из пылких и блестящих натяжек. «Помоги ему, Ерофеев, — шепнул я сам себе, — помоги человеку. Ляпни какую-нибудь аллегорию или...»

— Так вы говорите: тайный советник Гете не пил ни грамма? — я повернулся к декабристу. — А почему он не пил, вы знаете? Что его заставляло не пить? Все честные умы пили, а он — не пил? Почему? Вот мы сейчас едем в Петушки и почему-то везде остановки, кроме Есино. По-

чему бы им не остановиться и в Есино? Так вот нет же, проперли без остановки. А все потому, что в Есино нет пассажиров, они все садятся или в Храпунове, или во Фрязеве. Да. Идут от самого Есина до самого Храпунова или до самого Фрязева — и там садятся. Потому что все равно ведь поезд в Есино прочешет без остановки. Вот так поступал и Иоганн фон Гете, старый дурак. Думаете, ему не хотелось выпить? Конечно, хотелось. Так он, чтобы самому не скопытиться, вместо себя заставлял пить всех своих персонажей. Возьмите хоть «Фауста»: кто там не пьет? все пьют. Фауст пьет и молодеет, Зибель пьет и лезет на Фауста, Мефистофель только и делает, что пьет и угощает буршей и поет им «Блоху». Вы спросите: для чего это нужно было тайному советнику Гете? Так я вам скажу: а для чего он заставил Вертера пустить себе пулю в лоб? Потому что — есть свидетельство — он сам был на грани самоубийства, но чтоб отделаться от искушения, заставил Вертера сделать это вместо себя. Вы понимаете? Он остался жить, но *как бы* покончил с собой. И был вполне удовлетворен. Это даже хуже прямого самоубийства, в этом больше трусости и эгоизма, и творческой низости...

Вот так же он и пил, как стрелялся, ваш тайный советник. Мефистофель выпьет — а ему хорошо, старому псу. Фауст добавит — а он, старый хрен, уже лыка не вяжет. Со мною на трассе дядя Коля работал — тот тоже: сам не пьет, боится, что чуть выпьет — и сорвется, загудит на неделю, на месяц. А нас — так прямо чуть не принуждал. Разливает нам, крякает за нас, блаженствует, гад, ходит, как обалделый...

Вот так и ваш хваленый Иоганн фон Гете! Шиллер ему подносит, а он отказывается — еще бы! Алкоголик

он был, а л к а ш он был, ваш тайный советник Иоганн фон Гете! И руки у него к а к б ы тряслись!..

— Вот это да-а-а... — восторженно разглядывали меня и декабрист, и черноусый. Стройная система была восстановлена, и вместе с ней восстановилось веселье. Декабрист — широким жестом — вытащил из коверкотового пальто бутылку перцовой и поставил ее у ног черноусого. Черноусый вынул свою столичную. Все потирали руки — до странности возбужденно...

Мне налили — больше всех. Старому Митричу — тоже налили. Молодому тоже подали стакан — он радостно прижал его к левому соску правым бедром, и из обеих ноздрей его хлынули слезы...

— Итак, за здоровье тайного советника Иоганна фон Гете?

Фрязево — 61-й километр

— Да. За здоровье тайного советника Иоганна фон Гете.

Я, как только выпил, почувствовал, что пьянею сверх всякой меры и что все остальные — тоже...

— А... разрешите вам задать один пустяшный вопрос, — сказал черноусый сквозь усы и сквозь бутерброд в усах: он опять обращался только ко мне. — Разрешите спросить: отчего это в глазах у вас столько грусти?.. Разве можно грустить, имея такие познания! Можно подумать — вы с утра ничего не пили!

Я даже обиделся:

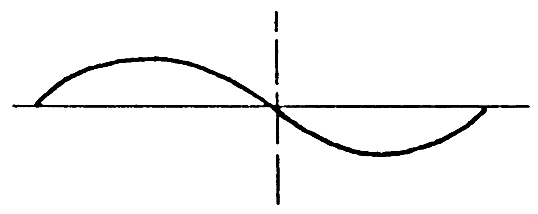
— Как, то есть, ничего! И разве это грусть? Это просто замутненность глаз... Я просто немного поддал...

— Нет, нет, эта замутненность — от грусти! Вы как

Гете! Вы всем вашим видом опровергаете одну из моих лемм, несколько умозрительную лемму, но все же выросшую из опыта! Вы, как Гете, все опровергаете...

— Да чем же я опровергаю? Своей замутненностью?..

— Именно! Своей замутненностью! Вот послушайте, в чем моя заветная лемма: когда мы вечером пьем, а утром не пьем, какими мы бываем вечером и какими становимся наутро? Я, например, если выпью — я весел чертовски, я подвижен и неистов, я места себе не нахожу, да. А наутро? — наутро я не просто н е в е с е л, не просто н е п о д в и ж е н, нет. Я ровно настолько же мрачнее обычного себя, трезвого себя, насколько веселее обычного был накануне. Если я накануне одержим был Эросом, то мое утреннее отвращение в точности равновелико вчерашним грезам. Что я хочу сказать? а вот, смотрите:



И черноусый изобразил на бумажке такую вот хреновину. И объяснил: горизонтальная линия — это линия обычной трезвости, п о в с е д н е в н а я линия. Наивысшая точка кривой — момент засыпания, наинизшая — пробуждения с похмелья...

— Видите! Это же голая зеркальность! Глупая, глупая природа, ни о чем она не заботится так рьяно, как о равновесии! Не знаю, нравственна ли это забота, но она строго г е о м е т р и ч н а! Смотрите: ведь эта кривая изображает нам не один только жизненный тонус, нет! Она все изоб-

ражает. Вечером — бесстрашие, даже если и есть причина бояться, бесстрашие и недооценка всех ценностей. Утром — переоценка всех этих ценностей, переоценка, переходящая в страх, совершенно беспричинный.

Если с вечера, спьяна природа нам «передала», то наутро она столько же и недодаст, с математической точностью. Был у вас вечером порыв к идеалу — пожалуйста, с похмелья его сменяет порыв к антиидеалу, а если идеал и остается, то вызывает антипорыв. Вот вам в двух словах моя заветная лемма... Она — всеобща и к каждому применима. А у вас — все не как у людей, все, как у Гете!..

Я рассмеялся: «Почему ж она все-таки лемма, если она всеобща?..»

И декабрист — тоже рассмеялся: «Коли она всеобща, то почему же лемма?..»

— А потому и лемма! Потому что в расчет не принимает бабу! Человека в чистом виде лемма принимает, а бабу — не принимает! С появлением бабы нарушается всякая зеркальность. Если б баба не была бабой, лемма не была бы леммой. Лемма всеобща, пока нет бабы. Баба есть — и леммы уже нет... В особенности — если баба плохая, а лемма хорошая...

Враз заговорили все. «Да что такое вообще лемма?» «И что такое — плохая баба?» «Плохих баб нет, только леммы одни бывают плохие...»

— У меня, например, — сказал декабрист, — у меня тридцать баб, и одна чище другой, хоть и усов у меня нет. А у вас, допустим, усы и одна хорошая баба. Все-таки, я считаю: тридцать самых плохих баб лучше, чем одна, хоть и самая хорошая...

— При чем тут усы! Разговор о бабе идет, а не об усах!

— И об усах! Не было бы усов — не было б и разговора...

— Черт знает, что вы городите!.. Все-таки, я думаю: одна хорошая стоит всех ваших. Как вы на это смотрите?.. — черноусый опять поворотился ко мне. — С научной точки зрения, как вы на это смотрите?..

Я сказал:

— С научной, конечно, стоит. В Петушках, например, тридцать посудин меняют на полную бутылку зверобоя, и если ты принесешь, допустим...

«Как! Тридцать на одну! Почему так много!» — галдеж возобновился.

— Да иначе кто ж вам обменяет! Тридцать на двенадцать — это 3.60. А зверобой стоит 2.62. Это и дети знают. Отчего Пушкин умер, они еще не знают, а это — уже знают. А все-таки никакой сдачи. 3.60, конечно, хорошо, это лучше, чем 2.62, но все-таки сдачи не берешь, потому что за витриной стоит хорошая баба, а хорошую бабу надо уважить...

— Да чем же она хороша, эта баба за витриной?

— Да тем и хороша, что плохая вообще бы посуду у вас не взяла. А хорошая баба — берет у вас плохую посуду, а взамен дает хорошую. И поэтому надо уважить... Для чего вообще на свете баба?

Все значительно помолчали. Каждый подумал свое, или все подумали одно и то же, не знаю.

— А для того, чтоб уважить. Что говорил Максим Горький на острове Капри? «Мерило всякой цивилизации — способ отношения к женщине». Вот и я: прихожу я в петушинский магазин, у меня с собой тридцать пустых посудин. Я говорю: «Хозяюшка!» — голосом таким пропитым и печальным говорю: «Хозяюшка! Зверобою мне, будьте добры...» И ведь знаю, что чуть ли не рупь передаю: 3.60 минус 2.62. Жалко. А она на меня смот-

рит: давать ему, гаду, сдачи или не давать? А я на нее смотрю: даст она мне, гадина, сдачи или не даст? Вернее, нет, я в это мгновение смотрю не на нее, я смотрю сквозь нее и вдаль. И что же встает перед моим бессмысленным взором? Остров Капри встает. Растут агавы и тамаринды, а под ними сидит Максим Горький, из-под белых брюк — волосатые ноги. И пальцем мне грозит: «Не бери сдачи! Не бери сдачи!» Я ему моргаю: мол, жрать будет нечего. «Ну, хорошо, я выпью, а чем я зажирать буду?»

А он: «Ничего, Веня, потерпишь. А коли хочешь жрать — так не пей». Так и ухожу, без всякой сдачи. Сержусь, конечно; думаю: «Мерило!» «Цивилизации!» «Эх, Максим Горький, Максим же ты Горький, сдуру или спьяну ты сморозил такое на своем Капри? Тебе хорошо — ты там будешь жрать свои агавы, а мне чего жрать?..»

Публика — смеялась. А внучек верещал: «И-и-и-и, какие агавы, какие хорошие капри...»

— А плохая баба? — сказал декабрист. — Разве не нужна бывает и плохая баба?

— Конечно! Конечно, нужна, — отвечал я ему. — Хорошему человеку плохая баба иногда прямо необходима бывает. Вот я, например, двенадцать недель тому назад: я был во гробе, я уж четыре года лежал во гробе, так что уже и смердеть перестал. А ей говорят: «Вот — он во гробе. И воскреси, если сможешь». А она подошла ко гробу — вы бы видели, как она подошла!

— Знаем! — сказал декабрист. — «Идет, как пишет. А пишет, как Лева. А Лева пишет хуево».

— Вот-вот! Подошла ко гробу и говорит: «Талифа куми». Это значит в переводе с древнежидовского: «Тебе говорю — встань и ходи». И что ж вы думаете? Встал — и пошел. И вот уж три месяца хожу замутненный...

— Замутненность — от грусти, — повторил черноусый в беретке. — А грусть — от бабы.

— Замутненность — оттого, что поддал, — перебил его декабрист.

— Да причем тут «поддал»? А «поддал»-то почему? Потому что, допустим, человек грустит и едет к бабе. Нельзя же ехать к бабе и не пить! — плохая, значит, баба! Да если даже и плохая — все равно надо выпить. Наоборот, чем хуже баба, тем лучше надо поддать!..

— Честное слово! — вскричал декабрист. — Как хорошо, что все мы такие развитые! У нас тут прямо как у Тургенева: все сидят и спорят про любовь... Давайте и я вам что-нибудь расскажу — про исключительную любовь и про то, как бывают необходимы плохие бабы!.. Давайте, как у Тургенева! Пусть каждый чего-нибудь да расскажет...

«Давайте!» «Давайте, как у Тургенева!» Даже старый Митрич — и тот сказал: «Давайте!..»

61-й километр — 65-й километр

Первым начал рассказывать декабрист:

— Один приятель был у меня, я его никогда не забуду. Он и всегда-то был какой-то одержимый, а тут не иначе как бес в него вошел. Он помешался — знаете, на ком? На Ольге Эрдели, прославленной советской арфистке. Может быть, Вера Дулова тоже прославленная арфистка. Но он помешался именно на Эрдели. И ни разу-то он ее в жизни не видел, а только слышал по радио, как она бренчит на арфе, — а вот поди ж ты, помешался...

Помешался и лежит. Не работает, не учится, не курит, не пьет, с постели не встает, девушек не любит и в

окошко не высовывается... Подай ему Ольгу Эрдели, и весь тут сказ. Наслажусь, мол, арфисткой Ольгой Эрдели и только тогда — воскресюсь: встану с постели, буду работать и учиться, буду пить и курить и высунусь в окошко. Мы ему говорим:

— Ну зачем тебе именно Эрдели? Возьми хоть Веру Дулову взамен Эрдели. Вера Дулова играет прекрасно!

А он:

— Подавитесь вы своей Верой Дуловой! В гробу я видел вашу Веру Дулову! Я с вашей Верой Дуловой и срать рядом не сяду!

Ну, видим, малый совсем выкипает. Дня через три опять мы к нему подходим.

— Ну как, все Ольгой Эрдели бредишь? Мы нашли лекарство: хочешь, мы завтра тебе приволокем Веру Дулову?

— Конечно, — отвечает, — если вы хотите, чтоб я ее, вашу Веру Дулову, удавил, струною от арфы, — тогда, пожалуйста, волоките. Я ее удавлю.

Ну что делать? Малый совсем вымирает, надо его спасать. Пошел я к Ольге Эрдели, хотел объяснить, в чем дело, да так и не решился. Хотел даже и к Вере Дуловой — да нет, думаю, удавит он ее, как незабудку. И иду я по Москве вечером, и грустно мне: они там на арфах сидят и играют, толстеют и пухнут на арфах, а от малого остались руины и пепел.

А тут мне встречается бабонька, не то чтоб очень старая, но уже пьяная-пьяная. «Рррупь мне дай, — говорит. — Дай мне рррупь!» И тут-то меня осенило. Я дал ей рупь и все ей объяснил: она, эта мандавошечка, оказалась понятливее Эрдели, а для пущей убедительности я заставил ее взять с собой балалайку...

И вот — я поволок ее к моему приятелю. Вошли: он все лежит и тоскует. Я ему сначала кинул балалайку, прямо с порога. А потом — швырнул ему в лицо эту Ольгу, я этой Ольгой в него запустил!.. «Вот она — Эрдели! Не веришь — спроси!»

И наутро смотрю: отворилось окошко, он в него высунулся и потихоньку закурил. Потом — потихоньку заработал, заучился, запил... И стал человек как человек. Вот видите!..

«Да где же тут любовь и где Тургенев?» — заговорили мы, почти не дав окончить. — «Нет, ты давай про любовь! Ты читал Ивана Тургенева?» «Ну, коли читал, так и расскажи!» «Про первую любовь расскажи, про Зиночку, про вуаль, и как тебе хлыстом по роже съездили — вот примерно все это и расскажи...»

— Конечно, — прибавил я, — у Ивана Тургенева все это немножко не так, у него все собираются к камину, в цилиндрах, и держат жабо на отлете... Ну, да ладно, у нас и без камина есть чем согреться. А жабо — что нам жабо! Мы уже и без жабо — лыка не вяжем...

— Конечно! Конечно!

— Если любить по-тургеневски, это значит: суметь пожертвовать всем ради избранного создания! суметь сделать то, что невозможно сделать, не любя по-тургеневски! Вот ты, например (мы незаметно переходили на «ты»). Вот ты, декабрист, ты смог бы у этого приятеля, про которого рассказывал, — смог бы палец у него откусить? ради любимой женщины?

— Ну зачем палец?.. при чем тут палец? — застонал декабрист.

— Нет, нет, слушай. А ты мог бы: ночью, тихонько войти в парткабинет, снять штаны и выпить целый флакон чернил, а потом поставить флакон на место, надеть

штаны и тихонько вернуться домой? ради любимой женщины? смог бы?..

— Боже мой! Нет, не смог бы.

— Ну вот то-то...

— А я бы смог! — проговорил вдруг дедушка Митрич. Так неожиданно, что все снова заерзали и запотирали руки. — А я бы смог чего-нибудь рассказать...

— Ты? Р а с с к а з а т ь? Да ты, наверное, и не читал совсем Ивана Тургенева!..

— Ну и пусть, что не читал... Мой внучек зато все читал...

— Ну, ладно! ладно! внучек потом расскажет! внучку потом слово дадим! Давай, папаша, валяй, рассказывай про любовь!..

«Представляю, — подумал я, — что это будет за чушь! что за несусветная чушь!» И я вдруг снова припомнил свою похвальбу в день знакомства с моей Царицей: «Еще выше нанесу околесицы! Нанесу еще выше!» Что ж, пусть рассказывает, этот слезящийся Митрич. Надо чтить, повторяю, потемки чужой души, надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего, пусть там дрянь одна — все равно: смотри и чти, смотри и не плюй...

Дедушка начал рассказывать:

65-й километр — Павлово-Посад

— Председатель у нас был... Лоэнгрин его звали, строгий такой... и весь в чирьях... и каждый вечер на моторной лодке катался. Сядет в лодку и по речке плывет... плывет и чирья из себя выдавливает...

Из глаз рассказчика вытекала влага, и он был взволнован:

— А покатается он на лодке... придет к себе в правление, ляжет на пол... и тут уже к нему не подступись — молчит и молчит. А если скажешь ему слово поперек — отвернется он в угол и заплачет... стоит и плачет, и пысает на пол, как маленький...

Дедушка вдруг умолк. Губы его искривились, синий нос его вспыхнул и погас. Он плакал! Плакал, как женщина, охватив руками голову, плечи его так и ходили ходуном, так и ходили, как волны...

— Ну и все, что ли, Митрич?..

— И все, — отвечал он сквозь слезы.

Вагон содрогнулся от хохота. Все смеялись, безобразно и радостно. А внучек даже весь задергался, снизу вверх, чтобы слева направо не прыснуть себе в щиколку. Черноусый сердился:

— Да где же тут Тургенев? Мы же договорились: как у Ивана Тургенева! А тут черт знает что такое! Какой то весь в чирьях! да еще вдобавок «пысает»!

— Да ведь он, наверно, кинокартину пересказывал! — брякнул кто-то со стороны. — Кинокартину «Председатель»!

— Какая там, к черту, кинокартина!..

А я сидел и понимал старого Митрича, понимал его слезы: ему просто все и всех было жалко: жалко председателя, за то, что ему дали такую позорную кличку, и стенку, которую он обмочил, и лодку, и чирьи — все жалко... Первая любовь или последняя жалость — какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальства Он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру — едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву. И ко плоду всякого чрева — жалость.

— Давай, папаша, — сказал я ему, — давай я угощу тебя, ты заслужил! ты хорошо рассказал про любовь!..

— И все, и все давайте выпьем! За орловского дворянина Ивана Тургенева, гражданина прекрасной Франции!

— Давайте! За орловского дворянина!..

Снова началось то же бульканье и тот же звон, потом опять шелестенье и чмоканье. Этюд до диез минор, сочинение Ференца Листа, исполнялся на бис...

Никто сразу и не заметил, как у входа в наше «купе» (назовем его «купе») выросла фигура женщины в коричневом берете, в жакетке и с черными усиками. Она вся была пьяна, снизу доверху, и берет у нее разъезжался...

— Я тоже хочу Тургенева и выпить, — проговорила она всею утробою...

Замешательство длилось не больше двух мгновений.

— Аппетитная приходит во время еды, — съязвил декабрист.

Все засмеялись.

— Чего тут смеяться, — сказал дедушка. — Баба как баба, хорошая, мягонькая...

— Таких хороших баб, — мрачно отозвался черноусый и снял берет, — таких хороших баб надо в Крым отправлять, чтоб их там волки-медведи кушали...

— Ну почему, почему! — я запротестовал и засуетился. — Пусть сядет! Пусть чего-нибудь да расскажет! «Читали Тургенева, читали Максима Горького, а толку с вас!..» — Я потеснился. Я усадил ее и налил ей полстакана «тети Клавы».

Она выпила и, вместо благодарности, приподняла с головы свой берет. «Вот это — видите?» И показала всем свой шрам повыше уха. А потом торжественно помолчала — и снова протянула мне стакан: «Плесни еще, молодой человек, а не то упаду в обморок».

Я налил ей еще полстакана.

Она и это выпила, и снова как-то машинально. А выпив, настежь растворила свой рот и всем показала: «Видите — четырех зубов не хватает?» «Да где же зубы-то эти?» «А кто их знает, где они. Я женщина грамотная, а вот хожу без зубов. Он мне их выбил за Пушкина. А я слышу — у вас тут такой литературный разговор, дай, думаю, и я к ним присяду, выпью и заодно расскажу, как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре передних зуба...»

И она принялась рассказывать, и чудовищен был стиль ее рассказа...

— Все с Пушкина и началось. К нам прислали комсорга Евтюшкина, он все щипался и читал стихи, а раз как-то ухватил меня за икры и спрашивает: «Мой чудный взгляд тебя томил?» Я говорю: «Ну, допустим, томил...» А он опять за икры: «В душе мой голос раздавался?» А я визжу и говорю: «Ну, конечно, раздавался». Тут он схватил меня в охапку и куда-то поволок. А когда уже выволок — я ходила все дни сама не своя, все твердила: «Пушкин-Евтюшкин-томил-раздавался». «Раздавался-томил-Евтюшкин-Пушкин». А потом опять: «Пушкин-Евтюшкин»... — Ты ближе к делу, ближе к передним зубам, — оборвал ее черноусый. — Сейчас, сейчас будут и зубы! Будут вам и зубы!.. Что же дальше?.. Да, с этого дня все шло хорошо, целых полгода я с ним на сеновале Бога гневила, все шло хорошо! А потом этот Пушкин опять все напортил!.. Я ведь как Жанна д'Арк. Та тоже — нет, чтобы коров пасти и жать хлеба — так она села на лошадь и поскакала в Орлеан, на свою попу приключений искать. Вот так и я — как немножко напьюсь,

так сразу к нему подступаю: «А кто за тебя детишек будет воспитывать? Пушкин, что ли?» А он огрызается: «Да каких там еще детишек? Ведь детишек-то нет! При чем же тут Пушкин!» А я ему на это: «Когда они будут, детишки, поздно будет Пушкина вспоминать!» И так всякий раз — стоило мне немного напиться. «Кто за тебя, — говорю, — детишек?.. Пушкин, что ли?» А он — прямо весь бесится. «Уйди, Дарья, — кричит, — уйди! Перестань высекать огонь из души человека!» Я его ненавидела в эти минуты, так ненавидела, что в глазах у меня голова кружилась. А потом — все-таки ничего, опять любила, так любила, что по ночам просыпалась от этого... И вот как-то однажды я уж совсем перепилась. Подлетаю я к нему и ору: «Пушкин, что ли, за тебя детишек воспитывать будет? А? Пушкин?» Он, как услышал о Пушкине, весь почернел и затрясся: «Пей, напивайся, но Пушкина не трогай! детишек — не трогай! Пей все, пей мою кровь, но Господа Бога твоего не искушай!» А я в это время на больничном сидела, сотрясение мозгов и заворот кишок, а на юге в это время осень была, и я ему вот что тогда заорала: «Уходи от меня, душегуб, совсем уходи! Обойдусь! Месяцок поблядую и под поезд брошусь! А потом пойду в монастырь и схиму приму! Ты придешь прощенья ко мне просить, а я выйду во всем черном, обаятельная такая, и тебе всю морду исцарапаю, собственным своим кукишем! Уходи!!» А потом кричу: «Ты хоть душу-то любишь во мне? Душу — любишь?» А он все трясется и чернеет: «Сердцем, — орет, — сердцем — да, сердцем люблю твою душу, но душою — нет, не люблю!!» И как-то дико, по-оперному, рассмеялся, схватил меня, проломил мне череп и уехал во Владимир-на-Клязьме. Зачем уехал? К кому уехал? Мое недоуме-

ние разделяла вся Европа. А бабушка моя, глухонемая, с печки мне говорит: «Вот видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего «я»!»

Да! А через месяц он вернулся! А я в это время пьяная была в дым, я как увидела его, упала на стол, засмеялась, засучила ногами: «Ага! — закричала. — Умотал во Владимир-на-Клязьме! а кто за тебя детишек...» А он — не говоря ни слова — подошел, выбил мне четыре передних зуба и уехал в Ростов-на-Дону, по путевке комсомола...

— Дело к обмороку, малый. Налей-ка еще чуток...

Все давились от смеха. Всех доконала, главное, эта глухонемая бабушка.

— А где же он теперь, твой Евтюшкин?..

— А кто его знает где? Или в Сибири, или в Средней Азии. Если он приехал в Ростов и все еще живой, значит он где-нибудь в Средней Азии. А если до Ростова не доехал и умер, значит в Сибири...

— Верно говоришь, — поддержал я ее. — В Средней Азии не умрешь, в Средней Азии можно прожить. Сам я там не был, а вот мой друг Тихонов — был. Он говорит: идешь, идешь, видишь — кишлак, а в нем кизяками печку топят, и выпить ничего нет, но жратвы зато много: акыны, саксаул... Так он там и питался почти полгода: акынами и саксаулом. И ничего — приехал рыхлый и глаза навыкате...

— А в Сибири?..

— А в Сибири — нет, в Сибири не проживешь. В Сибири вообще никто не живет, одни только негры живут. Продуктов им туда не завозят, выпить им нечего, не говоря уж «поесть». Только один раз в год им привозят из Житомира вышитые полотенца — и негры на них вешаются...

— Да что еще за негры? — встрепенулся декабрист, чуть было задремавший. Какие в Сибири негры! Негры в Штатах живут, а не в Сибири! Вы, допустим, в Сибири были. А в Штатах вы были?..

— Был в Штатах! И не видел там никаких негров!

— Никаких негров? В Штатах?..

— Да! В Штатах! Ни единого негра!..

Все как-то уже настолько одурели, и столько было тумана в каждой голове, что ни для какого недоумения уже не хватало места. Женщину сложной судьбы, со шрамом и без зубов, — все разом и немедленно забыли. И сама она как-то забылась, и все остальные — забылись; один только юный Митрич, чтоб в присутствии дамы показаться хватом, то и дело сплевывал какой-то мочой поперек затылка...

— Значит, вы были в Штатах, — мямлил черноусый, — это очень и очень чрезвычайно! Негров там нет и никогда не было, это я допускаю... я вам верю, как родному... Но — скажите: свободы там тоже не было и нет?.. свобода так и остается призраком на этом континенте скорби? скажите...

— Да, — отвечал я ему, — свобода так и остается призраком на этом континенте скорби, и они так к этому привыкли, что почти не замечают. Вы только подумайте! У них — я много ходил и вглядывался, — у них ни в одной гримасе, ни в жесте, ни в реплике нет ни малейшей неловкости, к которой мы так привыкли. На каждой роже изображается в минуту столько достоинства, что хватило бы всем нам на всю нашу великую семилетку. «Отчего бы это? — думал я и сворачивал с Манхеттена на 5-ю авеню и сам себе отвечал: — От их паскудного самодовольства, и больше ниотчего. Но откуда берется само-

довольство??» Я застывал посреди авеню, чтобы разрешить мысль: «В мире пропагандных фикций и рекламных вывертов — откуда столько самодовольства?» Я шел в Гарлем и пожимал плечами: «Откуда? Игрушки идеологов монополий, марионетки пушечных королей — откуда у них такой аппетит? Жрут по пять раз на день, и очень плотно, и все с тем же бесконечным достоинством — а разве вообще может быть аппетит у хорошего человека, а тем более в Штатах!..»

— Да, да, да, — кивал головою старый Митрич, — они там кушают, а мы почти уже и не кушаем... весь рис увозим в Китай, весь сахар увозим на Кубу... а сами что будем кушать?..

— Ничего, папаша, ничего!.. Ты уже свое откушал, грех тебе говорить. Если будешь в Штатах — помни главное: не забывай старушку-Родину и доброту ее не забывай. Максим Горький не только о бабах писал, он писал и о Родине. Ты помнишь, что он писал?..

— Как же... помню... — и все выпитое выливалось у него из синих глаз, — помню... «мы с бабушкой уходили все дальше в лес...»

— Да разве ж это про Ро́дину, Митрич! — осоловело сердился черноусый. — Это про бабушку, а совсем не про Родину!..

И Митрич снова заплакал...

Назарьево — Дрезна

А черноусый сказал:

— Вот вы много повидали, много поездили. Скажите: где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев?

— Не знаю, как по ту. А по эту — совсем не ценят. Я, например, был в Италии, там на русского человека никакого внимания. Они только поют и рисуют. Один, допустим, стоит и поет. А другой рядом с ним сидит и рисует того, кто поет. А третий — поодаль — поет про того, кто рисует... И так от этого грустно! А они нашей грусти — не понимают...

— Да ведь итальянцы! — разве они что-нибудь понимают! — поддержал черноусый.

— Именно. Когда я был в Венеции, в день святого Марка, — захотелось мне посмотреть на гребные гонки. И так мне грустно было от этих гонок! Сердце исходило слезами, но немотствовали уста. А итальянцы не понимают, смеются, пальцами на меня показывают: «Смотрите-ка, Ерофеев опять ходит, как поебанный!» Да разве ж я как поебанный! Просто — немотствуют уста...

Да мне в Италии, собственно, ничего и не надо было. Мне только три вещи хотелось там посмотреть: Везувий, Геркуланум и Помпею. Но мне сказали, что Везувия давно уже нет, и послали в Геркуланум. А в Геркулануме мне сказали: «Ну зачем тебе, дураку, Геркуланум? Иди-ка ты лучше в Помпею». Прихожу в Помпею, а мне говорят: «Далась тебе эта Помпея! Ступай в Геркуланум!..»

Махнул я рукой и подался во Францию. Иду, иду, подхожу уже к линии Мажино, и вдруг вспомнил: дай, думаю, вернусь, поживу немного у Луиджи Лонго, койку у него сниму, книжки буду читать, чтобы зря не мотаться. Лучше б, конечно, у Пальмиро Тольятти койку снять, но он ведь недавно умер... А чем хуже Луиджи Лонго?..

А все-таки обратно не пошел. А пошел через Тироль в сторону Сорбонны. Прихожу в Сорбонну и говорю: хочу учиться на бакалавра. А меня спрашивают: «Если

ты хочешь учиться на бакалавра — тебе должно быть что-нибудь присуще как феномену. А что тебе как феномену присуще?» Ну, что им ответить? Я говорю: «Ну что мне как феномену может быть присуще? Я ведь сирота». «Из Сибири?» — спрашивают. Говорю: «Из Сибири». «Ну, раз из Сибири, в таком случае хоть психике твоей да ведь должно быть что-нибудь присуще. А психике твоей — что присуще?» Я подумал: это все-таки не Храпуново, а Сорбонна, надо сказать что-нибудь умное. Подумал и сказал: «Мне как феномену присущ самовозрастающий Логос». А ректор Сорбонны, пока я думал про умное, тихо подкрался ко мне сзади, да как хряснет меня по шее: «Дурак ты, — говорит, — а никакой не Логос! Вон, — кричит, — вон Ерофеева из нашей Сорбонны!» В первый раз я тогда пожалел, что не остался жить на квартире у товарища Луиджи Лонго...

Что ж мне оставалось делать, как не идти в Париж? Прихожу. Иду в сторону Нотр-Дама, иду и удивляюсь: кругом одни бардаки. Стоит только Эйфелева башня, а на ней генерал де Голль, ест каштаны и смотрит в бинокль во все четыре стороны. А какой смысл смотреть, если во всех четырех сторонах одни бардаки!..

По бульварам ходить, положим, там нет никакой возможности. Все снуют — из бардака в клинику, из клиники опять в бардак. И кругом столько трипперу, что дышать трудно. Я как-то выпил и пошел по Елисейским Полям — а кругом столько трипперу, что ноги передвигаешь с трудом. Вижу: двое знакомых — она и он, оба жуют каштаны и оба старцы. Где я их видел? в газетах? не помню; короче, узнал: это Луи Арагон и Эльза Триоле. «Интересно, — прошмыгнула мысль у меня, — откуда они идут: из клиники в бардак или из бардака в

клинику?» И сам же себя обрезал: «Стыдись. Ты в Париже, а не в Храпунове. Задай им лучше социальные вопросы, самые мучительные социальные вопросы...»

Догоняю Луи Арагона и говорю ему, открываю сердце, говорю, что я отчаялся во всем, но что нет у меня ни в чем никакого сомнения, и что я умираю от внутренних противоречий, и много еще чего — а он только на меня взглянул, козырнул мне, как старый ветеран, взял свою Эльзу под ручку и дальше пошел. Я опять их догоняю и теперь уже говорю не Луи, а Триоле: говорю, что умираю от недостатка впечатлений, и что меня одолевают сомнения именно тогда, когда я перестаю отчаиваться, тогда как в минуты отчаяния я сомнений не знал... — а она, как старая блядь, потрепала меня по щеке, взяла под ручку своего Арагона и дальше пошла...

Потом я, конечно, узнал из печати, что это были совсем не те люди, это были, оказывается, Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, ну да какая мне теперь разница? Я пошел на Нотр-Дам и снял там мансарду. Мансарда, мезонин, флигель, антресоли, чердак — я все это путаю и разницы никакой не вижу. Короче, я снял то, на чем можно лежать, писать и трубку курить. Выкурил я двенадцать трубок — и отослал в «Ревю де Пари» свое эссе под французским названием «Шик и блеск иммер элегант». Эссе по вопросам любви.

А вы сами знаете, как тяжело во Франции писать о любви. Потому что все, что касается любви, во Франции уже давно написано. Там о любви знают все, а у нас ничего не знают о любви. Покажи нашему человеку со средним образованием, покажи ему твердый шанкр и спроси: «Какой это шанкр, твердый или мягкий?» — он обязательно брякнет: «Мягкий, конечно». А покажи ему

мягкий — так он и совсем растеряется. А там — нет. Там, может быть, не знают, сколько стоит зверобой, но уж если шанкр мягкий, так он для каждого будет мягок, и твердым его никто не назовет...

Короче, «Ревю де Пари» вернул мне эссе под тем предлогом, что оно написано по-русски, что французский один только заголовок. Что ж вы думаете? — я отчаялся? Я выкурил на антресолях еще тринадцать трубок — и создал новое эссе, тоже посвященное любви. На этот раз оно все, от начала до конца, было написано по-французски, русским был только заголовок: «Стервозность как высшая и последняя стадия блядовитости». И отослал в «Ревю де Пари»...

— И вам опять его вернули? — спросил черноусый, в знак участия рассказчику и как бы сквозь сон...

— Разумеется, вернули. Язык мой признали блестящим, а основную идею — ложной. К русским условиям, — сказали, — возможно, это и применимо, но к французским — нет; стервозность, сказали, у нас еще не высшая ступень и уж далеко не последняя; у вас, у русских, ваша блядовитость, достигнув предела стервозности, будет насильственно упразднена и заменена онанизмом по обязательной программе; у нас же, у французов, хотя и не исключено в будущем органическое врастание некоторых элементов русского онанизма, с программой более произвольной, в нашу отечественную содомию, в которую — через кровосмесительство — трансформируется наша стервозность, но врастание это будет протекать в русле нашей традиционной блядовитости и совершенно перманентно!..

Короче, они совсем засрали мне мозги. Так что я плюнул, сжег свои рукописи вместе с мансардой и ант-

ресолями — и через Верден попер к Ламаншу. Я шел к Альбиону. Я шел и думал: «Почему я все-таки не остался жить на квартире Луиджи Лонго?» Я шел и пел: «Королева Британии тяжко больна, дни и ночи ее сочтены...» А в окрестностях Лондона...

— Позвольте, — прервал меня черноусый, — меня поражает ваш размах, нет, я верю вам как родному, меня поражает та легкость, с какой вы преодолевали все государственные границы...

Дрезна — 85-й километр

— Да что же тут такого поразительного! И какие еще границы?! Граница нужна для того, чтобы не перепутать нации. У нас, например, стоит пограничник и твердо знает, что граница — это не фикция и не эмблема, потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую — меньше пьют и говорят на нерусском...

А там? Какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и все говорят не по-русски? Там, может быть, и рады куда-нибудь поставить пограничника, да просто некуда поставить. Вот и шляются там пограничники без всякого дела, тоскуют и просят прикурить... Так что там на этот счет совершенно свободно... Хочешь ты, например, остановиться в Эболи — пожалуйста, останавливайся в Эболи. Хочешь идти в Каноссу — никто тебе не мешает, иди в Каноссу. Хочешь перейти Рубикон — переходи...

Так что ничего удивительного... В двенадцать ноль-ноль по Гринвичу я уже был представлен директору Британского музея, фамилия у него какая-то звучная и дурацкая, вроде сэр Комби Корм: «Чего вы от нас хоти-

те?» — спросил директор Британского музея. «Я хочу у вас ангажироваться. Вернее, чтобы вы меня ангажировали, вот чего я хочу...»

«Это в таких-то штанах чтобы я вас стал ангажировать?» — сказал директор Британского музея. «Это в каких же таких штанах?» — переспросил я его со скрытой досадой. А он, как будто не расслышал, стал передо мной на карачки и принялся обнюхивать мои носки. Обнюхав, встал, поморщился, сплюнул, а потом спросил: «Это в таких-то носках чтобы я вас ангажировал?»

— В каких же это носках?! — заговорил я, уже досады и не скрывая. — В каких же это носках?! Вот те носки, которые я таскал на Родине, те действительно пахли, да. Но я перед отъездом их сменил, потому что в человеке все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и...

А он не захотел и слушать. Пошел в палату лордов и сказал: «Лорды! вот тут у меня за дверью стоит один подонок. Он из снежной России, но вроде не очень пьяный. Что мне с ним делать, с этим горемыкой? Ангажировать это чучело? или не давать этому пугалу никакого ангажемента?» А лорды рассмотрели меня в монокли и говорят: «А ты попробуй, Уильям! попробуй, выставь его для обозрения! этот пыльный мудак впишется в любой интерьер!» Тут слово взяла королева Британии. Она подняла руку и крикнула:

— Контролеры! Контролеры!.. — загремело по всему вагону, загремело и взорвалось: «Контролеры!!..»

Мой рассказ оборвался в пикантнейшем месте. Но не только рассказ оборвался: и пьяная полудремота черноусого, и сон декабриста, — все было прервано на полпути. Старый Митрич очнулся весь в слезах, а молодой ослепил всех свистящей зевотой, переходящей в смех и дефека-

цию. Одна только женщина сложной судьбы, прикрыв беретом выбитые зубы, спала как фатаморгана...

Собственно говоря, на петушинской ветке контролеров никто не боится, потому что все без билета. Если какой-нибудь отщепенец спьяну и купит билет, так ему, конечно, неудобно, когда идут контролеры: когда к нему подходят за билетом, он не смотрит ни на кого — ни на ревизора, ни на публику, как будто хочет провалиться сквозь землю. А ревизор рассматривает его билет как-то брезгливо, а на него самого глядит изничтожающе, как на гадину. А публика — публика смотрит на «зайца» большими, красивыми глазами, как бы говоря: глаза опустил, мудозвон! совесть заела, жидовская морда! А в глаза ревизору глядят еще решительней: вот мы какие — и можешь ли ты осудить нас? Подходи к нам, Семеныч, мы тебя не обидим...

До того, как Семеныч стал старшим ревизором, все выглядело иначе: в те дни безбилетников, как индусов, сгоняли в резервации и лупили по головам Ефроном и Брокгаузом, а потом штрафовали и выплескивали из вагона. В те дни, смываясь от контроля, они бежали сквозь вагоны паническими стадами, увлекая за собой даже тех, кто с билетом. Однажды, на моих глазах, два маленьких мальчика, поддавшись всеобщей панике, побежали вместе со стадом и были насмерть раздавлены — так и остались лежать в проходе, в посиневших руках сжимая свои билеты...

Старший ревизор Семеныч все изменил: он упразднил всякие штрафы и резервации. Он делал проще: он брал с безбилетника по грамму за километр. По всей России шоферня берет с «грачей» за километр по копейке, а Семеныч брал в полтора раза дешевле: по грамму за

километр. Если, например, ты едешь из Чухлинки в Усад, расстояние девяносто километров, ты наливаешь Семенычу девяносто грамм и дальше едешь совершенно спокойно, развалясь на лавочке, как негоциант...

Итак, нововведение Семеныча укрепляло связь ревизора с широкою массою, удешевляло эту связь, упрощало и гуманизировало... И в том всеобщем трепете, который вызывает крик «Контролеры!!» — нет никакого страха. В этом трепете одно лишь предвосхищение...

Семеныч вошел в вагон, плотоядно улыбаясь. Он уже едва держался на ногах, он доезжал обычно только до Орехово-Зуева, а в Орехово-Зуеве выскакивал и шел в свою контору, набравшись до блевотины...

— Это ты опять, Митрич? Опять в Орехово? кататься на карусели? с вас обоих сто восемьдесят. А это ты, черноусый? Салтыковская — Орехово-Зуево? Семьдесят два грамма. Разбудите эту блядь и спросите, сколько с нее причитается. А ты, коверкот, куда и откуда? Серп и Молот — Покров? Сто пять, будьте любезны. Все меньше становится «зайцев». Когда-то это вызывало «гнев и возмущение», теперь же вызывает «законную гордость»... А ты, Веня?..

И Семеныч всего меня кровожадно обдал перегаром:

— А ты, Веня? Как всегда: Москва — Петушки?..

85-й километр — Орехово-Зуево

— Да. Как всегда. И теперь уже навечно: Москва — Петушки...

— И ты думаешь, Ше-хе-ре-зада, что ты и на этот раз от меня отвертишься?!

Тут я должен сделать маленькое отступленьице, и пока Семеныч пьет положенную ему штрафную дозу, я

поскорее вам объясню, почему «Шехерезада» и что значит «отвертишься»?

Прошло уже три года, как я впервые столкнулся с Семенычем. Тогда он только еще заступил на должность. Он подошел ко мне и спросил: «Москва — Петушки? Сто двадцать пять». И когда я не понял в чем дело, он объяснил мне в чем дело. И когда я сказал, что у меня с собой ни грамма нет, он мне сказал на это: «Так что же? бить тебе морду, если у тебя с собой ни грамма нет?» Я ответил ему, что бить не надо, и промямлил что-то из области римского права. Он страшно заинтересовался и попросил меня рассказать подробнее обо всем античном и римском. Я стал рассказывать, и дошел уже до скандальной истории с Лукрецией и Тарквинием, но тут ему надо было выскакивать в Орехово-Зуеве, и он так и не успел дослушать, что же все-таки случилось с Лукрецией: достиг своего шалопай Тарквиний или не достиг?..

А Семеныч, между нами говоря, редчайший бабник и утопист, история мира привлекала его единственно лишь альковной своей стороною. И когда через неделю в районе Фрязева снова нагрянули контролеры, Семеныч уже не сказал мне: «Москва — Петушки? Сто двадцать пять». Нет, он кинулся ко мне за продолжением: «Ну, как? Уебал он все-таки эту Лукрецию?»

И я рассказал ему, что было дальше. Я от римской истории перешел к христианской и дошел уже до истории с Гипатией. Я ему говорил: «И вот, по наущению патриарха Кирилла, одержимые фанатизмом монахи Александрии сорвали одежды с прекрасной Гипатии и...» Но тут наш поезд, как вкопанный, остановился в Орехово-Зуеве, и Семеныч выскочил на перрон, вконец заинтригованный...

И так продолжалось три года, каждую неделю. На линии «Москва — Петушки» я был единственным безбилетником, кто ни разу еще не подносил Семенычу ни единого грамма и тем не менее оставался в живых и непобитых. Но всякая история имеет конец, и мировая история — тоже...

В прошлую пятницу я дошел до Индиры Ганди, Моше Даяна и Дубчека. Дальше этого идти было некуда...

И вот — Семеныч выпил свою штрафную, крякнул и посмотрел на меня, как удав и султан Шахриар:

— Москва — Петушки? Сто двадцать пять.

— Семеныч! — отвечал я, почти умоляюще. — Семеныч! Ты выпил сегодня много?..

— Прилично, — отвечал мне Семеныч не без самодовольства. Он пьян был в дымину...

— А значит: есть в тебе воображение? Значит: устремиться в будущее тебе по силам? Значит: ты м о ж е ш ь вместе со мной перенестись из мира темного прошлого в век золотой, который «ей-ей, грядет»?..

— Могу, Веня, могу! сегодня я все могу!..

— От третьего рейха, четвертого позвонка, пятой республики и семнадцатого съезда — можешь ли шагнуть, вместе со мной, в мир вожделенного всем иудеям пятого царства, седьмого неба и второго пришествия?..

— Могу! — рокотал Семеныч. — Говори, говори, Шехерезада!

— Так слушай. То будет день, «избраннейший из всех дней». В тот день истомившийся Симеон скажет наконец: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко...» И скажет архангел Гавриил: «Богородице Дево, радуйся, благословенна ты между женами». И доктор Фауст

проговорит: «Вот — мгновенье! Продлись и постой». И все, чье имя вписано в книгу жизни, запоют «Исайя, ликуй!» И Диоген погасит свой фонарь. И будет добро и красота, и все будет хорошо, и все будут хорошие, и кроме добра и красоты ничего не будет, и сольются в поцелуе...

— Сольются в поцелуе?.. — заерзал Семеныч, уже в нетерпении...

— Да! И сольются в поцелуе мучитель и жертва; и злоба, и помысел, и расчет покинут сердца, и женщина...

— Женщина!! — затрепетал Семеныч. — Что? что женщина?!!!..

— И женщина Востока сбросит с себя паранджу! окончательно сбросит с себя паранджу угнетенная женщина Востока! И возляжет...

— Возляжет?!! — тут уж он задергался. — Возляжет?!!

— Да. И возляжет волк рядом с агнцем, и ни одна слеза не прольется, и кавалеры выберут себе барышень, кому какая нравится! И...

— О-о-о-о! — застонал Семеныч. — Скоро ли сие? Скоро ли будет?.. — и вдруг, как гитана, заломил свои руки, а потом суетливо, путаясь в одежде, стал снимать с себя и мундир, и форменные брюки, и все, до самой нижней своей интимности...

Я, как ни был я пьян, поглядел на него с изумлением. А публика, трезвая публика, почти повскакала с мест, и в десятках глаз ее было написано громадное «о г о»! Она, эта публика, все поняла не так, как надо было б понять...

А надо вам заметить, что гомосексуализм в нашей стране изжит хоть и окончательно, но не целиком. Вер-

нее, целиком, но не полностью. А вернее даже так: целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один только гомосексуализм. Ну, еще арабы на уме, Израиль, Голанские высоты, Моше Даян. Ну, а если прогнать Моше Даяна с Голанских высот, а арабов с иудеями примирить? — что тогда останется в головах людей? Один только чистый гомосексуализм.

Допустим, смотрят они телевизор: генерал де Голль и Жорж Помпиду встречаются на дипломатическом приеме. Естественно, оба они улыбаются и руки друг другу жмут. А уж публика: «Ого! — говорит. — Ай да генерал де Голль!» Или: «Ого! Ай да Жорж Помпиду!»

Вот так они и на нас смотрели теперь. У каждого в круглых глазах было написано это «Ого!»

— Семеныч! Семеныч! — я обхватил его и потащил на площадку вагона. — На нас же смотрят!.. Опомнись!.. Пойдем отсюда, Семеныч, пойдем!..

Он был чудовищно тяжел. Он был размягчен и зыбок. Я едва дотащил его до тамбура и поставил у входных дверей...

— Веня! Скажи мне... женщина Востока... если снимет с себя паранджу... на ней что-нибудь останется?.. Что-нибудь есть у нее под паранджой?..

Я не успел ответить. Поезд, как вкопанный, остановился на станции Орехово-Зуево, и дверь автоматически растворилась...

Орехово-Зуево

Старшего ревизора Семеныча, заинтригованного в тысячу первый раз, полуживого, расстегнутого — вынесло на перрон и ударило головой о перила... Мгнове-

ния два или три он еще постоял, колеблясь, как мыслящий тростник, а потом уже рухнул под ноги выходящей публике, и все штрафы за безбилетный проезд хлынули у него из чрева, растекаясь по перрону...

Все это я видел совершенно отчетливо, и свидетельствую об этом миру. Но вот всего остального — я уже не видел, и ни о чем не могу свидетельствовать. Краешком сознания, самым-самым краешком, я запомнил, как выходящая в Орехове лавина публики запуталась во мне и вбирала меня, чтобы накопить меня в себе, как паршивую слюну, — и выплюнуть на ореховский перрон. Но плевок все не получался, потому что входящая в вагон публика затыкала рот выходящей. Я мотался, как говно в проруби.

И если т а м Господь меня спросит: «Неужели, Веня, ты больше не помнишь ничего? Неужели ты сразу погрузился в тот сон, с которого начались все твои бедствия?..» — я скажу ему: «Нет, Господь, не сразу...» Краешком сознания, все тем же самым краешком, я еще запомнил, что сумел, наконец, совладать со стихиями и вырваться в пустые пространства вагона и опрокинуться на чью-то лавочку, первую от дверей...

А когда я опрокинулся, Господь, я сразу отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты — о нет! Я лгу опять! я снова лгу перед лицом Твоим, Господь! это лгу не я, это лжет моя ослабевшая память! — я не сразу отдался потоку, я нащупал в кармане непочатую бутылку кубанской и глотнул из нее раз пять или шесть, — а уж потом, сложа весла, отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты...

«Все ваши выдумки о веке златом, — твердил я, — все — ложь и уныние. Но я-то, двенадцать недель тому

назад, видел его прообраз, и через полчаса сверкнет мне в глаза его отблеск — в тринадцатый раз. Там птичье пение не молкнет ни ночью, ни днем, там ни зимой, ни летом не отцветает жасмин, — а *что* там в жасмине? *Кто* там, облаченный в пурпур и крученый виссон, смежил ресницы и обоняет лилии?..»

И я улыбаюсь, как идиот, и раздвигаю кусты жасмина...

Орехово-Зуево — Крутое

...А из кустов жасмина выходит заспанный Тихонов и щурится, от меня и от солнца.

— Что ты здесь делаешь, Тихонов?

— Я отрабатываю тезисы. Все давно готово к выступлению, кроме тезисов. А вот теперь и тезисы готовы...

— Значит, ты считаешь, что ситуация назрела?

— А кто ее знает? Я, как немножко выпью, мне кажется, что назрела; а как начинает хмель проходить — нет, думаю, еще не назрела, рано еще браться за оружие...

— А ты выпей можжевеловой, Вадя...

Тихонов выпил можжевеловой, крякнул и загрустил.

— Ну как? Назрела ситуация?

— Погоди, сейчас назреет...

— Когда же выступать? Завтра?

— А кто его знает! Я, как выпью немножко, мне кажется, что хоть сегодня выступай, что и вчера было не рано выступать. А как начинает проходить — нет, думаю, и вчера было рано, и послезавтра не поздно.

— А ты выпей еще, Вадимчик, выпей еще можжевеловой...

Вадимчик выпил и опять загрустил.

— Ну, как? Ты считаешь: пора?..

— Пора...

— Не забывай пароль. И всем скажи, чтоб не забывали: завтра утром, между деревней Тартино и деревней Елисейково, у скотного двора, в девять ноль-ноль по Гринвичу...

— Да. В девять ноль-ноль по Гринвичу.

— До свидания, товарищ. Постарайся уснуть в эту ночь...

— Постараюсь, усну, до свидания, товарищ...

Тут я сразу должен оговориться, перед лицом совести всего человечества я должен сказать: я с самого начала был противником этой авантюры, бесплодной, как смоковница. (Прекрасно сказано: «бесплодной, как смоковница».) Я с самого начала говорил, что революция достигает чего-нибудь нужного, если совершается в сердцах, а не на стогнах. Но уж раз начали без меня — я не мог быть в стороне от тех, кто начал. Я мог бы, во всяком случае, предотвратить излишнее ожесточение сердец и ослабить кровопролитие...

В девятом часу по Гринвичу, в траве у скотного двора, мы сидели и ждали. Каждому, кто подходил, мы говорили: «Садись, товарищ, с нами — в ногах правды нет», и каждый оставался стоять, бряцал оружием и повторял условную фразу из Антонио Сальери: «Но правды нет и выше». Шаловлив был этот пароль и двусмыслен, но нам было не до этого: приближалось девять ноль-ноль по Гринвичу...

С чего все началось? Все началось с того, что Тихонов прибил к воротам елисейковского сельсовета свои четырнадцать тезисов. Вернее, не прибил к воротам, а на-

писал на заборе мелом, и это скорее были слова, а не тезисы, четкие и лапидарные слова, а не тезисы, и было их всего два, а не четырнадцать, — но, как бы то ни было, с этого все началось.

Двумя колоннами, со штандартами в руках, мы вышли — колонна на Елисейково, другая — на Тартино. И шли беспрепятственно, вплоть до заката: убитых не было ни с одной стороны, раненых тоже не было, пленный был только один — бывший председатель ларионовского сельсовета, на склоне лет разжалованный за пьянку и врожденное слабоумие. Елисейково было повержено. Черкасово валялось у нас в ногах, Неугодово и Пекша молили о пощаде. Все жизненные центры петушинского уезда — от магазина в Поломах до андреевского склада сельпо, — все заняты были силами восставших...

А после захода солнца — деревня Черкасово была провозглашена столицей, туда был доставлен пленный, и там же сымпровизировали съезд победителей. Все выступавшие были в лоскут пьяны, все мололи одно и то же: Максимилиан Робеспьер, Оливер Кромвель, Соня Перовская, Вера Засулич, карательные отряды из Петушков, война с Норвегией, и опять Соня Перовская и Вера Засулич...

С места кричали: «А где это такая — Норвегия?..» «А кто ее знает, где! — отвечали с другого места. — У черта на куличках, у бороды на клине!» «Да где бы она ни была, — унимал я шум, — без интервенции нам не обойтись. Чтобы восстановить хозяйство, разрушенное войной, надо сначала его разрушить, а для этого нужна гражданская или хоть какая-нибудь война, нужно как минимум двенадцать фронтов...» «Белополяки нужны!» — кричал закосевший Тихонов. «О, идиот, — пре-

рывал я его, — вечно ты ляпнешь! Ты блестящий теоретик, Вадим, твои тезисы мы прибили к нашим сердцам, — но как доходит до дела, ты говно говном! Ну, зачем тебе, дураку, белополяки?..» «Да разве я спорю! — сдавался Тихонов. — Как будто они мне больше нужны, чем вам! Норвегия так Норвегия...»

Впопыхах и в азарте все как-то забыли, что та уже двадцать лет состоит в НАТО, и Владик Ц-ский уже бежал на ларионовский почтамт, с пачкой открыток и писем. Одно письмо было адресовано королю Норвегии Улафу, с объявлением войны и уведомлением о вручении. Другое письмо — вернее, даже не письмо, а чистый лист, запечатанный в конверте, — было отправлено генералу Франко: пусть он увидит в этом грозящий перст, старая шпала, пусть побелеет, как этот лист, одряхлевший разъебай-каудильо!.. От премьера Британской империи Гарольда Вильсона мы потребовали совсем немного: убери, премьер, свою дурацкую канонерку из залива Акаба, а дальше поступай по произволению... И, наконец, четвертое письмо — Владиславу Гомулке, мы писали ему: ты, Владислав Гомулка, имеешь полное и неотъемлемое право на Польский коридор, а вот Юзеф Циранкевич не имеет на Польский коридор ни малейшего права...

И послали четыре открытки: Аббе Эбану, Моше Даяну, генералу Сухарто и Александру Дубчеку. Все четыре открытки были очень красивые, с виньеточками и желудями. Пусть, мол, порадуются ребята, может они нас, губошлепы, признают за это субъектами международного права...

Никто в эту ночь не спал. Всех захватил энтузиазм, все глядели в небо, ждали норвежских бомб, открытия

магазинов и интервенции и воображали себе, как будет рад Владислав Гомулка и как будет рвать на себе волосы Юзеф Циранкевич...

Не спал и пленный, бывший предсельсовета Анатолий Иваныч, он выл из своего сарая, как тоскующий пес:

— Ребята!.. Значит, завтра утром никто мне и выпить не поднесет?..

— Эва, чего захотел! Скажи хоть спасибо, что будем кормить тебя в соответствии с Женевской конвенцией!..

— А чего это такое?..

— Узнаешь, чего это такое! То есть, ноги еще будешь таскать, Иваныч, а уж на блядки не потянет!..

Крутое — Воиново

А с утра, еще до открытия магазинов, состоялся Пленум. Он был расширенным и октябрьским. Но поскольку все четыре наших Пленума были октябрьскими и расширенными, то мы, чтоб их не перепутать, решили пронумеровать их: 1-й Пленум, 2-й Пленум, 3-й Пленум и 4-й Пленум...

Весь 1-й Пленум был посвящен избранию президента, то есть избранию меня в президенты. Это отняло у нас полторы-две минуты, не больше. А все оставшееся время поглощено было прениями на тему чисто умозрительную: кто раньше откроет магазин, тетя Маша в Андреевском или тетя Шура в Поломах?

А я, сидя в своем президиуме, слушал эти прения и мыслил так: прения совершенно необходимы, но гораздо необходимее декреты. Почему мы забываем то, чем должна увенчиваться всякая революция, то есть «декреты»? Например, такой декрет: обязать тетю Шуру в Поломах

открывать магазин в шесть утра. Кажется, чего бы проще? — нам, облеченным властью, взять и заставить тетю Шуру открывать свой магазин в шесть утра, а не в девять тридцать! Как это раньше не пришло мне в голову!..

Или, например, декрет о земле: передать народу всю землю уезда, со всеми угодьями и со всякой движимостью, со всеми спиртными напитками и без всякого выкупа. Или так: передвинуть стрелку часов на два часа вперед или на полтора часа назад, все равно, только бы куда передвинуть. Потом: слово «черт» надо принудить снова писать через «о», а какую-нибудь букву вообще упразднить, только надо подумать, какую. И, наконец, заставить тетю Машу в Андреевском открывать магазин в пять тридцать утра, а не в девять...

Мысли роились — так роились, что я затосковал, отозвал в кулуары Тихонова, мы с ним выпили тминной, и я сказал:

— Слушай-ка, канцлер!

— Ну, чего?..

— Да ничего. Говенный ты канцлер, вот чего.

— Найди другого, — обиделся Тихонов.

— Не об этом речь, Вадя. А речь вот о чем: если ты хороший канцлер, садись и пиши декреты. Выпей еще немножко, садись и пиши. Я слышал, ты все-таки не удержался, ты ущипнул за ляжку Анатоль Иваныча? Ты что же это? — открываешь террор?

— Да так... Немножко...

— И какой террор открываешь? Белый?

— Белый.

— Зря ты это, Вадя. Впрочем, ладно, сейчас не до этого. Надо вначале декрет написать, хоть один, хоть самый какой-нибудь гнусный... Бумага, чернила есть? Садись,

пиши. А потом выпьем — и декларацию прав. А уж только потом — террор. А уж потом выпьем и — учиться, учиться, учиться...

Тихонов написал два слова, выпил и вздохнул:

— Да-а-а... сплоховал я с этим террором... Ну, да ведь в нашем деле не ошибиться никак нельзя, потому что неслыханно ново все наше дело, и прецедентов считай что не было... Были, правда, прецеденты, но...

— Ну, разве это прецеденты! Это — так! чепуха! Полет шмеля это, забавы взрослых шалунов, а никакие не прецеденты!.. Летоисчисление — как думаешь? — сменим или оставим как есть?

— Да лучше оставим. Как говорится, не трогай дерьмо, так оно и пахнуть не будет...

— Верно говоришь, оставим. Ты у меня блестящий теоретик, Вадя, а это хорошо. Закрывать, что ли, Пленум? Тетя Шура в Поломах уже магазин открыла. У нее, говорят, есть российская.

— Закрывай, конечно. Завтра с утра все равно будет 2-й Пленум... Пойдем в Поломы.

У тети Шуры в Поломах в самом деле оказалась российская. В связи с этим, а также в ожидании карательных набегов из райцентра, решено было временно перенести столицу из Черкасова в Поломы, то есть на двенадцать верст вглубь территории республики.

И там, на другое утро, открыть 2-й Пленум, весь посвященный моей отставке с поста президента.

— Я встаю с президентского кресла, — сказал я в своем выступлении, — я плюю в президентское кресло. Я считаю, что пост президента должен занять человек, у которого харю с похмелья в три дня не уделаешь. А разве такие есть среди нас?

— Нет таких, — хором отвечали делегаты.

— Мою, например, харю — разве нельзя уделать в три дня и с похмелья?

Секунду-две все смотрели мне в лицо оценивающе, а потом отвечали хором: «Можно».

— Ну, так вот, — продолжал я. — Обойдемся без президента. Лучше сделаем вот как: все пойдем в луга готовить пунш, а Борю закроем на замок. Поскольку это человек высоких качеств, пусть он тут сидит и формирует кабинет...

Мою речь прервали овации, и Пленум прикрылся: окрестные луга озарились синим огнем. Один только я не разделял всеобщего оживления и веры в успех, я ходил меж огней с одною тревожною мыслью: почему это никому в мире нет до нас ни малейшего дела? Почему такое молчание в мире? Уезд охвачен пламенем, и мир молчит оттого, что затаил дыхание, — допустим. Но почему никто не подает нам руки ни с Востока, ни с Запада? Куда смотрит король Улаф? Почему нас не давят с юга регулярные части?..

Я тихо отвел в сторону канцлера, от него разило пуншем:

— Тебе нравится, Вадя, наша революция?

— Да, — ответил Вадя, — она лихорадочна, но она прекрасна.

— Так... А насчет Норвегии, Вадя, — насчет Норвегии ничего не слышно?

— Пока ничего... А что тебе Норвегия?

— Как то есть что Норвегия?!.. В состоянии войны мы с ней или не в состоянии? Очень глупо все получается. Мы с ней воюем, а она с нами не хочет... Если и завтра

нас не начнут бомбить, я снова сажусь в президентское кресло — и тогда увидишь, что будет!..

— Садись, — ответил Вадя, — кто тебе мешает, Ерофейчик?.. Если хочешь — садись...

Воиново — Усад

Ни одной бомбы на нас не упало и наутро. И тогда, открывая 3-й Пленум, я сказал:

«Сенаторы! Никто в мире, я вижу, не хочет с нами заводить ни дружбы, ни ссоры. Все отвернулись от нас и затаили дыхание. А поскольку каратели из Петушков подойдут сюда завтра к вечеру, а российская у тети Шуры кончится завтра утром, — я беру в свои руки всю полноту власти; то есть, кто дурак и не понимает, тому я объясню: я ввожу комендантский час. Мало того — полномочия президента я объявляю чрезвычайными, и заодно становлюсь президентом. То есть «личностью, стоящей над законом и пророками...»

Никто не возразил. Один только премьер Боря С. при слове «пророки» вздрогнул, дико на меня посмотрел, и все его верхние части задрожали от мщения...

Через два часа он испустил дух на руках у министра обороны. Он умер от тоски и от чрезмерной склонности к обобщениям. Других причин вроде бы не было, а вскрывать мы его не вскрывали, потому что вскрывать было бы противно. А к вечеру того же дня все телетайпы мира приняли сообщение. «Смерть наступила вследствие естественных причин». Чья смерть, сказано не было, но мир догадывался.

4-й Пленум был траурным.

Я выступил и сказал:

«Делегаты! Если у меня когда-нибудь будут дети, я повешу им на стену портрет прокуратора Иудеи Понтия Пилата, чтобы дети росли чистоплотными. Прокуратор Понтий Пилат стоит и умывает руки — вот какой это будет портрет. Точно так же и я: встаю и умываю руки. Я присоединился к вам просто с перепою и вопреки всякой очевидности. Я вам говорил, что надо революционизировать сердца, что надо возвышать души до усвоения вечных нравственных категорий, — а что все остальное, что вы тут затеяли, все это суета и томление духа, бесполезнеж и мудянка...

И на что нам рассчитывать, подумайте сами! В Общий рынок нас никто не пустит. Корабли Седьмого американского флота сюда не пройдут, да и пройти не захотят...»

Тут уже заорали с мест:

— А ты не отчаивайся, Веня! Не пукай! Нам дадут бомбардировщики! Б-52 нам дадут!

— Как же! дадут вам Б-52! Держите карман! Прямо смешно вас слушать, сенаторы!

— «Фантомы» дадут!

— Ха-ха! Кто это сказал: «Фантомы»? Еще одно слово о «Фантомах» — и я лопну от смеха...

Тут Тихонов со своего места сказал:

— «Фантомов» нам, может быть, и не дадут, — но уж девальвацию франка точно дадут...

— Дурак ты, Тихонов, как я погляжу! Я не спорю, ты ценный теоретик, но уж если ты ляпнешь!.. Да и не в этом дело. Почему, сенаторы, я вас спрашиваю, почему весь Петушинский район охвачен пламенем, но н и к т о, н и к т о этого не замечает, даже в Петушинском районе? Короче, я пожимаю плечами и ухожу с поста

президента. Я, как Понтий Пилат: умываю руки и допиваю перед вами весь наш остаток российской. Да. Я топчу ногами свои полномочия — и ухожу от вас. В Петушки.

Можете себе вообразить, какая буря поднялась среди делегатов, особенно когда я стал допивать остаток!..

А когда я стал уходить, когда ушел — какие слова полетели мне вслед! Тоже можете себе вообразить, я этих слов приводить вам не буду...

В моем сердце не было раскаяния. Я шел через луговины и пажити, через заросли шиповника и коровьи стада, мне в пояс кланялись хлеба и улыбались васильки. Но, повторяю, в сердце не было раскаяния... Закатилось солнце, а я все шел.

«Царица Небесная, как далеко еще до Петушков! — сказал я сам себе. — Иду, иду, а Петушков все нет и нет. Уже и темно повсюду — где же Петушки?»

«Где же Петушки?» — спросил я, подойдя к чьей-то освещенной веранде. Откуда она взялась, эта веранда? Может, это совсем не веранда, а терраса, мезонин или флигель? я ведь в этом ничего не понимаю, и вечно путаю.

Я постучался и спросил: «Где же Петушки? Далеко еще до Петушков?» А мне в ответ — все, кто был на веранде, — все расхохотались, и ничего не сказали. Я обиделся и снова постучал — ржание на веранде возобновилось. Странно! Мало того — кто-то ржал у меня за спиной.

Я оглянулся — пассажиры поезда «Москва — Петушки» сидели по своим местам и грязно улыбались. Вот как? Значит, я все еще еду?..

«Ничего, Ерофеев, ничего. Пусть смеются, не обращай внимания. Как сказал Саади, будь прям и прост,

как кипарис, и будь, как пальма, щедр. Не понимаю, при чем тут пальма, ну да ладно, все равно будь, как пальма. У тебя кубанская в кармане осталась? осталась. Ну вот, поди на площадку и выпей. Выпей, — чтобы не так тошнило».

Я вышел на площадку, сжатый со всех сторон кольцом дурацких ухмылок. Тревога поднималась с самого днища моей души, и невозможно было понять, что это за тревога, и откуда она, и почему она так невнятна...

— Мы подъезжаем к Усаду, да? — Народ толпился у дверей в ожидании выхода, и к ним-то я обращал свой вопрос: — Мы подъезжаем к Усаду?

— Ты, чем спьяну задавать глупые вопросы, лучше бы дома сидел, — отвечал какой-то старичок. — Дома бы лучше сидел и уроки готовил. Наверно, еще уроки к завтрему не приготовил, мама ругаться будет.

А потом добавил:

— От горшка два вершка, а уже рассуждать научился!..

Он что, очумел, этот дед? Какая мама? Какие уроки?.. От какого горшка?.. Да нет, наверно, не дед очумел, а я сам очумел. Потому что вот и другой старичок, с белым-белым лицом, стал около меня, снизу вверх посмотрел мне в глаза и сказал:

— Да и вообще: куда тебе ехать? Невеститься тебе уже поздно, на кладбище рано. Куда тебе ехать, милая странница?..

«Милая странница!!!?»

Я вздрогнул и отошел в другой конец тамбура. Что-то неладное в мире. Какая-то гниль во всем королевстве и у всех мозги набекрень. Я на всякий случай тихонько всего себя ощупал: какая же я после этого «милая странни-

ца»? С чего это он взял? Да и к чему? Можно, конечно, пошутить — но ведь не до такой же степени нелепо!

Я в своем уме, а они все не в своем — или наоборот: они все в своем, а я один не в своем? Тревога со дна души все подымалась и подымалась. И когда подъехали к остановке и дверь растворилась, я не удержался и спросил еще раз, у одного из выходящих, спросил:

— Это Усад, да?

А он (совсем неожиданно) вытянулся передо мной в струнку и рявкнул: «Никак нет!!» А потом — потом пожал мне руку, наклонился и на ухо сказал: «Я вашей доброты никогда не забуду, товарищ старший лейтенант!..»

И вышел из поезда, смахнув слезу рукавом.

Усад — 105-й километр

Я остался на площадке, в полном одиночестве и полном недоумении. Это было даже не совсем недоумение, это была все та же тревога, переходящая в горечь. В конце концов, черт с ним, пусть «милая странница», пусть «старший лейтенант», — но почему за окном темно, скажите мне, пожалуйста? Почему за окном чернота, если поезд вышел утром и прошел ровно сто километров?.. Почему?..

Я припал головой к окошку — о, какая чернота! и что там в этой черноте — дождь или снег? или просто я сквозь слезы гляжу в эту тьму? Боже!..

— А! Это ты! — кто-то сказал у меня за спиной таким приятным голосом, таким злорадным, что я даже поворачиваться не стал. Я сразу понял, кто стоит у меня за спиной. «Искушать сейчас начнет, тупая морда! Нашел же ведь время — искушать!»

— Так это ты, Ерофеев? — спросил Сатана.

— Конечно, я. Кто же еще?..

— Тяжело тебе, Ерофеев?

— Конечно, тяжело. Только тебя это не касается. Проходи себе дальше, не на такого напал...

Я все так и говорил: уткнувшись лбом в окошко тамбура и не поворачиваясь.

— А раз тяжело, — продолжал Сатана, — смири свой порыв. Смири свой духовный порыв — легче будет.

— Ни за что не смирю.

— Ну и дурак.

— От дурака слышу.

— Ну ладно, ладно... уж и слова не скажи!.. Ты лучше вот чего: возьми — и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не разобьешься...

Я сначала подумал, потом ответил:

— Не-а, не буду я прыгать, страшно. Обязательно разобьюсь...

И Сатана ушел, посрамленный.

А я — что мне оставалось? — я сделал из горлышка шесть глотков и снова припал головой к окошку. Чернота все плыла за окном, и все тревожила. И будила черную мысль. Я стискивал голову, чтобы отточить эту мысль, но она все никак не оттачивалась, а растекалась, как пиво по столу. «Не нравится мне эта тьма за окном, очень не нравится».

Но шесть глотков кубанской уже подходили к сердцу, тихонько, по одному, подходили к сердцу; и сердце вступило в единоборство с рассудком...

«Да чем же она тебе не нравится, эта тьма? Тьма есть тьма, и с этим ничего не поделаешь. Тьма сменяется светом, а свет сменяется тьмой — таково мое мнение. Да

если она тебе и не нравится — она от этого быть тьмой не перестанет. Значит, остается один выход: принять эту тьму. С извечными законами бытия нам, дуракам, не совладать. Зажав левую ноздрю, мы можем сморкнуться только правой ноздрей. Ведь правильно? Ну, так и нечего требовать света за окном, если за окном тьма...»

«Так-то оно так... но ведь я выехал утром... В восемь шестнадцать, с Курского вокзала...»

«Да мало ли что утром!.. Теперь, слава Богу, осень, дни короткие; не успеешь очухаться — бах! уже темно... А ведь до Петушков ехать о-о-о как долго! От Москвы до Петушков о-о-о как долго ехать!..»

«Да чего «о-о-о»! Чего ты все «о-о-о» да «о-о-о»! От Москвы до Петушков ехать ровно два часа пятнадцать минут. В прошлую пятницу, например...»

«Ну что тебе прошлая пятница?! Мало ли что было в прошлую пятницу! В прошлую пятницу и поезд-то шел почти без остановок. И вообще раньше поезда быстрее ходили... А теперь, черт знает что!.. У каждого столба останавливается и стоит, а зачем стоит? Уж прямо тошно иногда делается: чего он все стоит да стоит. И так у каждого столба. Кроме Есино...»

Я взглянул за окно и опять нахмурился: «Да-а... странно все-таки... выехали в восемь утра... и все еще едем...»

Тут уж сердце взорвалось: «А другие-то? Другие-то что: хуже тебя? Другие — ведь тоже едут и не спрашивают, почему так долго и почему так темно? Тихонько едут и в окошко смотрят... Почему ты должен ехать быстрее, чем они? Смешно тебя слушать, Веня, смешно и противно... Какой торопыга! Если ты выпил, Веня, — так будь поскромнее, не думай, что ты умнее и лучше других!..»

Вот это меня уже совсем утешило. Я ушел с площадки снова в вагон, и сел на лавочку, стараясь не глядеть в окошко. Вся публика в вагоне, человек пять или шесть, дремали вниз головой, как грудные младенцы... Я чуть было тоже не задремал...

И вдруг — подскочил на месте: «Боже милостивый! Но ведь в 11 утра она должна меня ждать! В 11 утра она уже будет меня ждать — а на дворе все еще темно... Значит, мне ее придется ждать до рассвета. Я ведь не знаю, где она живет. Я попадал к ней двенадцать раз, и все какими-то задворками и пьяный вдрабадан... Как обидно, что я на тринадцатый раз еду к ней совершенно трезвый. Из-за этого мне придется ждать, когда же, наконец, рассветет! когда же взойдет заря моей тринадцатой пятницы!

Впрочем, стоп! Ведь я уезжал из Москвы — заря моей пятницы уже взошла. Значит — уже сегодня пятница! Почему же так темно за окном?..»

«Опять! Опять ты со своей темнотой! далась тебе эта темнота!»

«Но ведь в прошлую пятницу...»

«Опять со своей прошлой пятницей! Я вижу, Веня, ты весь в прошлом. Я вижу, ты совсем не хочешь думать о будущем!..»

«Нет, нет, послушай... В прошлую пятницу, ровно в 11 утра, она стояла на перроне, с косой от затылка до попы... и было очень светло, я хорошо помню, и косу хорошо помню...»

«Да что «коса»! Ты пойми, дурак, я тебе повторяю: день сейчас убывает, потому что осень. В прошлую пятницу в 11 утра, я не спорю, было светло. А в эту пятницу, в 11 утра, может уже быть совершенно темно, хоть глаз

коли. Ты знаешь, как сейчас день убывает? Знаешь? Я вижу, ты ничего не знаешь, только хвалишься, что все знаешь!.. Тоже мне, сказал: «коса»! Да коса-то, может, и прибывает: она, может, с прошлой пятницы уже ниже попы... А осенний день наоборот — он уже с гулькин хуй! Какой же ты все-таки бестолковый, Веня!»

Я не очень сильно ударил себя по щеке, выпил еще три глотка — и прослезился. Со дна души взамен тревоги поднималась любовь. Я совсем раскис: «Ты обещал ей пурпур и лилии, а везешь триста грамм конфет «Василек». И вот — через двадцать минут ты будешь в Петушках, и на залитом солнцем перроне смутишься и подашь ей этот «Василек». А все будут говорить: «13-й раз подряд мы видим сплошной «Василек». Но мы ни разу не видели ни лилий, ни пурпура». А она рассмеется и скажет: «...»

Тут я совсем почти задремал. Я уронил голову себе на плечо и до Петушков не хотел ее поднимать. Я снова отдался потоку...

105-й километр — Покров

Но мне помешали отдаться потоку. Чуть только я забылся, кто-то ударил меня хвостом по спине.

Я вздрогнул и обернулся: передо мною был н е к т о без ног, без хвоста и без головы.

— Ты кто? — спросил я его в изумлении.

— Угадай, кто! — и он рассмеялся, по-людоедски рассмеялся...

— Вот еще! Буду я угадывать!..

Я обиженно отвернулся от него, чтобы снова забыться. Но тут меня кто-то с разгона трахнул головой по спи-

не. Я опять обернулся: передо мною был все тот же н е к т о, без ног, без хвоста и без головы...

— Ты зачем меня бьешь? — спросил я его.

— А ты угадай, зачем!.. — ответил тот, все с тем же людоедским смехом.

На этот раз — я все-таки решил угадать. «А то, если от него отвернешься, он, чего доброго, треснет тебя по спине обеими ногами...»

Я опустил глаза и задумался. Он — ждал, пока я додумаюсь, и в ожидании тихо поводил кулачищем у самых моих ноздрей. Как будто он мне, дураку, сопли вытирал...

Первым заговорил все-таки он:

— Ты едешь в Петушки? В город, где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее?.. Где...

— Да. Где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее.

— Где твоя паскуда валяется в жасмине и виссоне и птички порхают над ней и лобзают ее, куда им вздумается?

— Да. Куда им вздумается.

Он опять рассмеялся и ударил меня в поддых.

— Так слушай же. Перед тобою — Сфинкс. И он в этот город тебя не пустит.

— Почему же это он меня не пустит? Почему же это ты не пустишь? Там, в Петушках, — чего? моровая язва? Там кто-то вышел замуж за собственную дочь, и ты...?

— Там хуже, чем дочь и язва. Мне лучше знать, что там. Но я сказал тебе — не пущу, значит не пущу. Вернее, пущу при одном условии: ты разгадаешь мне пять моих загадок.

«Для чего ему, подлюке, загадки?» — подумал я про себя. А вслух сказал:

— Ну, так не томи, давай свои загадки. Убери свой кулачище, в поддых не бей, а давай загадки.

«Для чего ему, разъебаю, загадки?» — подумал я еще раз.

А он уже начал первую:

«Знаменитый ударник Алексей Стаханов два раза в день ходил по малой нужде и один раз в два дня — по большой. Когда же с ним случался запой, он четыре раза в день ходил по малой нужде и ни разу — по большой. Подсчитай, сколько раз в год ударник Алексей Стаханов сходил по малой нужде и сколько по большой нужде, если учесть, что у него триста двенадцать дней в году был запой».

Про себя я подумал: «На кого это он намекает, скотина? В туалет никогда не ходит? Пьет не просыпаясь? На кого намекает, гадина?..»

Я обиделся и сказал:

— Это плохая загадка. Сфинкс, это загадка с поросячьим подтекстом. Я не буду разгадывать эту плохую загадку.

— Ах, не будешь! Ну, ну! То ли ты еще у меня запоешь! Слушай вторую:

«Когда корабли Седьмого американского флота пришвартовались к станции Петушки, партийных девиц там не было, но если комсомолок называть партийными, то каждая третья из них была блондинкой. По отбытии кораблей Седьмого американского флота обнаружилось следующее: каждая третья комсомолка была изнасилована; каждая четвертая изнасилованная оказалась комсомолкой; каждая пятая изнасилованная комсомолка оказалась блондинкой; каждая девятая изнасилованная блондинка оказалась комсомолкой. Если всех девиц в

Петушках 428 — определи, сколько среди них осталось нетронутых беспартийных брюнеток?»

«На кого, на кого т е п е р ь намекает, собака? Почему это брюнетки все в целости, а блондинки все сплошь изнасилованы? Что он этим хочет сказать, паразит?»

— Я не буду решать и эту загадку, Сфинкс. Ты меня прости, но я не буду. Это очень некрасивая загадка. Давай лучше третью.

— Ха-ха! Давай третью!

«Как известно, в Петушках нет пунктов А. Пунктов Ц тем более нет. Есть одни только пункты Б. Так вот: Папанин, желая спасти Водопьянова, вышел из пункта $Б_1$ в сторону пункта $Б_2$. В то же мгновенье Водопьянов, желая спасти Папанина, вышел из пункта $Б_2$ в пункт $Б_1$. Неизвестно, почему оба они оказались в пункте $Б_3$, отстоящем от пункта $Б_1$ на расстоянии 12-ти водопьяновских плевков, а от пункта $Б_2$ — на расстоянии 16-ти плевков Папанина. Если учесть, что Папанин плевал на три метра семьдесят два сантиметра, а Водопьянов совсем не умел плевать, выходил ли Папанин спасать Водопьянова?»

«Боже мой! Он что, с ума своротил, этот паршивый Сфинкс? Чего это он несет? Почему это в Петушках нет ни А, ни Ц, а одни только Б? На кого он, сука, намекает?..»

— Ха-ха! — вскричал, потирая руки, Сфинкс. — И эту решать не будешь?! И эту — не будешь?! Заело, длинный мозгляк? Заело? Так вот тебе — на тебе четвертую:

«Лорд Чемберлен, премьер Британской империи, выходя из ресторана станции Петушки, поскользнулся на чьей-то блевотине — и в падении опрокинул сосед-

ний столик. На столике до падения было: два пирожных по 35 коп., две порции бефстроганова по 78 коп. каждая, две порции вымени по 39 коп. и два графина с хересом, по 800 грамм каждый. Все тарелки остались целы. Все блюда пришли в негодность. А с хересом получилось так: один графин не разбился, но из него все до капельки вытекло; другой графин разбился вдребезги, но из него не вытекло ни капли. Если учесть, что стоимость пустого графина в шесть раз больше порции вымени, а цену хереса знает каждый ребенок, — узнай, какой счет был предъявлен лорду Чемберлену, премьеру Британской империи, в ресторане Курского вокзала?!»

— Как то есть «Курского вокзала»?

— А вот так то есть. «Курского вокзала».

— Так он же поскользнулся-то — где? Он же в Петушках поскользнулся! Лорд Чемберлен поскользнулся-то ведь в петушинском ресторане!..

— А счет оплатил на Курском вокзале. Каким был этот счет?

«Боже ты мой! Откуда берутся такие Сфинксы? Без ног, без головы, без хвоста, да вдобавок еще несут такую ахинею! И с такою бандитскою рожей!.. На что он намекает, сволочь?..»

— Это не загадка, Сфинкс. Это издевательство.

— Нет, это не издевательство, Веня. Это загадка. Если и она тебе не нравится, тогда...

— Тогда давай последнюю, давай!

«Вот: идет Минин, а навстречу ему — Пожарский. «Ты какой-то странный сегодня, Минин, — говорит Пожарский, — как будто много выпил сегодня». «Да и ты тоже странный, Пожарский, идешь и на ходу спишь». «Скажи мне по совести, Минин, сколько ты сегодня вы-

пил?» «Сейчас скажу: сначала 150 российской, потом 150 перцовой, 200 столичной, 550 кубанской и 700 грамм ерша. А ты?» «А я ровно столько же, Минин». «Так куда же ты теперь идешь, Пожарский?» «Как куда? В Петушки, конечно. А ты, Минин?» «Так ведь я тоже в Петушки. Ты ведь, князь, идешь совсем не в ту сторону!» «Нет, это ты идешь не туда, Минин». Короче, они убедили друг дружку в том, что надо поворачивать обратно. Пожарский пошел туда, куда шел Минин, а Минин — туда, куда шел Пожарский. И оба попали на Курский вокзал.

Так. А теперь ты мне скажи: если б оба они не меняли курса, а шли бы каждый прежним путем — куда бы они попали? Куда бы Пожарский пришел? скажи».

— В Петушки? — подсказал я с надеждой.

— Как бы не так! Ха-ха! Пожарский попал бы на Курский вокзал! Вот куда!

И Сфинкс рассмеялся, и встал на обе ноги:

— А Минин? Минин куда бы попал, если б шел своею дорогою и не слушал советов Пожарского? Куда бы Минин пришел?..

— Может быть, в Петушки? — я уже мало на что надеялся и чуть не плакал. — В Петушки, да?..

— А на Курский вокзал — не хочешь?! Ха-ха! — И Сфинкс, словно ему жарко, словно он уже потел от торжества и злорадства, обмахнулся хвостом. — И Минин придет на Курский вокзал!.. Так кто же из них попадет в Петушки, ха-ха? А в Петушки, ха-ха, вообще никто не попадет!..

Что это был за смех у этого подлеца! Я ни разу в жизни не слышал такого живодерского смеха! Да добро бы он только смеялся! — а то ведь он, не переставая смеять-

ся, схватил меня за нос двумя суставами и куда-то потащил...

— Куда? Куда ты меня волокешь, Сфинкс? Куда ты меня волокешь?..

— А вот увидишь — куда! Ха-ха! Увидишь!..

Покров — 113-й километр

Он вытащил меня в тамбур, повернул меня мордой к окошку — и растворился в воздухе... Для чего это ему было надо?

Я посмотрел в окно. Действительно, прежней черноты за окном уже не было. На запотевшем стекле чьим-то пальцем было написано: «...» — и вот в эти просветы я увидел городские огни, много огней и уплывающую станционную надпись «Покров».

«Покров! Город Петушинского района! Три остановки, а потом — Петушки! Ты на верном пути, Венедикт Ерофеев». И вот моя тревога, которая до того со дна души все подымалась, разом опустилась на дно души и там затихла...

Три или четыре мгновения она, притихшая, там и лежала. А потом — потом она не то чтобы стала подыматься со дна души, нет, она со дна души п о д с к о ч и л а, одна мысль, одна чудовищная мысль вобралась в меня так, что даже в коленках у меня ослабло:

Вот — я сейчас отъезжал от станции Покров. Я видел надпись «Покров» и яркие огни. Все это хорошо — и «Покров», и яркие огни. Но почему же они оказались справа по ходу поезда?.. Я допускаю: мой рассудок в некотором затмении, но ведь я не мальчик, я же знаю: если станция Покров оказалась справа, значит — я еду из Пе-

тушков в Москву, а не из Москвы в Петушки!.. О, паршивый Сфинкс!

Я онемел и заметался по всему вагону, благо в нем уже не было ни души. «Постой, Веничка, не торопись. Глупое сердце, не бейся. Может, просто ты немного перепутал: может, Покров был все-таки слева, а не справа? Ты выйди, выйди опять в тамбур, посмотри получше, с какой стороны по ходу поезда на стекле написано «...».

Я выскочил в тамбур и посмотрел направо: на запотевшем стекле отчетливо и красиво было написано «...». Я поглядел налево: там так же красиво было написано «...». Боже! Я схватился за голову и вернулся в вагон, и снова онемел и заметался...

«Постой, постой... А ты вспомни, Веничка, весь путь от Москвы ты сидел слева по ходу поезда, и все черноусые, все митричи, все декабристы — все сидели слева по ходу поезда. И значит, если ты едешь правильно, твой чемоданчик должен лежать слева по ходу поезда. Видишь, как просто!..»

Я забегал по всему вагону в поисках чемоданчика — чемоданчика нигде не было, ни слева, ни справа.

Где мой чемоданчик?!

«Ну, ладно, ладно, Веня, успокойся. Пусть. Чемоданчик — вздор, чемоданчик потом отыщется. Сначала разреши свою мысль: куда ты едешь? А уж потом ищи свой чемоданчик. Сначала отточи свою мысль — а уж потом чемоданчик. Мысль разрешить или миллион? Конечно, сначала мысль, а уж потом — миллион».

«Ты благороден, Веня. Выпей весь свой остаток кубанской — за то, что ты благороден».

И вот — я запрокинулся, допивая свой остаток. И — сразу — рассеялась тьма, в которую я был погружен, и

забрезжил рассвет из самых глубин души и рассудка, и засверкали зарницы, по зарнице с каждым глотком и на каждый глоток по зарнице.

«Человек не должен быть одинок» — таково мое мнение. Человек должен отдавать себя людям, даже если его и брать не хотят. А если он все-таки одинок, он должен пройти по вагонам. Он должен найти людей и сказать им: «Вот. Я одинок. Я отдаю себя вам без остатка. (Потому что остаток только что допил, ха-ха!) А вы — отдайте мне себя и, отдав, скажите: а куда мы едем? Из Москвы в Петушки или из Петушков в Москву?»

«И по-твоему, именно так должен поступать человек?» — спросил я сам себя, склонив голову влево.

«Да. Именно так, — склонив голову вправо, ответил я сам себе. — Не век же рассматривать «...» на вспотевших стеклах и терзаться загадкою!..»

И я пошел по вагонам. В первом — не было никого, только брызгал дождь в открытые окна. Во втором — тоже никого; даже дождь не брызгал...

В третьем — кто-то был...

113-й километр — Омутище

...Женщина, вся в черном с головы до пят, стояла у окна и, безучастно разглядывая мглу за окном, прижимала к губам кружевной платочек. «Ни дать, ни взять — копия с «Неутешного горя», копия с тебя, Ерофеев», — сразу подумал я про себя и сразу про себя рассмеялся.

Тихо, на цыпочках, чтобы не спугнуть очарования, я подошел к ней сзади и притаился. Женщина плакала...

Вот! Человек уединяется, чтобы поплакать. Но изначально он не одинок. Когда человек плачет, он просто не

хочет, чтобы кто-нибудь был сопричастен его слезам. И правильно делает, ибо есть ли что-нибудь на свете выше безутешности?.. О, сказать бы сейчас такое, такое сказать бы, — чтобы брызнули слезы из глаз всех матерей, чтобы в траур облеклись дворцы и хижины, кишлаки и аулы!..

Что же мне все-таки сказать?

— Княгиня, — позвал я тихо.

— Ну, чего тебе? — отозвалась княгиня, глядя в окно.

— Ничего. Губную гармонь у тебя видно со спины, вот чего...

— Не болтай ногами, малый. Это не гармонь, а переносица... Ты лучше посиди и помолчи, за умного сойдешь...

«Это мне-то, в моем положении — молчать! Мне, который шел через все вагоны за разрешением загадки!.. Жаль, что я забыл, о чем эта загадка, но помню, что-то очень важное... Впрочем, ладно, потом вспомню... Женщина плачет — а это гораздо важнее... О, позорники! Превратили мою землю в самый дерьмовый ад — и слезы заставляют скрывать от людей, а смех выставлять напоказ!.. О, низкие сволочи! Не оставили людям ничего, кроме «скорби» и «страха», и после этого — и после этого смех у них публичен, а слеза под запретом!..

О, сказать бы сейчас такое, чтобы сжечь их всех, гадов, своим глаголом! Такое сказать, что повергло бы в смятение все народы древности!..»

Я подумал и сказал:

— Княгиня!.. а, княгиня!..

— Ну, чего тебе опять?

— Нет у тебя уже гармони. Не видно.

— Чего ж тебе тогда видно?

— Одни только кустики. (Она все отвечала, глядя в окно и ко мне не поворачиваясь.)

— Сам ты кустик, я вижу...

«Ну что ж, кустик так кустик». Я сразу как-то обмяк, сел на лавку и разомлел. Никак, хоть умри, никак я не мог припомнить, для чего я пошел по вагонам и встретил вот эту женщину... О чем же все-таки это «важное»?

— Слушай-ка, княгиня!.. А где твой камердинер Петр? Я его не видел с прошлого августа.

— Чего ты мелешь?

— Честное слово, с тех пор не видел... Где он, твой камердинер?

— Он такой же твой, как и мой! — огрызнулась княгиня. И вдруг рванулась с места и зашагала к дверям, подметая платьем пол вагона. У самых дверей — остановилась, повернула ко мне сиплое, надтреснутое лицо, все в слезах, и крикнула:

— Ненавижу я тебя, Андрей Михайлович! Не-на-вижу!!

И скрылась.

«Вот это да-а-а, — протянул я восторженно, как давеча декабрист. — Ловко она меня отбрила!» И ведь так и ушла, не ответив на самое главное!.. Царица Небесная, что же это главное? Именем щедрот твоих — дай припомнить!.. Камердинер!

Я позвонил в колокольчик... Через час — опять позвонил.

— Ка-мер-ди-нер!!

Вошел слуга, весь в желтом, мой камердинер по имени Петр. Я ему как-то посоветовал, спьяну, ходить во всем желтом, до самой смерти — так он послушался, дурак, и до сих пор так и ходит.

— Знаешь что, Петр? Я спал сейчас или нет — как ты думаешь? Спал?

— В том вагоне — да, спал.

— А в этом — нет?

— А в этом — нет.

— Чудно мне это, Петр... Зажги-ка канделябры. Я люблю, когда горят канделябры, хоть и не знаю толком, что это такое... А то, знаешь, опять мне делается тревожно... Значит, Петр, если тебе верить: я в том вагоне спал, а в этом проснулся. Так?

— Не знаю. Я сам спал — в этом вагоне.

— Гм. Хорошо. Но почему же ты не встал и меня не разбудил? Почему?

— Да зачем мне тебя было будить! В этом вагоне тебя незачем было будить, потому что ты спал в том. А в том — зачем тебя было будить, если ты в этом и сам проснулся?

— Ты не путай меня, Петр, не путай... Дай подумать. Видишь, Петр, я никак не могу разрешить одну мысль. Так велика эта мысль.

— Какая же это мысль?

— А вот какая: выпить у меня чего-нибудь осталось?..

Омутище — Леоново

Нет, нет, ты не подумай, это не сама мысль, это просто средство, чтоб ее разрешить. Ты понимаешь — когда хмель уходит от сердца, являются страхи и шаткость сознания. Если б я сейчас выпил, я не был бы так расщеплен и разбросан... Не очень заметно, что я расщеплен?

— Совсем ничего не заметно. Только рожа опухла.

— Ну, это ничего. Рожа — это ничего...

— И выпить тоже нет ничего, — подсказал Петр, встал и зажег канделябры.

Я встрепенулся. «Хорошо, что ты зажег, хорошо, а то — знаешь? — немножко тревожно. Мы все едем, едем целую ночь, и нет никого с нами, кроме нас».

— А где же твоя княгиня, Петр?

— Она давно уже вышла.

— Куда вышла?

— В Храпунове вышла. Она из Петушков ехала в Храпуново. В Орехово-Зуеве вошла, а в Храпунове — вышла.

— Какое еще Храпуново! Что ты все мелешь, Петр?.. Ты не путай меня, не путай... Так, так... Самая главная мысль... Кружится у меня почему-то в голове Антон Чехов. Да, и Фридрих Шиллер. Фридрих Шиллер и Антон Чехов. А почему — понятия не имею. Да, да... вот теперь яснее: Фридрих Шиллер, когда садился писать трагедию, ноги всегда опускал в шампанское. Вернее, нет, не так. Это тайный советник Гете, он дома у себя ходил в тапочках и шлафроке... А я — нет, я и дома без шлафрока; я и на улице — в тапочках... А Шиллер-то тут при чем? Да, вот он при чем: когда ему водку случалось пить, он ноги свои опускал в шампанское. Опустит и пьет. Хорошо! А Чехов Антон перед смертью сказал: «Выпить хочу». И умер...

Петр все глядел на меня, стоя надо мной. И все еще мало что понимал.

— Отведи глаза, пошляк, не смотри. Я мысли собираю, а ты — смотришь. Вот еще Гегель был. Это я очень хорошо помню: был Гегель. Он говорил: «Нет различий, кроме различия в степени между различными степеня-

ми и отсутствием различия». То есть, если перевести это на хороший язык: «Кто же сейчас не пьет?» Есть у нас что-нибудь выпить, Петр?

— Нет ничего. Все выпито.

— И во всем поезде нет никого?

— Никого.

— Так...

Я опять задумался. И странная это была дума. Она обволакивалась вокруг чего-то такого, что само по себе во что-то обволакивалось. И это «что-то» тоже было странно. И дума — тяжелая была дума...

Что я делал в это мгновение — засыпал или просыпался? Я не знаю, и откуда мне знать? «Есть бытие, но именем каким е г о назвать? — ни сон оно, ни бденье». Я продремал так минут 12 или 35.

А когда очнулся — в вагоне не было ни души, и Петр куда-то исчез. Поезд все мчался сквозь дождь и черноту. Странно было слышать хлопанье дверей во всех вагонах: оттого странно, что ведь ни в одном вагоне нет ни души...

Я лежал, как труп, в ледяной испарине, и страх под сердцем все накапливался...

— Ка-мер-ди-нер!

В дверях появился Петр, с синюшным и злым лицом. «Подойди сюда, Петр, подойди, ты тоже весь мокрый — почему? Это ты сейчас хлопал дверями, да?»

— Я ничем не хлопал. Я спал.

— Кто же тогда хлопал?

Петр глядел на меня, не моргая.

— Ну, это ничего, ничего. Если под сердцем растет тревога, значит, надо ее заглушить, а чтобы заглушить, надо выпить. А у нас есть что-нибудь выпить?

— Нет ничего. Все выпито.

— И во всем поезде никого-никого?

— Никого.

— Врешь, Петр, ты все мне врешь!!! Если никого, так кто же там гудит дверями и окнами? А? Ты знаешь?.. Слышишь?.. У тебя и выпить, наверное, есть, а ты мне все врешь!..

Петр, все так же, не моргая и со злобою, глядел на меня. Я видел по морде его, что я его раскусил, что я понял его и что он теперь боится меня. Да, да; он повалился на канделябр и погасил его собою — и так пошел по вагону, гася огни. «Ему стыдно, стыдно!» — подумал я. Но он уже выпрыгнул в окошко.

— Возвратись, Петр! — я так закричал, что не сумел узнать своего голоса. — Возвратись!

— Проходимец! — отвечал тот из-за окошка.

И вдруг — впорхнул опять в вагон, подлетел ко мне, рванул меня за волосы, сначала вперед, потом назад, потом опять вперед, и все это с самой отчаянной злобою...

— Что с тобой, Петр? Что с тобой?!..

— Ничего! Оставайся! Оставайся тут, бабуленька! Оставайся, старая стерва! Поезжай в Москву! Продавай свои семечки! А я не могу больше, не могу-у-у-у...

И снова выпорхнул, теперь уже навечно.

«Черт знает что такое! Что с ними со всеми?» Я стиснул виски, вздрогнул и забился. Вместе со мною вздрогнули и забились вагоны. Они, оказывается, давно уже бились и дрожали...

Леоново — Петушки

...Двери вагонов защелкали, потом загудели, все громче и явственнее. И вот — влетел в мой вагон, и пролетел вдоль вагона, с поголубевшим от страха лицом,

тракторист Евтюшкин. А спустя десяток мгновений тем же путем ворвались полчища Эриний и устремились следом за ним. Гремели бубны и кимвалы...

Волосы мои встали дыбом. Не помня себя, я вскочил, затопал ногами:

«Остановитесь, девушки! Богини мщения, остановитесь! В мире нет виноватых!..» А они все бежали.

И когда последняя со мной поравнялась, я закипел, я ухватил ее сзади, она задыхалась от бега.

— Куда вы? Куда вы все бежите?..

— Чего тебе?! Отвяжи-и-сь! Пусти-и-и-и!..

— Куда? И все мы едем — куда??..

— Да тебе-то что за дело, бешена-а-ай!..

И вдруг повернулась ко мне, обхватила мою голову и поцеловала меня в лоб — до того неожиданно, что я засмущался, присел и стал грызть подсолнух.

А покуда я грыз подсолнух, она отбежала немного, взглянула на меня, вернулась — и съездила меня по левой щеке. Съездила, взвилась к потолку и ринулась догонять подруг. Я бросился следом за ней, преступно выгибая шею...

Пламенел закат, и лошади вздрагивали, и где то счастье, о котором пишут в газетах? Я бежал и бежал, сквозь вихорь и мрак, срывая двери с петель, я знал, что поезд «Москва — Петушки» летит под откос. Вздымались вагоны — и снова проваливались, как одержимые одурью... И тогда я заметался и крикнул:

— О-о-о-о-о! Посто-о-ойте!.. А-а-а-а!..

Крикнул и оторопел: хор Эриний бежал обратно, со стороны головного вагона прямо на меня, паническим стадом. За ними следом гнался разъяренный Евтюшкин. Вся эта лавина опрокинула меня и погребла под собой...

А кимвалы продолжали бряцать, а бубны гремели. И звезды падали на крыльцо сельсовета. И хохотала Суламифь.

Петушки. Перрон

А потом, конечно, все заклубилось. Если вы скажете, что то был туман, я, пожалуй, и соглашусь — да, как будто туман. А если вы скажете — нет, то не туман, то пламень и лед — попеременно то лед, то пламень, — я вам на это скажу: пожалуй что и да, лед и пламень, то есть сначала стынет кровь, стынет, а как застынет, тут же начинает кипеть и, вскипев, застывает снова.

«Это лихорадка, — подумал я. — Этот жаркий туман повсюду — от лихорадки, потому что сам я в ознобе, а повсюду жаркий туман». А из тумана выходит кто-то очень знакомый, Ахиллес не Ахиллес, но очень знакомый. О! теперь узнал: это понтийский царь Митридат. Весь в соплях измазан, а в руках — ножик...

— Митридат, это ты, что ли? — мне было так тяжело, что говорил я почти беззвучно. — Это ты, что ли, Митридат?..

— Я, — ответил понтийский царь Митридат.

— А измазан весь — почему?

— А у меня всегда так. Как полнолуние — так сопли текут...

— А в другие дни не текут?

— Бывает, что и текут. Но уж не так, как в полнолуние.

— И ты что же, совсем их не утираешь? — я перешел почти на шепот. — Не утираешь?

— Да как сказать? случается, что и утираю, только ведь разве в полнолуние их утрешь? не столько утрешь, сколько размажешь. Ведь у каждого свой вкус — один любит распускать сопли, другой утирать, третий размазывать. А в полнолуние...

Я прервал его:

— Красиво ты говоришь, Митридат, только зачем у тебя ножик в руках?..

— Как зачем?.. да резать тебя — вот зачем!.. Спрашивает тоже: зачем?.. Резать, конечно...

И как он переменился сразу! все говорил мирно, а тут ощерился, почернел — и куда только сопли девались? — и еще захохотал, сверх всего! Потом опять ощерился, потом опять захохотал!

Озноб забил меня снова: «Что ты, Митридат, что ты! — шептал я или кричал, не знаю. — Убери нож, убери, зачем...?» А он уже ничего не слышал и замахивался, в него словно тысяча почерневших бесов вселилась... «Изувер!» И тут мне пронзило левый бок, и я тихонько застонал, потому что не было во мне силы даже рукою защититься от ножика... «Перестань, Митридат, перестань...»

Но тут мне пронзило правый бок, потом опять левый, опять правый, — я успевал только бессильно взвизгивать, — и забился от боли по всему перрону. И проснулся, весь в судорогах. Вокруг — ничего, кроме ветра, тьмы и собачьего холода. «Что со мной и где я? почему это дождь моросит? Боже...»

И опять уснул. И опять началось все то же, и озноб, и жар, и лихоманка, а оттуда, издали, где туман, выплыли двое этих верзил со скульптуры Мухиной, рабочий с молотом и крестьянка с серпом, и, приблизились ко мне

вплотную и ухмыльнулись оба. И рабочий ударил меня молотом по голове, а потом крестьянка — серпом по ..цам. Я закричал — наверно, вслух закричал — и снова проснулся, на этот раз даже в конвульсиях, потому что теперь уже все во мне содрогалось — и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

О, эта боль! О, этот холод собачий! О, невозможность! Если каждая пятница моя будет и впредь такой, как сегодняшняя, — я удавлюсь в один из четвергов!.. Таких ли судорог я ждал от вас, Петушки? пока я добирался до тебя, кто зарезал твоих птичек и вытоптал твой жасмин?.. Царица Небесная, я — в Петушках!..

«Ничего, ничего, Ерофеев... Талифа куми, как сказал Спаситель, то есть встань и иди. Я знаю, знаю, ты раздавлен, всеми членами и всею душой, и на перроне мокро и пусто, и никто тебя не встретил, и никто никогда не встретит. А все-таки встань и иди. Попробуй... А чемоданчик где твой? Боже, где твой чемоданчик с гостинцами?.. два стакана орехов для мальчика, конфеты «Василек» и пустая посуда... где чемоданчик? кто и зачем его украл — ведь там же были гостинцы!.. А посмотри, посмотри, есть ли деньги, может, есть хоть немножко? Да, да, немножко есть, совсем чуть-чуть; но что они теперь — деньги?.. О, эфемерность! О, тщета! О, гнуснейшее, позорнейшее время в жизни моего народа — время от закрытия магазинов до рассвета!..

Ничего, ничего, Ерофеев... Талифа куми, как сказала твоя Царица, когда ты лежал во гробе, — то есть встань, оботри пальто, почисти штаны, отряхнись и иди. Попробуй хоть шага два, а дальше будет легче. Что ни дальше — то легче. Ты же сам говорил больному маль-

чику: «Раз-два-туфли надень-ка как-ти-бе-не стыдна-спать...» Самое главное — уйди от рельсов, здесь вечно ходят поезда, из Москвы в Петушки, из Петушков в Москву. Уйди от рельсов. Сейчас ты все узнаешь, и почему нигде ни души, узнаешь и почему она не встретила, и все узнаешь... Иди, Веничка, иди...»

Петушки. Вокзальная площадь

«Если хочешь идти налево, Веничка, — иди налево. Если хочешь направо — иди направо. Все равно тебе некуда идти. Так что уж лучше иди вперед, куда глаза глядят...»

Кто-то мне говорил когда-то, что умереть очень просто: что для этого надо сорок раз подряд глубоко, глубоко, как только возможно, вздохнуть, и выдохнуть столько же, из глубины сердца, — и тогда ты испустишь душу. Может быть, попробовать?..

О, погоди, погоди!.. Может, время сначала узнать? Узнать, сколько времени?.. Да ведь у кого узнать, если на площади ни единой души, то есть решительно ни единой?.. Да если б и встретилась живая душа — смог бы ты разве разомкнуть уста, от холода и от горя? Да, от горя и от холода... О, немота!..

И если я когда-нибудь умру — а я очень скоро умру, я знаю, — умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, снаружи и изнутри постигнув, но не приняв, — умру, и Он меня спросит: «Хорошо ли было тебе там? Плохо ли тебе было?» — я буду молчать, опущу глаза и буду молчать, и эта немота знакома всем, кто знает исход многодневного и тяжелого похмелья. Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окосение

души? и затмение души тоже. Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему, один выпил больше, другой меньше. И на кого как действует: один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого только еще начинает тошнить. А я — что я? я много вкусил, а никакого действия, я даже ни разу как следует не рассмеялся, и меня не стошнило ни разу. Я, вкусивший в этом мире столько, что теряю счет и последовательность, — я трезвее всех в этом мире; на меня просто туго действует... «Почему же ты молчишь?» — спросит меня Господь, весь в синих молниях. Ну что я ему отвечу? Так и буду: молчать, молчать...

Может, все-таки разомкнуть уста? — найти живую душу и спросить, сколько времени?..

Да зачем тебе время, Веничка? Лучше иди, иди, закройся от ветра и потихоньку иди... Был у тебя когда-то небесный рай, узнавал бы время в прошлую пятницу — а теперь небесного рая больше нет, зачем тебе время? Царица не пришла к тебе на перрон, с ресницами, опущенными ниц; божество от тебя отвернулось, — так зачем тебе узнавать время? «Не женщина, а бланманже», как ты в шутку ее называл, — на перрон к тебе не пришла. Утеха рода человеческого, лилия долины — не пришла и не встретила. Какой же смысл после этого узнавать тебе время, Веничка?..

Что тебе осталось? утром — стон, вечером — плач, ночью — скрежет зубовный... И кому, кому в мире есть дело до твоего сердца? Кому?.. Вот, войди в любой петушинский дом, у любого порога спроси: «Какое вам дело до моего сердца?» Боже мой...

Я повернул за угол и постучался в первую же дверь.

Петушки. Садовое кольцо

Постучался — и, вздрагивая от холода, стал ждать, пока мне отворят...

«Странно высокие дома понастроили в Петушках!.. Впрочем, это всегда так, с тяжелого и многодневного похмелья: люди кажутся безобразно сердитыми, улицы — непомерно широкими, дома — странно большими... Все вырастает с похмелья ровно настолько, насколько все казалось ничтожнее обычного, когда ты был пьян... Помнишь лемму этого черноусого?»

Я еще раз постучался, чуть громче прежнего: «Неужели так трудно отворить человеку дверь и впустить его на три минуты погреться? Я этого не понимаю... Они, серьезные, это понимают, а я, легковесный, никогда не пойму... Мене, текел, фарес — то есть «ты взвешен на весах и найден легковесным», то есть «текел»... Ну и пусть, пусть...

Но есть ли т а м весы или нет — все равно — на т е х весах вздох и слеза перевесят расчет и умысел. Я это знаю тверже, чем вы что-нибудь знаете. Я много прожил, много перепил и продумал — и знаю, что говорю. Все ваши путеводные звезды катятся к закату, а если и не катятся, то едва мерцают. Я не знаю вас, люди, я вас плохо знаю, я редко на вас обращал внимание, но мне есть дело до вас: меня занимает, в чем теперь ваша душа, чтобы знать наверняка, вновь ли возгорается звезда Вифлеема или вновь начинает меркнуть, а это самое главное. Потому что все остальные катятся к закату, а если и не катятся, то едва мерцают, а если даже и сияют, то не стоят и двух плевков.

Есть т а м весы, нет т а м весов — т а м мы, легковесные, перевесим и одолеем. Я прочнее в это верю, чем вы во что-нибудь верите. Верю, и знаю, и свидетельствую миру. Но почему же так странно расширили улицы в Петушках?..»

Я отошел от дверей, и тяжелый взгляд свой переводил с дома на дом, с подъезда на подъезд. И пока вползала в меня одна тяжелая мысль, которую страшно вымолвить, вместе с тяжелой догадкой, которую вымолвить тоже страшно, — я все шел и шел, и в упор рассматривал каждый дом, и хорошо рассмотреть не мог: от холода или отчего еще мне глаза устилали слезы...

«Не плачь, Ерофеев, не плачь... Ну зачем? И почему ты так дрожишь? от холода или еще отчего?.. не надо...»

Если б у меня было хоть двадцать глотков кубанской! Они подошли бы к сердцу, и сердце всегда сумело бы убедить рассудок, что я в Петушках! Но кубанской не было: я свернул в переулок, и снова задрожал и заплакал...

И тут — началась история, страшнее всех, виденных во сне: в этом самом переулке навстречу мне шли четверо... Я сразу их узнал, я не буду вам объяснять, кто эти четверо... Я задрожал сильнее прежнего, я весь превратился в сплошную судорогу...

А они подошли и меня обступили. Как бы вам объяснить, что у них были за рожи? да нет, совсем не разбойничьи рожи, скорее даже наоборот, с налетом чего-то классического, но в глазах у всех четверых — вы знаете? вы сидели когда-нибудь в туалете на Петушинском вокзале? помните, как там, на громадной глубине, под круглыми отверстиями, плещется и сверкает эта

жижа карего цвета? — вот такие были глаза у всех четверых. А четвертый был похож... впрочем, я потом скажу, на кого он был похож.

— Ну, вот ты и попался, — сказал один.

— Как то есть... попался? — голос мой страшно дрожал, от похмелья и от озноба. Они решили, что от страха.

— А вот так и попался! Больше никуда не поедешь.

— А почему?..

— А потому.

— Слушайте... — голос мой срывался, потому что дрожал каждый мой нерв, а не только голос. Ночью никто не может быть уверен в себе, то есть я имею в виду: холодной ночью. И апостол предал Христа, покуда третий петух не пропел. Вернее, не так: и апостол предал Христа трижды, пока не пропел петух. Я знаю, почему он предал, — потому что дрожал от холода, да. Он еще грелся у костра, вместе с э т и м и. А у меня и костра нет, и я с недельного похмелья. И если б испытывали теперь меня, я предал бы Его до семижды семидесяти раз, и больше бы предал...

— Слушайте, — говорил я им, как умел, — вы меня пустите... что я вам?.. я просто не доехал до девушки... ехал и не доехал... я просто проспал, у меня украли чемоданчик, пока я спал... там пустяки и были, а все-таки жалко... «Василек»...

— Какой еще василек? — со злобою спросил один.

— Да конфеты, конфеты «Василек»... и орехов двести грамм, я младенцу их вез, я ему обещал за то, что он букву хорошо знает... но это чепуха... вот только дождаться рассвета, я опять поеду... правда, без денег, без

гостинцев, но они и так примут, и ни слова не скажут... даже наоборот.

Все четверо смотрели на меня в упор, и все четверо, наверно, думали: «Как этот подонок труслив и элементарен!» О, пусть, пусть себе думают, только бы отпустили!.. Где, в каких газетах я видел эти рожи?..

— Я хочу опять в Петушки...

— Не поедешь ты ни в какие Петушки!

— Ну... пусть не поеду, я на Курский вокзал хочу...

— Не будет тебе никакого вокзала!

— Да почему?..

— Да потому!

Один размахнулся — и ударил меня по щеке, другой — кулаком в лицо, остальные двое тоже надвигались, — я ничего не понимал. Я все-таки устоял на ногах и отступал от них тихо, тихо, тихо, а они все четверо тихо наступали...

«Беги, Веничка, хоть куда-нибудь, все равно куда!.. Беги на Курский вокзал! Влево, или вправо, или назад — все равно туда попадешь! Беги, Веничка, беги!..»

Я схватился за голову — и побежал. Они — следом за мной...

Петушки. Кремль. Памятник Минину и Пожарскому

«А может быть, это все-таки Петушки?.. Может, крикнуть «караул», хоть кому-нибудь? Куда все вымерли? И фонари горят фантастично, горят, не сморгнув. Может, и в самом деле Петушки? Вот этот дом, на который я сейчас бегу, — это же райсобес, а за ним туман и

мгла. Петушинский райсобес, а за ним тьма во веки веков и гнездилище душ умерших. О, нет, нет!..»

Я выскочил на площадь, устланную мокрой брусчаткой, оглянулся и перевел дух. Нет, это не Петушки! Если Он навсегда покинул мою землю, но видит каждого из нас, — Он в эту сторону ни разу и не взглянул. А если Он никогда моей земли не покидал, если всю ее исходил босой и в рабском виде, — Он это место обогнул и прошел стороной.

Не Петушки это, нет! Петушки Он стороной не обходил. Он часто ночевал там при свете костра, и я во многих тамошних душах замечал следы Его ночлега — пепел и дым Его ночлега. Пламени не надо, был бы хоть пепел и дым.

Нет, это не Петушки! Кремль сиял передо мной во всем великолепии. И хоть я слышал уже за собою топот погони — я успел подумать: «Вот! Сколько раз я проходил по Москве, вдоль и поперек, в здравом уме и в бесчувствиях, сколько раз проходил — и ни разу не видел Кремля, я в поисках Кремля всегда натыкался на Курский вокзал. И вот теперь наконец увидел — когда Курский вокзал мне нужнее всего на свете!..»

Неисповедимы Твои пути...

Топот все приближался — а я уже ничего не мог. Я, спотыкаясь, добрел до Кремлевской стены — и рухнул. «Что это за люди и что я сделал этим людям?» — такого вопроса у меня не было, я весь издрог и извелся страхом, мне было все равно. И заметят они меня или не заметят — тоже все равно. «Мне не нужна дрожь, мне нужен покой, — вот все мои желания. Пронеси, Господь...»

Они приближались с четырех сторон, поодиночке. Подошли и обступили, с тяжелым сопением. Хорошо, что я успел подняться на ноги — они бы сразу убили меня...

— Ты от нас? О т н а с хотел убежать? — прошипел один и схватил меня за волосы и, сколько в нем было силы, хватил меня головой о кремлевскую стену. Мне показалось, что я раскололся от боли, кровь стекала по лицу и за шиворот... Я почти упал, но удержался... Началось избиение!

— Ты ему в брюхо сапогом! Пусть корячится!

Боже! я вырвался и побежал — вниз по площади. «Беги, Веничка, если сможешь, беги, ты убежишь, они совсем не умеют бегать!» На два мгновения я остановился у памятника — смахнул кровь с бровей, чтобы лучше видеть — сначала посмотрел на Минина, потом на Пожарского, потом опять на Минина — куда? в какую сторону бежать? Где Курский вокзал и куда бежать? раздумывать было некогда — я полетел в ту сторону, куда смотрел князь Дмитрий Пожарский...

Москва — Петушки. Неизвестный подъезд

Все-таки до самого последнего мгновения я еще рассчитывал от них спастись. И когда вбежал в неизвестный подъезд и дополз до самой верхней площадки и снова рухнул — я все еще надеялся... «О, ничего, ничего, сердце через час утихнет, кровь отмоется, лежи, Веничка, лежи до рассвета, а там на Курский вокзал... Не надо так дрожать, я же тебе говорил, не надо...»

Сердце билось так, что мешало вслушиваться, и все-таки я расслышал: дверь подъезда внизу медленно приотворилась и не затворялась мгновений пять...

Весь сотрясаясь, я сказал себе «талифа куми». То есть «встань и приготовься к кончине»... Это уже не «талифа куми», то есть «встань и приготовься к кончине», это л а м а с а в а х ф а н и. То есть: «Для чего, Господь, Ты меня оставил?»

«Для чего же все-таки, Господь, Ты меня оставил?»

Господь молчал.

«Ангелы небесные, они подымаются! что мне делать? что мне сейчас сделать, чтобы не умереть? ангелы!..»

И ангелы — засмеялись. Вы знаете, как смеются ангелы? Это позорные твари, теперь я знаю, — вам сказать, как они сейчас засмеялись? Когда-то, очень давно, в Лобне, у вокзала, зарезало поездом человека, и непостижимо зарезало: всю его нижнюю половину измололо в мелкие дребезги и расшвыряло по полотну, а верхняя половина, от пояса, осталась как бы живою, и стояла у рельсов, как стоят на постаментах бюсты разной сволочи. Поезд ушел, а он, эта половина, так и остался стоять, и на лице у него была какая-то озадаченность, и рот полуоткрыт. Многие не могли на это глядеть, отворачивались, побледнев и со смертной истомой в сердце. А дети подбежали к нему, трое или четверо детей, где-то подобрали дымящийся окурок и вставили его в мертвый полуоткрытый рот. И окурок все дымился, а дети скакали вокруг — и хохотали над этой забавностью...

Вот так и теперь небесные ангелы надо мной смеялись. Они смеялись, а Бог молчал... А этих четверых я уже увидел — они подымались с последнего этажа...

А когда я их увидел, сильнее всякого страха (честное слово, сильнее) было удивление: они, все четверо, подымались босые и обувь держали в руках — для чего это надо было? чтобы не шуметь в подъезде? или чтобы незаметнее ко мне подкрасться? не знаю, но это было последнее, что я запомнил. То есть вот это удивление.

Они даже не дали себе отдышаться — и с последней ступеньки бросились меня душить, сразу пятью или шестью руками; я, как мог, отцеплял их руки и защищал свое горло, как мог. И вот тут случилось самое ужасное: один из них, с самым свирепым и классическим профилем, вытащил из кармана громадное шило с деревянной рукояткой; может быть, даже не шило, а отвертку или что-то еще — я не знаю. Но он приказал всем остальным держать мои руки, и, как я ни защищался, они пригвоздили меня к полу, совершенно ополоумевшего...

— Зачем-зачем?.. зачем-зачем-зачем?.. — бормотал я...

Они вонзили мне свое шило в самое горло...

Я не знал, что есть на свете такая боль, я скрючился от муки. Густая красная буква «Ю» распласталась у меня в глазах, задрожала, и с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду.

На кабельных работах
в Шереметьево — Лобня,
осень 69 года

Вальпургиева ночь, или Шаги Командора

Трагедия в пяти актах

Досточтимый Мур!

Отдаю на твой суд, с посвящением тебе, первый свой драматический опыт: «Вальпургиева ночь» (или, если угодно, «Шаги Командора»). Трагедия в пяти актах. Она должна составить вторую часть триптиха «Драй Нэхте».

Первая ночь, «Ночь на Ивана Купала» (или проще «Диссиденты») сделана пока только на одну четверть и обещает быть самой веселой и самой гибельной для всех ее персонажей. Тоже трагедия и тоже в пяти актах. Третью — «Ночь перед Рождеством» — намерен кончить к началу этой зимы.

Все Буаловские каноны во всех трех «Ночах» будут неукоснительно соблюдены:

Эрсте Нахт — приемный пункт винной посуды;

Цвайте Нахт — 31-е отделение психбольницы;

Дритте Нахт — православный храм, от паперти до трапезной.

И время: вечер — ночь — рассвет.

Если «Вальпургиева ночь» придется тебе не по вкусу, — я отбрасываю к свиньям собачьим все остальные

Это письмо Вен. Ерофеев послал своему другу В. Муравьеву сразу после написания пьесы.

ночи и сажусь переводить кого-нибудь из нынешних немцев. А ты подскажешь мне, кто из них этого заслуживает.

Венедикт Ер.
Весна 85 г.

В трагедии участвуют:

Врач приемного покоя психбольницы

Две его ассистентки-консультантши.

Одна (Валентина) — в очках, поджарая и дробненькая. И больше секретарша, чем ассистентка.

Другая — Зинаида Николаевна, багровая и безмерная

Старший врач Игорь Львович Ранинсон

Прохоров — староста 3-й палаты и диктатор 2-й

Гуревич

Алеха по кличке Диссидент, оруженосец Прохорова

Вова — меланхолический старичок из деревни

Сережа Клейнмихель — тихоня и прожектер

Витя

Стасик — декламатор и цветовод

Коля

Комсорг 3-й палаты Пашка Еремин

Контр-адмирал Михалыч

Медсестра Люси

Медсестра Натали

Медсестра-санитарка Тамарочка

Медбрат Боренька, по кличке Мордоворот

Хохуля — сексуальный мистик и сатанист

Толстые санитары с носилками, в последнем акте уносящие трупы

Все происходит 30 апреля, потом ночью, потом в часы первомайского рассвета.

Первый акт

Он же Пролог. Приемный покой. Слева от зрителя — жюри: старший врач приемного покоя, смахивающий на композитора Георгия Свиридова, с почти квадратной физией и в совершенно квадратных очках. По обе стороны от него — две дамы в белых халатах: занимающая почти пол-авансцены Зинаида Николаевна и сутуловатая, *на все отсутствующая,* в очках и с бумагами, Валентина. Позади них мерно прохаживается санитар и медбрат Боренька, он же Мордоворот, и о нем речь впереди. По другую сторону стола только что доставленный «чумовозом» (скорой помощью) Л. И. Гуревич.

Доктор. Ваша фамилия, больной?

Гуревич. Гуревич.

Доктор. Значит, Гуревич. А чем вы можете подтвердить, что вы Гуревич, а не... Документы какие-нибудь есть при себе?

Гуревич. Никаких документов, я их не люблю. Рене Декарт говорил, что...

Доктор (поправляя очки). Имя-отчество?

Гуревич. Кого? Декарта?..

Доктор. Нет, нет, больной, ваше имя-отчество!

Гуревич. Лев Исаакович.

Доктор (из-под очков, в сторону очкастой Валентины). Отметьте.

Валентина. Что отметить, простите?

Доктор. *Все! Все* отметить!.. Родители живы?.. И зачем вам лгать, Гуревич?.. если вы совсем не Гуревич... Так, я еще раз повторяю: ваши родители живы?..

Гуревич. Оба живы, и обоих зовут...

Доктор. Интересно, как их зовут.

Гуревич. Исаак Гуревич. А маму — Розалия Павловна...

Доктор. Она тоже Гуревич?

Гуревич. Да. Но она русская.

Доктор. Ну, а как обстоит дело с вашей матерью?

Гуревич. Вы бестактны, доктор. Что значит «как обстоит дело с матерью?» А с вашей, если вы не сирота, как обстоит?

Доктор. Обратите внимание, больной, я не раздражаюсь. Того же прошу и от вас... А кого вы больше любите, маму или папу? Это для медицины совсем не маловажно.

Гуревич. Больше все-таки папу. Когда мы с ним переплывали Геллеспонт...

Доктор (очкастой Валентине). Отметьте у себя. Больше любит папу-еврея, чем русскую маму... А зачем вас понесло на Геллеспонт? Ведь это, если мне не изменяют познания в географии, — ведь это *еще* не наша территория...

Гуревич. Ну, это как сказать. Вся территория — наша. Вернее, будет нашей. Но нам не дают туда погулять — видимо, из миротворческих соображений: чтобы мы довольствовались шестой частью обитаемой суши.

Доктор. А... очень широк, этот Геллеспонт?..

Гуревич. Несколько Босфоров.

Доктор. Это вы что же — расстояние измеряете в босфорах? Вам повезло, больной, вашим соседом по палате будет человек, он измеряет время тумбочками и табуретками, вы с ним споетесь. Так что же такое Босфор?

Гуревич. Ничего нет проще. Даже вы поймете. Когда я по утрам выхожу из дому и иду за бормотухой, то путь мой до магазина занимает ровно 670 моих шагов — а по Брокгаузу, это точная ширина Босфора.

Доктор. Пока все ясно. И часто вы вот так прогуливались?

Гуревич. Когда как. Другие — чаще... Но я — в отличие от них — без всякого форсу и забубенности. Я — только когда печален...

Доктор. Н-ну, печаль печалью. А на какие средства вы... каждый день переходили этот ваш Босфор? Это очень важно...

Гуревич. Так ведь мне все равно, какая работа, я на все готов — массовый сев гречихи и проса... или наоборот... Сейчас я состою в хозмагазине, в должности татарина.

Зинаида Николаевна. И сколько вам плотят?

Гуревич. Мне платят ровно столько, сколько моя Родина сочтет нужным. А если б мне показалось мало, ну, я надулся бы, например, и Родина догнала бы меня и спросила: «Лева, тебе этого мало? Может, тебе немножко добавить?» — я бы сказал: «Все хорошо, Родина, отвяжись, у тебя у самой ни хуя нету».

Доктор (из соображений авантажности). Я понял, что вы больше вольный мореплаватель, а не татарин из хозмага. Встаньте. Сдвиньте ноги. Зажмурьте глаза. Протяните руки вперед.

Гуревич (делает то, что предписывают). Я могу сесть?

Доктор. Можете, можете. Довольно. Нам уже по существу все понятно. Вот — одна еще деталь: о том, женаты вы или нет, я не спрашиваю: но есть ли у вас женщина, к которой расположено ваше сердце, та, что сопровождает вас в жизни?

Гуревич. Конечно, есть. Вернее, конечно, была. Когда мы вместе с нею переплывали Гиндукуш... она разбила свою прекрасную голову... о скалы Британского Самоа. В эту минуту (Гуревич почти плачет) ...и вот в эту минуту — судьба выбила палочку из рук маэстро. Я утонул, но выплыл — вы рады, что я выплыл?

Доктор. Из Гиндукуша?

Гуревич. Из Гиндукуша. А чего стоит выплыть из Гиндукуша, если прежде человеку покорялись Дарданеллы?

Доктор. Вот-вот. Для нас такой пациент — большая редкость, я рад, что вы не утонули. А вот когда вы плавали — вы брали с собой бутылку?

Гуревич. Еще бы! И какую бронебойную! Уксуснокислого аммония — акулы его не выносят. Как только появляется акула — выливаешь на голову себе и своей подруге немножко уксуснокислого аммония, — и все, акулы кочевряжатся, вконец теряют свои пустые головы, ну... на прощанье лизнут икры моей подруги... но ведь смешно было бы в такой ситуации ревновать... А когда уже дело доходило до Каракорума...

Доктор. А какое сегодня число на дворе? год? месяц?

Гуревич. Какая разница?.. Да и все это для России мелковато — дни, тысячелетья...

Доктор. Понятно. Скажите, больной: случаются ли у вас какие-нибудь наваждения, иллюзии, химеры, потусторонние голоса..?

Гуревич. Вот этим обрадовать вас не могу, не случалось. Но...

Доктор. Что все-таки «но»..?

Гуревич. Да вот я о химерах... Ну для ради чего, например, я изъездил весь свет, пересекал все Куэнь-Луни, взбирался на вершины Кон-Тики, — и узнал из всего этого только одно — что в городе Архангельске пустую винную посуду лучше всего сдавать на улице Розы Люксембург!

Доктор. А еще какие странности?

Гуревич. Очень много. Допустим, является желание, чтобы небо было в одних Волопасах. Чтобы никаких других созвездий. И чтобы меня — под этими Волопасами — лишили бы чего-нибудь: чего-нибудь существенного, но не самого дорогого.

Доктор и медсестры нервничают. За их спинами безмятежно прогуливается Мордоворот Боренька.

Гуревич (продолжает). Но что мне до Волопасов и Плеяд, когда я стал замечать в себе вот какую странность: я обнаружил, что, подняв левую ногу, я не могу одновременно поднять и правую. Это меня подкосило. Я поделился моим недоумением с князем Голицыным...

Доктор дает знак левым глазом — с тем, чтобы Валентина записывала. Она лениво наклоняет конопатую голову.

Гуревич. ...и вот мы с ним пили, пили, пили... чтобы привести мысли в ясность... И я спросил его шепотом — не потревожить бы кого, — да и кого, собственно, было тревожить, мы же были одни — кроме нас, никого... так

вот, значит, я, чтоб никого не потревожить, спросил его шепотом: а почему у меня часы идут в обратную сторону? А он всмотрелся в меня, в часы, а потом говорит: «Да по тебе и незаметно, да и выпили, вроде, немного... но только и у меня пошли в обратную».

Доктор. Пить вам вредно, Лев Исакыч...

Гуревич. Будто я этого не понимаю. Говорить мне это сейчас — все равно, положим, что сказать венецианскому мавру, только что *потрясенному содеянным,* — сказать, что сдавление дыхательного горла и трахеи может вызвать паралич дыхательного центра вследствие асфиксии.

Доктор. Достаточно, по-моему... Значит, с князем Голицыным... А с виконтами, графьями, маркизами — не приходилось водку хлебать?..

Гуревич. Еще как приходилось. Мне, например, звонит граф Толстой...

Доктор. Лев?

Гуревич. Да отчего же непременно Лев! Если граф — то непременно Лев! Я вот тоже Лев, а ничуть не граф. Мне звонит правнук Льва — и говорит, что у него на столе две бутылки имбирной, а на закусь ничего нет, кроме двух анекдотов о Чапае...

Доктор. И он далеко живет, этот граф Толстой?

Гуревич. Совсем недалеко. Метро «Новокузнецкая», а там совсем рядом. Если вы давно не пили имбирной...

Доктор. А как вам Жозеф де Местр? Виконт де Бражелон? Вы бы их пригласили под забор, шлепнуть из горла... этой... как вы ее называете... бормотухи..?

Гуревич. Охотно. Но чтобы под этим забором были заросли бересклета... И — неплохо бы — анемоны... Но ведь, ходят слухи, они уже все эмигрировали...

Доктор. Анемоны?

Гуревич. Добро бы только анемоны. А то ведь и бражелоны, и жозефы, и крокусы. Все-все бегут. А зачем бегут? А куда бегут? Мне, например, здесь очень нравится. Если что не нравится — так это запрет на скитальчество. И... неуважение к Слову. А во всем остальном...

Доктор (полномочный тон его переходит в чрезвычайный). Ну, а если с нашей Родиной стрясется беда? Ведь ни для кого не секрет, что наши недруги живут только одной мыслью: дестабилизировать нас, а уж потом окончательно... Вы меня понимаете? Мы с вами говорим не о пустяках. (Обращаясь к Зинаиде Николаевне.) Сколько у нас в России народностей, языков, племен..?

Зинаида Николаевна. А черт их знает... Полтыщи есть, наверняка.

Доктор. Вот видите: полтыщи. И как вы думаете, больной, в случае *обстоятельств* — перед лицом противника — какое племя окажется самым надежным? Вы — человек грамотный, знаете толк в бересклетах и анемонах — и знаете, что они от нас почему-то убегают... И вот — гроза разразилась — в каком вы строю, Лев Исаакович?

Гуревич. Вообще-то я противник всякой войны. Война портит солдат, разрушает шеренгу и пачкает мундиры. Великий Князь Константин Павлович. Но это ничего не значит. Как только моя Отчизна окажется на грани катастрофы...

Доктор (в сторону Валентины). Запишите и это.

Гуревич. Как только моя Отчизна окажется на грани катастрофы, когда Она скажет: «Лева! Брось пить, вставай и выходи из небытия» — тогда...

Оживление в зале. Стук каблучков справа — и в приемный покой стремительно, но без суеты вплывает медсестра Натали. Глаза занимают почти половину улыбчатой физиономии. Ямка на щеке. Волосы на затылке, совершенно черные, скреплены немыслимой заколкой. Все отдает славянским покоем, кротостью, но и Андалузией — тоже.

Доктор. Вы очень кстати, Наталья Алексеевна (обычный обмен приветствиями между дамами, и все такое. Натали усаживается рядом с Зинаидой).

Натали. Новичок... Гуревич?! Сколько лет, сколько...

Доктор. Мы уже, по существу, заканчиваем беседу с больным. Не отвлекать внимания, Наталья Алексеевна, и никаких сепаратностей... Осталось выяснить только несколько обстоятельств — и в палату...

Гуревич (одушевленный присутствием Натали, продолжает). Мы говорили об Отчизне и катастрофе. Итак, я люблю Россию, она занимает шестую часть моей души. Теперь, наверно, уже немножко побольше... (Смех в зале.) Каждый нормальный гражданин должен быть отважным воином, точно так же, как всякая нормальная моча должна быть светло-янтарного цвета. (Вдохновенно цитирует из Хераскова.)

Готовы защищать отечество любезно,
Мы рады с целою вселенной воевать.

Но только вот какое соображение сдерживает меня: за *такую* Родину, такую Родину, я, нравственно плюгавый хмырь, просто недостоин сражаться.

Доктор. Ну, почему же? Мы вас тут подлечим... и...

Гуревич. Ну так что ж, что подлечите?.. Я все равно ни за что не разберу, какой танк и куда идет. Я готов, конечно, броситься под любой танк, со связкою гранат или даже без связки...

Зинаида Николаевна. Да без связки-то зачем?

Гуревич. Неприятель взлетает на воздух, если даже под него кидаются вообще без ничего. Мой вам совет: больше читайте... Ну, а уж если не окажется ни одного танка поблизости — тогда хоть амбразура найдется точно. Чья — не важно. Я, не мешкая, падаю на нее грудью — и лежу на ней, лежу, пока наш алый стяг не взовьется над Капитолием.

Доктор. Паясничать, по-моему, уже достаточно. У нас, вы сегодня же убедитесь, их, скоморохов, у нас пруд пруди. Как вы оцениваете ваше общее состояние? Или вы считаете — серьезно — свой мозг неповрежденным?

Гуревич (пока зануда-доктор синематографически и дедуктивно пощелкивает пальцами по столу). А вы — свой?

Доктор (желчно). Я вас просил, больной, отвечать только на мои вопросы, на ваши я буду отвечать, когда вы вполне излечитесь. Так как же обстоит с вашим общим состоянием, на ваш взгляд?

Гуревич. ...Мне трудно сказать... Такое странное чувство... Ни-во-что-не-погруженность... ни-чем-не-взволнованность... ни-к-кому-не-расположенность... И как будто ты с кем-то помолвлен... а вот с кем, когда и зачем — уму непостижимо... Как будто ты оккупирован, и оккупирован-то по делу, в соответствии с договором о взаимопомощи и тесной дружбе, но все равно оккупирован... и такая... ничем-вроде-бы-не-потревоженность, но и ни-на-чем-не-распятость... ни-из-чего-неизблеванность. Короче, ощущаешь себя внутри благода-

ти — и все-таки *совсем не там*... ну... как во чреве мачехи... (Аплодисменты.)

Доктор. Вам кажется, больной, что вы выражаетесь неясно. Ошибаетесь. А это гаерство с вас посшибут. Я надеюсь, что вы, при всей вашей наклонности к цинизму и фанфаронству, — уважаете нашу медицину и в палатах не станете буйствовать.

Гуревич (чуть взглянув на Натали, оправляющую свой белый халатик).

Мой папа говорил когда-то: «Лев,
Ты подрастешь — и станешь бонвиваном!»
Я им не стал. От юности своей
Стяжал я навык: всем повиноваться,
Кто этого, конечно, стоит. Да,
Я родился в смирительной рубашке. —
А что касается...

Доктор (нахмурясь, прерывает его). Я, по-моему, уже не раз просил вас не паясничать. Вы не на сцене, а в приемном покое... Можно ведь говорить и людским языком, без этих... этих...

Зинаида Николаевна (подсказывает). Шекспировских ямбов...

Доктор. Вот-вот, без ямбов, у нас и без того много мороки...

Гуревич. Хорошо, я больше не буду... вы говорили о нашей медицине, чту ли я ее? Чту — слово слишком нудное, по правде, и... плоскоступное...

Но я — но я влюблен в нее — и это
Без всякого фиглярства и гримас. —

Во все ее подъемы и паденья,
Во все ее потуги врачеванья
И немощей телесных, и душевных,
В ее первéнство во Вселенной, в Разум
Немеркнущий, а — стало быть — и в очи,
И в хвост ее, и в гриву, и в уста,
И в...

В протяжение этой тирады Боренька Мордоворот тихонько, сзади, подходит к декламатору, ожидая знака, когда брать за загривок и волочь.

Доктор. Ну-ну-ну-ну, довольно, пациент. В дурдоме не умничают... Вы можете точно ответить, когда вас привозили сюда последний раз?

Гуревич. Конечно. Но только — видите ли? — я несколько иначе измеряю время. Само собой, не Фаренгейтами, не тумбочками, не Реомюрами. Но все-таки чуть-чуть иначе... Мне важно, например, какое расстояние отделяло этот день от осеннего равноденствия или... там... летнего солнцеворота... или еще какой-нибудь гадости. Направление ветров, например. Мы вот — большинство — не знаем даже, если ветер норд-ост, то куда он, собственно, дует: с северо-востока или на северо-восток, нам на все наплевать... А микенский царь Агамемнон — так он клал под жертвенный нож свою любимую, младшую дочурку, Ифигению, — и только затем, чтобы ветер был норд-ост, а не какой-нибудь другой...

Доктор (заметив взволнованность больного, дает знак всем остальным). Да... но вы отклонились от заданного вопроса, вас унесло норд-остом (Все смеются, кроме Натали.) — так когда же вас последний раз сюда доставляли?

Гуревич. Не помню... не помню точно... И даже ветров... Вот только помню: в тот день шейх Кувейта Абдаллах-ас-Салем-ас-Сабах утвердил новое правительство во главе с наследным принцем Сабах-ас-Салемом-ас-Сабахом... 84 дня от летнего солнцестояния... Да, да, чтоб уж совсем быть точным: в тот день случилось событие, которое врезалось в память миллионов: та самая пустая винная посуда, которая до того стоила 12 или 17 копеек — смотря, какая емкость, — так вот, в этот день она вся стала стоить 20.

Доктор (смиряя взглядом прыскающих дам). Так вы считаете, что в истории Советской России за минувшие пять лет не произошло события более знаменательного?

Гуревич. Да нет, пожалуй... Не припомню... Не было.

Доктор. Вот и память начинает вам изменять, и не только память. В прошлый раз вашим диагнозом было: граничащая с полиневритом острая алкогольная интоксикация... Теперь будет обстоять сложнее. С полгодика вам полежать придется...

Гуревич (вскакивая, и все остальные вскакивают). С полгодика?!

Боренька тренированными руками опускает Гуревича в кресло.

Доктор. А почему вы удивляетесь, больной? У вас прекрасный наличный синдром. Сказать вам по секрету, мы с недавнего времени приступили к госпитализации даже тех, у кого — на поверхностный взгляд — нет в наличии ни единого симптома психического расстройства. Но ведь мы не должны забывать о способностях этих больных к непроизвольной или хорошо обду-

манной диссимуляции. Эти люди, как правило, до конца своей жизни не совершают ни одного антисоциального поступка, ни одного преступного деяния, ни даже малейшего намека на нервную неуравновешенность. Но вот именно этим-то они и опасны и должны подлежать лечению. Хотя бы по причине их внутренней несклонности к социальной адаптации...

Гуревич (в восторге). Ну, здорово!..

Нет, я все-таки влюблен
И в поступь медицины, и в *триумпы*
Ее широкой поступи — плевок
В глаза всем изумленным континентам.
В самодостаточность ее и в нагловатость
И в хвост ее, опять же, и в...

Доктор (титулованный голос его переходит в вельможный). Об этих... ямбах мы, кажется, уже давно договорились с вами, больной. Я достаточно опытный человек, я вам обещаю: все это с вас сойдет после первой же недели наших процедур. А заодно и все ваши сарказмы. А недели через две вы будете говорить человеческим языком нормальные вещи. Вы — немножко поэт?

Гуревич. А у вас и от этого лечат?

Доктор. Ну, зачем же так?.. И под кого вы пишете? Кто ваш любимец?

Гуревич. Мартынов, конечно...

Зинаида Николаевна. Леонид Мартынов?

Гуревич. Да нет же, — Николай Мартынов... И Жорж Дантес.

Натали (пользуясь всеобщим оживлением). Так ты, Лева, теперь чешешь под Дантеса?

Гуревич. Нет-нет, прежде я писал в своей манере, но она выдохлась. Еще месяц тому назад я кропал по де-

сятку стихотворений в сутки — и, как правило, штук девять из них были незабываемыми, штук пять-шесть эпохальными, а два-три — бессмертными... А теперь — нет. Теперь я решил импровизировать под Николая Некрасова. Хотите про соцсоревнование?.. Или нельзя?

Доктор. Ну, почему же нельзя? Соцсоревнование — ведь это...

Гуревич. Я очень коротко. Семь мужиков сходятся и спорят: сколько можно выжать яиц из каждой курицы-несушки. Люди из райцентра и петухи, разумеется, ни о чем не подозревают. Кругом зеленая масса на силос, свиноматки, вымпела — и вот мужики заспорили:

Роман сказал: сто семьдесят,
Демьян сказал: сто восемьдесят,
Лука сказал: пятьсот.
Две тысячи сто семьдесят, —
Сказали братья Губины,
Иван и Митродор.
Старик Пахом потужился
И молвил, в землю глядючи:
Сто тридцать одна тысяча четыреста
четырнадцать.
А Пров сказал: мульён.

Может быть, продолжить?

Доктор (отмахиваясь). Нет-нет, не надо... Борис Анатольевич, Наталья Алексеевна, будьте добры, проводите больного до 4-й палаты. И немедленно в ванную. (Гуревичу.) До... водобоязни, надеюсь, у вас дело еще не дошло?

Гуревич. Не замечал. Если не считать, что с ванной у меня — куча самых кровавых ассоциаций. Вот тот са-

мый микенский царь Агамемнон, о котором я вам упоминал, — так вот, его, по возвращении из Пергама, в ванной зарубили тесаком. А великого трибуна революции Мара...

Зинаида Николаевна (не слушая его, обращаясь к доктору). А почему все-таки в 4-ю? Там одни вонючие охломоны... Там он зачахнет, и у него появятся суицидальные мысли. По-моему, лучше в 3-ю. Там Прохоров, Еремин, там его прищучат...

Доктор. «Суицидальные мысли», вы говорите... (к Гуревичу). Еще вам последний вопрос. Когда-нибудь, пусть даже в самой глубокой тайне, не являлось ли у вас мысли истребить себя... или кого-нибудь из своих ближних?.. Потому что 4-я палата это не 3-я, и нам приходится подчас держать ухо востро...

Гуревич. Положа руку на сердце, я уже отправил одного человека *туда* — мне было тогда лет... не помню, сколько лет, очень мало, но это все случилось дня за три до новолуния... так мне был тогда больше всего неприязнен мой плешивый дядюшка, поклонник Лазаря Кагановича, сальных анекдотов и куриного бульона. А мне мой белобрысый приятель Эдик притащил яду, он сказал, что яд безотказен и замедленного действия. Я влил все это дядюшке в куриный бульон — и что ж вы думаете? — ровно через 26 лет он издох в страшных мучениях...

Доктор. Мм-дда... Шут с ним, с вашим дядюшкой... А на себя самого — ни разу в жизни не было влечения наложить руки?..

Гуревич. Случалось, и только позавчера, во время Потопа...

Доктор. Всемирного?..

Гуревич. Ничуть не всемирного. Все началось с проливных дождей в Орехово-Зуеве... У нас в последнее время в России началась полоса странных, локальных катастроф: под Костромой, среди бела дня, взмывают к небесам грудные ребятишки, бульдозеры, и все такое. И никого не удивляют эти фигли-мигли. Примерно так же обстояло в Орехово-Зуеве: дожди хлестали семь дней и семь ночей, без продыха и без милосердия, земля земная исчезла вместе с небесами небесными...

Доктор. А какие черти занесли вас в Орехово-Зуево?! Татарина из московского хозмага?..

Гуревич.

О, грустно быть татарином — до гроба!
Пришлось подзарабатывать в глуши:
И конформистом, и нонконформистом,
И узурпатором. Антропофагом,
На должности японского шпиона
При институте Вечной Мерзлоты...

Короче, когда на город обрушилась стихия, при мне был челн и на нем двенадцать удалых гребцов-аборигенов. Кроме нас, никого и ничего не было над поверхностью волн... И вот — не помню, на какой день плавания и за сколько ночей до солнцеворота, — вода начала спадать, и показался из воды шпиль горкома комсомола... Мы причалили... Но потом — какое зрелище предстало нам: опустошение сердец, вопли изнутри сокрушенных зданий... Я решил покончить с собой, бросившись на горкомовский шпиль...

Доктор, охватив голову, даст понять Борису и Натали, чтоб больного поскорее отвели в палату.

Гуревич. Еще мгновение, ребята!.. И когда уже мое горло было над горкомовским острием, а горкомовское острие — под моим горлом, — вот тут-то один мой приятель-гребец, чтоб позабавить меня и отвлечь от душевной черноты, загадал мне загадку: «Два поросенка пробегают за час восемь верст. Сколько поросят пробегут за час одну версту?» Вот тут я понял, что теряю рассудок. И вот — я у вас. (*Приподымается с кресла, ему подчеркнуто учтиво помогает Мордоворот.*) И с того дня — мешанина в голове... нахт унд нэбель... все путается, теленки, поросенки, Мамаев курган, Малахов курган...

Натали. У тебя не кружится голова, Лев? Иди тихонько, тихонько. (*Натали ведет его под левую руку, Боренька под правую.*) Все сейчас пройдет, тебя уложат в постель.

Гуревич (*покорно идет*). Но все отчего-то мешается, путается, поросенки, курганы... Генри Форд и Эрнест Резерфорд... Рембрандт и Вилли Брандт...

Доктор (*вслед им*). В 3-ю палату. Глюкоза, пирацетам.

Гуревич (*удаляется с сопровождающими, и голос его все приглушеннее*). Эптон Синклер и Синклер Льюис, Синклер Льюис и Льюис Кэррол... Вера Марецкая и Майя Плисецкая... Жак Оффенбах и Людвиг Фейербах... (*уже едва слышно*)... Виктор Боков и Владимир Набоков... Энрико Карузо и Робинзон Крузо...

ЗАНАВЕС

Второй акт

Ему предшествуют до поднятия занавеса — пять минут тяжелой и нехорошей музыки. С поднятием занавеса зритель видит 3-ю палату, с зарешеченными окнами, и арочный вход в смежную, 2-ю палату. Чтобы избежать междупалатной диффузии, обмена информацией и пр. — арочный переход занят раскладушкою, на ней лежит Витя, с непомерным животом, который он, чему-то облизываясь, не перестает поглаживать, с улыбкой ужасающей и застенчивой. Строго диагонально, изогнув шею снизу-слева вверх-направо, по палате мечется просветленный Стасик. Иногда декламирует что-то, иногда застывает в неожиданной позе — с рукой, например, отдающей пионерский салют, — и тогда декламации прекращаются. Но никто не знает, на сколько. Сережа Клейнмихель, еще вполне юный, сидит на койке почти недвижимо, иногда сползая вниз, постоянно держится за сердце. В волосах и в лишайнике, со странным искривлением губ. На соседней койке Коля и кроткий старичок Вова держат друг друга за руку и покуда молчат. Коля то и дело пускает слюну, Вова ему ее утирает. Пока еще лежит, с головой накрытый простыней, в ожидании *трибунала*, комсорг палаты Пашка Еремин. На койке справа — Хохуля, не подымающий век, сексуальный мистик и сатанист. Но самое главное, конечно, — в центре: неутомимый староста 3-й палаты, самодержавный и прыщавый Прохоров и его оруженосец Алеха, по прозвищу Диссидент, — вершат (вернее, уже завершают) судебный процесс по делу контрадмирала Михалыча.

Прохоров. Если б ты, Михалыч, был просто змея — тогда еще ничего: ну, змея как змея. Но ты же черная мамба, есть такая южноафриканская змея — черная мамба! — от ее укуса человек издыхает за 30 секунд *до ее укуса*! На середку, падла!..

Толстый оруженосец Алеха полотенцем скручивает руки за спиной контр-адмиралу. Поверженный на колени, тот уже не рассчитывает ни на какие пощады.

Прохоров. Как тебе повезло, засранец, дослужиться до такого неслыханного звания: контр-адмирал КГБ? Может, ты все-таки боцман КГБ, а не контр-адмирал?

Алеха. Мичман он, мичман, я по харе вижу, что мичман!..

Прохоров. Так вот, мичман, мы тут с Алехой подсчитали все твои деяния. Было бы достаточно и одного... Первого сентября минувшего года ты сидел за баранкой южнокорейского лайнера?.. Результат налицо — Херсонес и Ковентри в руинах... Удивляет только изощренность этой акции: от всех его напалмов пострадали только старики, женщины и дети! А все остальные... — а все остальные — как будто этот хуй над ними и не пролетал!.. Так вот, боцман: к тебе вопиют седины всех этих старцев, слезы всех сирот, потроха всех вдов — к тебе вопиют! Алеха!

Алеха. Да, я тут.

Прохоров. Так скажи мне и всему русскому народу: когда этот душегуб был схвачен с поличным, за продажею на Преображенском рынке наших Курил?

Алеха. Позавчера.

Михалыч (мычит). Неправда это все, позавчера я был здесь, никуда из палаты не выходил, все свидетели, и медсестричка Люся кормила меня пшенной кашей с подливкой...

Прохоров. Это ничего не значит. Сумел же ты, говнюк, за день до этого, не выходя из палаты, осуществлять электронный шпионаж за бассейном Ледовитого Океана! Материалы предварительного следствия лгать не умеют. Сам посуди, сучонок, вообрази, что ты не адмирал, а страница сто семь материалов предварительного следствия, — мог бы ты солгать?

Михалыч. Ни... никогда.

Прохоров. Итак, мы в клубе знатоков: что? где? почем? Так почем нынче Курильские острова? Итуруп — за бутылку андроповки и в рассрочку? Кунашир — почти совсем за просто так... А может быть, эти дельцы от политики — за все это просто подкидывали тебе пиздянки?..

Михалыч напрасно пытается что-то в свое оправдание мычать.

Прохоров. Мало того, этот боцман имел намерение запродать ЦРУ карту питейных торговых точек Советского Союза. И попутно — нашу синеглазую сестру Белоруссию — расчленить и отдать на откуп диктатору Камеруна Мише Соколову...

Стасик (фланируя мимо, как обычно). Да. За такие вещи по таким головкам не гладют. Я предлагаю: снять с него штаны и пальнуть из мортиры...

Прохоров. Стоп. Я еще не все сказал. У этого псамичмана было еще вот какое намерение, поскольку продавать ему было уже нечего — он сумел за одну не-

делю пропить и ум, и честь, и совесть нашей эпохи, — он имел намерение сторговать за океан две единственные оставшиеся нам национальные жемчужины: наш балет и наш метрополитен. Все уже было приготовлено к сделке, но только вот этот наш двурушник немножко ошибся в своих клиентах с Манхеттена. Когда с одним из них он спустился в метрополитен, чтоб накинуть нужную цену, — этот бестолковый коммерсант-янки решил, что перед ним — балет. А когда тот привел его в балет... (Всеобщий гул осуждения). Гриша! Комсорг! (Комсорг Пашка Еремин откликается только тогда, когда его называют Гришей.) Сбрось с себя простыню, не бойсь, сегодня судят не тебя. Скажи свое слово, товарищ!..

Пашка Еремин. Да очень просто: почему этого удава наша Держава должна еще бесплатно лечить? *Его надо убивать вниз головой!..*

Коля. Да, так поступали восточные деспоты со всеми агарянами: они запрокидывали им головы и заливали глотку расплавленным свинцом... или холодным вермутом.

Стасик. Нет, лучше все-таки стрельнуть в него из арбалета...

Коля. Из аркебузы... с расстояния в два с половиной поприща...

Стасик. Да откуда мы здесь достанем аркебузу?.. А мортиру можно из чего-нибудь сплести. У медсестрички мыла можно выпросить хозяйственного и немножко аксельбантов...

Алеха. Ха-ха, ты еще позументов у нее попроси... По-моему, отдать этого изверга на съедение Витеньке!..

Возгласы одобрения. Все оборачиваются в сторону Вити. Однако Витя, не переставая улыбаться и поглаживать пузо, делает отвергающее движение розовой своей головою.

Прохоров. Молись, Михалыч! В последний раз молись, адмирал!

Михалыч (уронив голову до пределов, начинает быстро-быстро что-то бормотать, приблизительно такое). За Москву-мать не страшно умирать, Москва — всем столицам голова, в Кремле побывать — ума набрать, от ленинской науки крепнут разум и руки, СССР — всему миру пример, Москва — Родины украшение, врагам устрашение...

Прохоров. Так-так-так-так...

Михалыч (трясясь, продолжает, и все так же некстати). Кто в Москве не бывал — красоты не видал, за коммунистами пойдешь — дорогу в жизни найдешь. Советскому патриоту любой подвиг в охоту, идейная закалка бойцов рождает в бою молодцов...

Прохоров. Довольно, мичман!.. блестящий молитвослов... По-моему, никаких арбалетов не нужно, а просто растворить его в каком-нибудь химическом реактиве, чтоб он к вечеру состоял из одной протоплазмы... Только — для чего в нашем отделении лишняя протоплазма, от нее уже и так дышать нельзя. Лучше — под трибунал!.. Коля, утрите свои слюни. Как вы считаете, Коля, — много в нашем отделении протоплазмы?

Коля. Очень много... я уже не могу...

Прохоров. Ясно. Трибунал. Конечно, сейчас он жалок, этот антипартийный руководитель, этот антигосударственный деятель, *антинародный герой*, ветеран

трех контрреволюций, он беспомощен и сир, понятное дело, на скромные ассигнования ФБР долго не протянешь... Но все его бормотания и молитвы — это привычное кривляние наших извечных недругов. Это *извечное* кривляние наших привычных недругов. Это недружественная извечность наших кривляк. (Прохоров вдохновенно прохаживается.) Такие вот антикремлевские мечтатели рассчитывают на наше с вами снисхождение. Но мы живем в такие суровые времена, когда слова типа «снисхождение» разумнее употреблять пореже. Это только в военное время можно шутить со смертью, а в мирное время со смертью не шутют. Трибунал. Именем народа, боцман Михалыч, ядерный маньяк в буденовке и сторожевой пес Пентагона, приговаривается к пожизненному повешению. И к условному заточению во все крепости России — разом! (Почти всеобщие аплодисменты.) А пока — за неимением инвентаря — потуже прикрутите его к кровати. Пусть обдумает свое последнее слово.

Алеха и Пашка опрокидывают адмирала в постель и — простынями и полотенцами — прикручивают так, чтоб тот не мог шевельнуть ни одним своим суставом и членом.

Люси (врывается в палату, привлеченная кряхтением палачей и оглушительным рычанием жертвы). Что здесь происходит, мальчики?.. Оставьте его в покое... Что ни день у вас — то суд и расправа. Где тут лишняя койка? (Открывает шкаф и вынимает комплект чистого белья, бойко швыряет на порожний матрас.) Скоро — обход. Ти-ши-на!..

Алеха (тихо берет за плечи крохотулю Люси и, выпятив одновременно пузо и глаза-фурункулы, выделывает вокруг нее томные

танцевальные движения, а потом поет свою коронную, предварительно ударив себя в пузо и тряхнув головою).

Мне долго-долго будет сниться
Моя веселая больница,
А еще дольше будет сниться
Твоя шальная поясница.

Прохоров. Алеха! Припев!

Алеха.

Алеха жарит на гитаре,
Обязательно на рыженькой женюсь!
Ал-лех-ха жарит на гитаре,
Обязательно на рыженькой женюсь!
Пум! пум! пум! пум! (по животу)
Обязательно,
Обязательно
Я на рыженькой женюсь!
Пум! пум! пум! пум!
Отстегнула все застежки,
Распахнула все одежды,
И едва дыханье жизни
Из ноздрей не улетело.
В трюме мичман обоссался,
Боцман палубу грызет!
Хо-хо-хо-хо!

Прохоров. Припев, Алеха!

Алеха.

Аль-лехха жарит на гитаре,
Но у него не выйдет ничего!
Пум! пум! пум! пум!
Да ну и пусть он жарит на гитаре —
Ведь все равно не выйдет ничего!

А я... (осклабляясь) А я... —
Обязательно,
Обязательно...

Привычно фыркая, Люси ускользает к дверям. И наталкивается на входящего в палату Гуревича, в желтой робе, как у всех, и в мокрых волосах. На лице не заметно следов побоя — но общая побитость очень даже заметна, да и всем понятна: Боренька, санпропускник...

Люси. Ой, новенький... Ваша койка первая слева... стелите свою постельку, я могу вам помочь, если что не так...

Гуревич (яростно). Сам! *Сам*! Провались, девка!..

Люси исчезает. Пение на время прерывается. Гуревич комкает все белье и швыряет его в угол кровати, потом смотрит направо: розовый Витя с аппетитом смотрит на него, поглаживает живот все любовнее и облизываясь, иногда отворачиваясь в подушку, чтоб подавить в себе смешок, ему одному ведомый. Гуревич с полминуты его разглядывает, ему становится не совсем вмоготу, — он смотрит на соседа слева: оплетенный со всех сторон контр-адмирал все чаще что-то шепчет, с лицом скудеющим и окаянным. Над ним наклонен Стасик.

Стасик. Сейчас по всему миру все могильщики социализма — все исповедуются и причащаются... А ты почему, дедушка, не хочешь?..

Прохоров (подступая. Следом за ним — Алеха-Диссидент, как Елисей за Илиею. К Стасику). Цыц, моя радость! Дай потолковать с человеком...

Стасик. Нет-нет, ему нужна минута самоуглубления... Вы плохо знакомы с Востоком... Ты погружаешься в воды, ну... или тебя погружают, но ты

ощущаешь: канули в вечность те времена, когда тебя не существовало, — тебя омывают, следовательно ты есть... Когда купается наложница китайского императора в Бассейне Сплетающихся Орхидей — он так и называется: бассейн сплетающихся орхидей, — так в него добавляют 12 эссенций и 17 ароматов...

Коля (подступая сзади). ...Но кто после этого облекается в желтое одеяло, не зная истины и самоограничения, — тот не достоин желтого одеяла. Ты можешь мне разъяснить эту дхарму?!

Прохоров. Шел бы ты под хуй со своими дхармами!.. Человеку только что в ванной навешали пиздюлей! при чем тут дхармы? Продолжай, Стас...

Стасик. И вот я перехожу из ванной с орхидеями, минуя залы дхарм (взгляд в сторону паршивца Коли) — перехожу из бассейна в зал Благовоний, а из зала Благовоний — в зал Песнопений. Те, кто по пути мне встречаются, говорят мне: «Благословенный, не ходи в манговую рощу». А я иду, мне говорят три девушки, одна такая лунная-лунная, а другая — пасторальная вся, в венце из одуванчиков, конечно, а уж на третью я и не смотрю. Я разрываю все узы, постигаю все дхармы и не стремлюсь ни к одной из услад, я перешагиваю через третью, патетическую, даму — и ухожу из зала Песнопений — в манговую рощу. 80 тысяч гималайских слонов следуют за мною, они говорят мне о тщетности печали...

Прохоров. Ты знаешь чего, Стас, ты хоть на несколько минут — уябывай в свои манговые рощи, дай поговорить с евреем... Ты по какому делу и как звать?

Гуревич. Гуревич.

Прохоров. Я так и думал, что Гуревич. А — случайно — не по этому..? (Делает известный по горлу щелчок.)

Гуревич. Ну... в том числе...

Прохоров. Я так и думал. Евреи иногда очень даже любят выпить... в особенности за спиной арабских народов. Но не в этом дело. Как только появляется еврей — спокойствия как не бывало, и начинается гибельный *сужет*. Мне рассказывал мой покойный дед: у них в лесу водилось оленей видимо-невидимо. Как их там? косулей — невпроворот. И пруд был весь в лебедях белых, а на берегу пруда цвел рододендрон. И вот в деревню эту приехал лекарь, по имени Густав... Ну уж не знаю, насколько он был Густав, но жид — это точно. И что же из этого вышло? — не я рассказываю, рассказывает дед. До появления этого Густава — зайцев было столько в округе, что буквально спотыкаешься об них, по ним скользишь и падаешь... Так исчезли для начала все зайцы, потом косули — нет, он в них не стрелял, они пропали сами собой. (Алехе): Позови старичка Вову.

Вова подходит. Взглянув сначала на Витю, потом на контр-адмирала, подрагивая, ждет подвоха.

Прохоров. Вова, ты из деревни. Ты можешь представить себе, что ты на берегу пруда... произрастаешь... тебя зовут Рододендрон. А на той стороне пруда — жид, сидит и на тебя смотрит..?

Вова. Нет, я не могу себе представить... что вот расту и...

Прохоров. Ну, к чертям собачьим рододендрон. Вот, вообрази себе, Вова: ты — белая лебедь и сидишь на берегу пруда — а напротив тебя сидит жид и очень внимательно на тебя...

Вова. Нет, белой лебедью я тоже не могу, это мне трудно. Я могу... могу представить, что я стая белых лебедей...

Прохоров. Прекрасно, Вова, ты стая белых лебедей, на берегу пруда, — а напротив...

Вова. Ну, я, конечно, разлетаюсь... кто куда... страшно...

Прохоров. Алеха, уведи Вовочку... Вот видишь, Гуревич?

Гуревич (с трудом улыбается). Ну, ладно. (С тревогой взглядывает в сторону Вити, потом наблюдает, как сосед адмирал делает вздорные попытки вырваться из пут.) А этого за что?

Прохоров. Делириум тременс. Изменил Родине и помыслом и намерением. Короче, не пьет и не курит. Все бы ничего, но мы тут как-то стояли в туалете, зашла речь о спирте, о его жуткой калорийности, — так этот вот говноед ляпнул примерно такое: из всех поглощаемых нами продуктов спирт, при всей его высокой калорийности, — весьма примитивного химического строения и очень беден структурной информацией. Он еще и тогда поплатился за свои хамские эрудиции: я открыл форточку, втиснул его туда и свесил за ногу вниз — а этаж все-таки четвертый — и так держал, пока он не отрекся от своих еретических доктрин... Сегодня он, решением Бога и Народа, приговорен к вышке... Я не очень верю, что вначале было Слово, но хоть какое-то задрипанное — оно должно быть в конце, так что пусть этот пиздобол лежит и размышляет...

Гуревич. А скажи мне, Прохоров, тебя облекли полномочиями... э-э-э... в одной только этой палате или..?

Прохоров. Да конечно, нет! Все, что по ту сторону Вити (оба взглядывают туда, Гуревич отворачивается), — это все

мои подмандатные территории, но тебе повезло: завтрашний процесс будет внутрипалатным, да еще уголовным к тому же. *Гриша*!!! Сними с себя простыню! Это Пашка Еремин, комсорг, так вроде ничего, подонок как подонок, но дело серьезное — членовредительство в семействе Клейнмихель!

Сережа Клейнмихель (заслыша свою фамилию, встает и подползает в сторону Прохорова). Запишите: у мамы только одна нога осталась на месте... все другие были откручены, и руки тоже, все вместе лежали на буфете...

Гуревич. Так она не кричала, что ли?.. Ведь этого быть не может!..

Сережа. Так ведь как бы она кричала, если в это время крестная ушла за бубликами...

Гуревич. М-да-а... в самом деле... Крестная ушла за бубликами — какой смысл кричать?

Стасик (как всегда, проходя мимо). У всех у нас крестные за бубликами поразошлись: кричи-не кричи — ни до кого не докричишься...

Сережа. Да нет же... При чем тут бублики?.. Ну как вы не понимаете? Ведь он сначала оторвал ей голову, а уж потом...

Прохоров. До завтра, до завтра все это. До завтра, Сережа, уползи. Так вот, слушай меня, Гуревич; как видишь, у нас случаются мелкие бытовые несообразности. А так — у нас жить можно. Недели две-три тебя поколют, потом таблетки, потом пинка под жопу — и катись. У нас даже цветной телевизор есть. Кенар с канарейкой. Они только сегодня помалкивают — поскольку завтра Первомай. А так — поют. Витя решил их даже не трогать и на вкус не пробовать, — а это ли не высшая аттестация для вокалиста, а, Гуревич? А вон там, повы-

ше, с самого верху — попугай, родом, говорят, из Хиндустана... А может быть, и в самом деле из Хиндустана, наверняка оттуда, потому что молчит целые сутки. Молчит, молчит. Но как только пробьет шесть тридцать утра, — вот ты увидишь, — он начинает, не гнусаво, не металлично, а как-то еще в тыщу раз попугаёвее: «Влади-мир Сергеич!.. Влади-мир Сергеич! на работу — на работу — на работу — на хуй — на хуй — на хуй — на хуй!» А потом — потом чуток помолчит, для куражу, и снова: «Влади-мир Сергеич! Влади-мир Сергеич! На работу, на работу, (все учащеннее) на работу, на работу, на хуй, на хуй, на хуй, на хуй, на хуй...» И все это ровно в шесть тридцать, можно даже не справляться по курантам и рубиновым звездам... А вот от шашек и домино ничего не осталось — все слопал Витя, одну за другой. Чудом уцелела шесть-шесть, Хохуля спрятал ее под подушку и сам с собой играл в шесть-шесть, и всегда выигрывал. А дня через три — небывалое: из-под подушки исчезла шесть-шесть. Хохуля не знает, куда деваться от рыданий, Витя улыбается. Все кончается тем, что Хохуля впадает еще в какую-то прострацию, глохнет и становится сексуальным мистиком... А Витя тем временем берется за шахматы...

Гуревич рассматривает: на тумбочке в центре палаты лежит пустая шахматная доска, и на ней — белый ферзь.

Стасик (подскакивая). И ведь все умял! почему только жалеет до сих пор белую королеву? Он ведь у нас такой бедовый: и тайм-аут съел, и ферзевый гамбит, и сицилианскую защиту...

Прохоров. Вот что, Витя (присаживается к Вите на постель). Витя, ты скушал все настольные игры. Скажи мне, ты их скушал просто из нравственных соображений, да? Они показались тебе слишком азартными? Здесь со мной доктор из *центра* (показывает на Гуревича). О! Это *такой* доктор! (Палец вверх.) Он любопытствует: отчего ты так много кушаешь? Тебе не хватает фуражу-провианту?..

Витя (не выдерживает взгляда старосты, перестает гладить пузо, стыдливо прикрывается рукавом). Вкусно...

Прохоров. А белого ферзя почему пожалел? а?

Витя. Жалко... Он такой одинокий...

Прохоров. Понимаю... А скажи мне, Витенька, — тебе и во сне одна только жратва снится?..

Витя. Нет, нет... Царевна...

Прохоров. Царевна?.. Мертвая?

Витя. Да нет, живая царевна... И вся из себя такая и с голубым бантиком. Как Золушка... а вокруг нее все принц ходит... и все бьет ее по голове хрустальным башмачком...

Прохоров. А ты бы съел... этот хрустальный башмачок? (Показывает.) Чав-чав!

Стасик. Его не Витя надо называть. Его надо называть Нина. Нина Чав-чав-адзе...

Витя. А башмачок съел бы... чтоб он только ее не бил.

Гуревич. Ну, а если уж царевна мертвая, ну, то есть, он ее добил? До смерти. Ты съел бы мертвую царевну?

Витя (улыбается). Да...

Гуревич. А если бы семь богатырей при ней — то как же?

Витя. И семь богатырей бы тоже...

Гуревич. Ну, а тридцать три богатыря..?

Витя. Да... если бы медсестрички не торопили... конечно...

Гуревич. А... послушай-ка... А двадцать восемь героев-панфиловцев?

Витя (с тою же беззаботной и страшной улыбкой). Да... (мечтает).

Гуревич (упорно). А... Двадцать шесть бакинских комиссаров — неужели тоже?..

Прохоров (врывается в беседу). Ну, все: завтра мы тебе и комсорга Пашку. Какая тебе разница? От адмирала ты отказался — я тебя понимаю. Адмиралы — они хрустят на зубах, а вот настоящие комсорги — никогда не хрустят... Сережа! Клейнмихель! Подойди сюда... скажи... Замечал ли ты на лице преступника следы хоть малого раскаяния?

Сережа. Нет, не замечал... И мама моя покойная в тот день мне моргнула: понаблюдай, мол, за Пашкой — будет ли ему хоть немножко стыдно, что он со мной так поозоровал, — нет, ему не было стыдно, он весь вечер после того *водку пьянствовал* и *дисциплину хулиганил*... И запрещал мне *форточку проветривать*, чтоб в доме мамой не пахло...

Стасик (проходя мимо, как всегда). Приятно все-таки жить в эпоху всеобщего распада. Только одно нехорошо. Не надо было лишать человека лимфатических желез. То, что его лишили бубликов и соленых огурцов, — это еще ладно. И то, что лишили дынь, — чепуха, можно прожить и без дынь. И плебисцитов нам не надо. Но оставьте нам хотя бы наши лимфатические железы...

Покуда витийствовал Стасик, растворились обе двери 3-й палаты, и на пороге — медбрат Боренька и медсестра Тамарочка. Оба они не смотрят на больных, а *харкают* в них глазами. Оба понимают, что одним своим появлением вызывают во всех палатах мгновенное оцепенение и скорбь — которой много и без того.

Прохоров. Встать! Всем встать! Обход!

Все медленно встают, кроме Хохули, старичка Вовы и Гуревича.

Боря-Мордоворот (у него из-под халата — ухоженный шоколадный костюм и, поверх тугой сорочки, галстук на толстой шее. В этом обличии его редко кто видел: просто он сегодня дежурный постовой медбрат в Первомайскую ночь. Шутейно подступает к Стасику, который застыл в позе «с рукой под козырек»). Так тебе, блядина, значит, не хватает каких-то там желез?..

Тамара. Не бздюмо, парень, сейчас у тебя все железы будут на месте.

Боря, играя, молниеносно бьет Стасика в поддых, тот в корчах опускается на пол.

Тамара (указывая пальцем на Вову). А этот засратый сморчок — почему не встает, *вопреки приказу*?

Боря. А это мы спросим у него самого... Вовочка, есть какие жалобы?

Вова. Нет... на здоровье жалоб никаких... Только я домой очень хочу... Там сейчас медуницы цветут... конец апреля... Там у меня, как сойдешь с порога, целая поляна медуниц, от края до края, и пчелки уже над ними...

Боря (поправляя галстук). Нину... я житель городской, в гробу видал все твои медуницы. А какого они цвета, Вовочка?

Вова. Ну, как сказать?.. синенькие они, лазоревые... ну, как в конце апреля небо после заката...

Медбрат Боря под смех Тамарочки — ногтями впивается в кончик Вовиного носа и делает несколько вращательных движений. Вовин нос становится под цвет апрельской медуницы. Вова плачет.

Боря (продолжает обход). Как дышим, Хохуля? Минут через пять к тебе придет Игорь Львович, с веселым инструментом, придется немножко покорячиться... А тебе что, Коленька?

Коля. У меня жалоба. Я в этой палате уже который год. Потому что мне сказали, что я эстонец и что у меня голова болит... Но ведь я давно уже не эстонец, и голова давно перестала болеть, а меня все держат и держат...

Тамарочка (тем временем, привлеченная зрелищем справа: Сережа Клейнмихель, отвернувшись к окошку, тихонько молится). А! Ты опять за свое, припизднутый! (Раздувая сизые щеки, направляется к нему.) Сколько раз тебя можно учить! Сначала — к правому плечу, а уж потом — к левому. Вот, смотри! (Хватает его за шиворот и, сплюнув ему в лицо, вначале ударяет его кулаком по лбу, потом — с размаху — в правое плечо, потом в левое, потом под ребра.) Повторить еще раз? (Повторяет то же самое еще раз, только с большей мощью и веселым удальством.) Говно на лопате! еще раз увижу, что крестишься, — утоплю в помойном ведре!..

Боря. Да брось ты, Томочка, руки марать. Поди-ка лучше сюда. (Отшвырнув Колю, движется в сторону адмирала, Вити и Гуревича. За ним — свита: староста Прохоров, Алеха-Диссидент и Тамарочка.)

Прохоров. Товарищ контр-адмирал, как видите, не может стать перед вами во фрунт. Наказан за буйство и растленную агентурность. Вернее, за агентурную растленность и буйство.

Боря. Понятно, понятно... (Краем глаза скользнув по Гуревичу, вдумчиво грызущему ногти, — проходит к Вите. Витя, с розовой улыбкой, покоится в раскладушке, разбросанный как гран-пасьянс.)

Тамарочка. Здравствуй, Витенька, здравствуй, золотце... (Широкой ладонью, с маху, шлепает Витю по животу. У Вити исчезает улыбка.) Как обстоит дело с нашим пищеварением, Витюнчик?

Витя. Больно...

Боря (хохочет вместе с Тамарочкой). А остальным нашим уважаемым пациентам — разве не больно? Вот они почему-то хором запросились домой — а почему, Витюша? Очень просто: ты доставил им боль, ты лишил их интеллектуальных развлечений. Взгляни, какие у них у всех страдальческие хари. Так что вот: давай договоримся, сегодня же...

Тамарочка. ...сегодня же, когда пойдешь насчет посрать, — чтобы все настольные игры были на месте. Иначе — придется начинать вскрытие. А ты сам знаешь, голубок, что живых людей мы не вскрываем, а только трупы...

Прохоров между тем с тревогой следит за Алехой-Диссидентом. Но об этом чуть пониже.

Боря (расставив ноги в шоколадных штанах и скрестив руки, застывает над сидящим Гуревичем). Встать.

Тамарочка. А почему у этого жиденка до сих пор постель не убрата?..

Боря (все так же негромко). Встать. (Гуревич остается погруженным в себя самого. Всеобщая тишина.)

Боря (одним пальчиком приподымая подбородок Гуревича). *Встать!!!*

Гуревич тихонько подымается и — врасплох для всех — с коротким выкриком — вонзает кулак в челюсть Бореньки. Несколько секунд тишины, если не принимать в расчет Тамарочкина взвизга. Боренька, не изменившись ни в чем, хладнокровно, хватает Гуревича, подымает его в воздух и со всею силою обрушивает об пол. С таким расчетом, чтобы тот боком угодил о край железной кровати. Потом — два-три пинка в район печенки, просто из пижонства.

Боря (к Тамарочке). Больному приготовить сульфу, укол буду делать сам.

Прохоров. Что ж поделаешь, Борис... Новичок... Бред правдоискательства, чувство ложно понятой чести и прочие атавизмы...

Боря. А тебе бы лучше помолчать. Жопа.

Люди в белых халатах удаляются.

Прохоров. Алеха!

Алеха. Да, я тут.

Прохоров. Первую помощь всем пострадавшим от налета!.. Стасик, подымайся, ничего страшного, они упиздюхали. Ничего *экстра*ординарного. Все лучшее — еще впереди. Сначала — к Гуревичу...

Прохоров и Алеха, со слабой помощью Коли, втаскивают на кровать почти не дышащего Гуревича, накрывают его одеялами, обсаживают.

Прохоров. Всем хороши эти люди, евреи. Но только вот беда — *жить* они совсем не умеют. Ведь они его теперь вконец ухайдакают... это точно. (Шепотом.) Гу-ре-вич...

Гуревич (немного стонет и говорит трудно). Ничего... не ухайдакают... Я тоже... готовлю им... подарок...

Прохоров (в восторге от того, что Гуревич жив и мобилен). Первомайский подарок, это славно. Только ведь сначала *они* тебе его сделают, минут через пять... Рассмешить тебя, Гуревич, в ожидании маленькой пытки? За тебя расплатится мой верный наперсник, Алеха. Ты знаешь, как он стал диссидентом? Сейчас расскажу. Ты ведь знаешь: в каждом российском селении есть придурок... Какое же это русское селение, если в нем ни одного придурка? На это селение смотрят, как на какую-нибудь Британию, в которой до сих пор нет ни одной Конституции... Так вот: Алеха в Павлово-Посаде ходил в таких *задвинутых*. На вокзальной площади что-нибудь подметет, поможет погрузить... но была в нем пламенная страсть, и до сих пор осталась... Алеха ведь у нас исполин по части физиогномизма, — ему стоит только взглянуть на мордася — и он уже точно знал, где и в каком качестве служит вот этот ублюдок. Безошибочным раздражителем вот что для него было: отутюженность и *галстух*. И что он делал? — он ничего не делал, он незаметно приближался к своей жертве, сжимая ноздрю — издали — и — вот то, что надо, уже висит на галстуке. Весь город звал его диссидентом, их ошеломила безнаказанность и новизна борьбы против существующего порядка вещей и субординации... Два месяца назад его приволокли сюда.

Гуревич. Чудесно... Сколько я приглядывался к нации... чего она хочет... именно такие сейчас ей нужны... без всех остальных... она обойдется...

Прохоров. А четкость! четкость, Гуревич! Великий Леонардо, ходят слухи, был не дурак по части баллистики. Но что он против Алехи! Ал-ле-ха!

Алеха. Я все время тут.

Прохоров. Ну вот и отлично. А ты не находишь, Алеха, что твоя метода борьбы с мировым злом... ну, несколько неаппетитна, что ли... Мы все понимаем, дело в белых перчатках не делают... Но с чего ты решил, что коль уж перчатки не кровавые, так они непременно должны быть в говне, соплях или блевотине? Ты пореже читай левых... итальяшек всяких...

Алеха. Упаси Господь, я читаю только маршала Василевского... и то говорят, что маршал ошибался, что надо было идти не с востока на запад, а с запада на восток...

Прохоров (пробуя еще хоть чуть-чуть развеселить Гуревича перед пыткою). Современное диссидентство, в лице Алехи, упускает из виду то, что, во-первых, надо выдирать с корнем — а уж потом выдерется с тем же поганым корнем и все остальное, — надо менять наши улицы и площадя: ну, посудите сами, у них Мост Любовных Вздохов, переулок Святой Женевьевы, Бульвар Неясного Томления и все такое... а у нас — ну, перечислите улицы своей округи, — душа зачахнет. Для начала надо так: Столичная — посередке, конечно. Параллельно — Юбилейная, в бюстиках и тополях. Все пересекает и все затмевает Московская Особая. В испуге от ее красот от нее во все стороны разбегаются: Перцовая, Имбирная, Стрелецкая, Донская, Степная, Старорусская, Полын-

ная. Их, конечно, соединяют переулки: Десертные, Сухие, Полусухие, Сладкие, Полусладкие. И какие через все это переброшены мосты: Белый Крепкий, Розовый Крепленый — какая разница? — а у их подножия — отели: «Бенедиктин», «Шартрез» — высятся вдоль набережной — а под ними гуляют кавалеры и дамы, кавалеры будут смотреть на дам и на облака, а дамы — на облака и на кавалеров. А все вместе будут пускать пыль в глаза народам Европы. А в это время народы Европы, отряхнув пыль...

Снова распахиваются двери палаты. Старший врач больницы Игорь Львович Ранинсон. За ним — медбрат Боря, со шприцем в руке. Шприц никого не удивляет — все рассматривают диковинный чемодан в руках Ранинсона.

Боря. Вон туда (показывает Ранинсону в сторону Хохули. Ранинсон — непроницаем. Хохуля — тоже. Ранинсон, раскладывая свой ящик с электрошнурами, брезгливо осматривает пациента. Пациент Хохуля вообще не смотрит на доктора, у него своих мыслей довольно).

Боря (приближаясь к постели Гуревича). Ну-с... Прохоров, переверните больного, оголите ему ягодицу.

Гуревич. Я... сссам (со стоном переворачивается на живот, Алеха и Прохоров ему помогают).

Боря (без всякого злорадства, но и не без демонстрации всесилия, стоит с вертикально поднятым шприцем, чуть-чуть им попрыскивая. Потом наклоняется и всаживает укол). Накройте его.

Прохоров. Ему бы надо второе одеяло, температура подскочит за ночь выше сорока, я ведь знаю...

Боря. Никаких одеял. Не положено. А если будет слишком жарко — пусть гуляет, дышит... Если сумеет

шевельнуть хоть одной левой... Гуревич! Если ты вечером не загнешься от сульфазина, — прошу пожаловать ко мне на ужин. Вернее, на маевку. Слабость твоя, Наталья Алексеевна, сама будет стол сервировать... Ну, как?

Гуревич (с большим трудом). Я... буду...

Боря (хохочет, но совсем упускает из виду, что с одним пальцем на ноздре к нему приближается диссидент Алеха). А мы сегодня — гостеприимны... Я — в особенности. Угостим тебя по-свойски, инкрустируем тебя самоцветами...

Гуревич. Я же... я же... сказал, что буду... Приду...

Алеха, действительно со знанием дела, выстреливает правой ноздрей. Палата оглушается криком, никем в палате пока еще не слыханным: дело в том, что доктор Ранинсон сделал свое высоковольтное дело с бедолагой Хохулей.

Боря (хватая за горло диссидента Алеху). А с тобой — с тобой потом... Знаешь, что, Алешенька, — Игорь Львович здесь... Как только он уйдет — мы с тобой отсморкаемся, хорошо? (Носовым платком оттирает галстук.)

Ранинсон (проходя через палату с диавольским своим сундучком, озирает больных: на всех физиономиях, кроме прохоровской и Алехиной, лежит печать вечности — но вовсе не той Вечности, которой мы все ожидаем). С наступающим праздником международной солидарности трудящихся всех вас, товарищи больные. Пойдемте со мной, Борис Анатольевич, вы мне нужны. (Уходят.)

Прохоров (как только скрываются белые халаты, повисает на шее Алехи-Диссидента). Алеха! Да ты же — гиперборей! Алкивиад! смарагд! Да ты же Мюрат, на белом коне вступающий на Арбат! Ты Фарабундо Марти! Нет, рус-

ский народ не скудеет подвижниками, и никогда не оскудеет! Судите сами: не успел окочуриться яснополянский граф — пожалуйста, уже в пеленках лежит товарищ Коккинаки... и уже воскрылия у него за плечами! В 21-м году отдает концы Александр Блок, — ничего не поделаешь, все мы смертны, даже Блок, — и что же? Ровно через полтора года рождается Космодемьянская Зоя!.. Бессмертная!..

Гуревич (одобрительно приподымается на локте). Совершенно верно, староста.

Алеха (окрыленный). Надо было и в Игоря Львовича пальнуть чуток...

Прохоров. Ну ты, витязь, даешь..! Вот это было бы излишне... Не будем усложнять *сужет* происходящей драмы... мелкими побочными интригами... Правильно я говорю, Гуревич?.. Человечество больше не нуждается в дюдюктивностях, человечеству дурно от острых фабул...

Гуревич. Еще как дурно... Да еще — зачем затевать эти фабулы с *ними*? Ведь... их же, в сущности, нет... Мы же психи... а эти, фантасмагории в белом, являются нам временами... Тошнит, конечно, но что же делать? Ну, являются... ну, исчезают... ставят из себя полнокровных жизнелюбцев...

Прохоров. Верно, верно, и Боря с Тамарочкой хохочут и обжимаются, чтоб нас уверить в своей *всамделишности*... что они вовсе не наши химеры и бреды, — а взаправдашние...

Гуревич. Поди-ка ко мне. Прохоров... к вопросу о химерах... Вот это вот (показывая на укол) — это долго будет болеть?

Прохоров. Болеть? ха-ха. «Болеть» — не то слово. Начнется у тебя через час-полтора. А дня через три-че-

тыре ты, пожалуй, сможешь передвигать свои ножки. Ничего, Гуревич, рассосется. Я тебя развлеку, как сумею: буду петь тебе детские песенки товарища Раухвергера... или там Оскара Фельцмана, Френкеля, Льва Книппера и Даниила Покрасса... короче, все, что на слова Симеона Лазаревича Шульмана, Инны Гофф и Соломона Фогельсона...

Гуревич. Прохоров... умоляю...

Прохоров. И не умоляй, Гуревич... Мы с Алехой на руках оттащим тебя к цветному телевизору. Евгений Иосифович Габрилович, Алексей Яковлевич Каплер, Хейфиц и Ромм, Эрмлер, Столпер и Файнциммер. Суламифь Моисеевна Цыбульник. Одним словом, боли в тазобедренном суставе у тебя поубавятся. А если не поубавятся — к твоим услугам Волькенштейн, Кригер, Гребнер, Крепс — всем хорош парень, но зачем он начал работать в соавторстве с Гендельштейном?..

Гуревич. А скажи, Прохоров, есть какое-нибудь от этого укола «сульфы» в самом деле облегчающее средство? Кроме Файнциммера и Суламифи Моисеевны Цыбульник?

Прохоров. Ничего нет проще. Хороший стопарь водяры. А чистый спирт — и того лучше... (шепчет на ухо Гуревичу нечто).

Гуревич. И это — точно?

Прохоров. Во всяком случае, Натали сегодня заменяет и дежурную хозяйку. Все ключи у нее, Гуревич. Она их не доверяет даже своему бэль-ами, Бореньке-Мордовороту...

Гуревич (цепенеет, пробует встать). Вот оно что... (и снова цепенеет от такой неслыханности). У меня есть мысль.

Прохоров. Я догадываюсь, что это за мысль.

Гуревич. Нет-нет, гораздо дерзновеннее, чем ты думаешь... Я их *взорву* сегодня ночью!

За дверью голос медсестрички Люси: «Мальчики, на укольчики! Мальчики, в процедурный кабинет, на укольчики!» В 3-й палате никто не внемлет. Один только Гуревич делает пробные шаги.

Гуревич (еще шепчет что-то Прохорову. Потом):
Так я вернусь. Минут через пятнадцать,
Увенчанный или увечный. Все равно.
Прохоров. Браво! да ты поэт, Гуревич!
Гуревич.
Еще бы! пожелай удачи... Буду
Иль на щите и с фонарем под глазом
*фьо*летовым, но... но всего скорей,
И со щитом. И — и без фонарей.

ЗАНАВЕС

Третий акт

Лирическое интермеццо. Процедурный кабинет. Натали, сидя в пухлом кресле, кропает какие-то бумаги. В соседнем, аминазиновом, кабинете — его отделяет от процедурного какое-то подобие ширмы — молчаливая очередь за уколами. И голос оттуда — исключительно Тамарочкин. И голос — примерно такой: «Ну, сколько я давала тебе в жопу уколов! — а ты все дурак и дурак!.. Следующий!! Больно? Уж так я тебе и поверила! уж не пизди маманя!.. А ты — чего пристал ко мне со своим аспирином? Фон-барон какой! Аспирин ему понадобился! Тихонечко и так подохнешь! без всякого аспирина. Кому ты вообще нужен, разъебай?.. Следующий!..» Натали настолько с этим свыклась, что и не морщится, да и не слушает. Она вся в своих отчетных писульках. Стук в дверь.

Гуревич (устало). Натали?..

Натали.

Я так и знала, ты придешь, Гуревич.
Но — что с тобой?..

Гуревич.

Немножечко побит.
Но — снова Тасс у ног Элеоноры!..

Натали.

А почему хромает этот Тасс?

Гуревич.

Неужто непонятно?.. Твой болван
Мордоворот совсем и не забыл...
Как только ты вошла в покой приемный,
Я сразу ведь заметил, что он сразу
Заметил, что...

Натали.

Какой болван? Какой Мордоворот?
Причем тут Борька? Что тебе сказали?
Как много можно наплести придурку
Всего за два часа!.. Гуревич, милый,
Иди сюда, дурашка...

И наконец, объятие. С оглядкой на входную дверь.

Натали.

Ты сколько лет здесь не был, охломон?

Гуревич.

Ты знаешь ведь, как измеряют время
И я, и мне чумоподобные... (нежно)
Наталья...

Натали.

Ну, что, глупыш?.. Тебя и не узнать.
Сознайся, ты ведь пил по страшной силе...

Гуревич.

Да нет же... так... слегка... по временам...

Натали.

А ручки, Лева, отчего дрожат?

Гуревич.

О милая, как ты не понимаешь?!
Рука дрожит — и пусть ее дрожит.

При чем же здесь водяра? Дрожь в руках
Бывает от бездомности души
(тычет себя в грудь),
От вдохновенности, недоеданья, гнева,
От утомленья сердца, от предчувствий,
От гибельных страстей, *алканной* встречи
(Натали чуть улыбается)
И от любви к отчизне, наконец.
Да нет, не «наконец»! Всего важнее —
Присутствие такого божества,
Где ямочка, и бюст, и...

Натали (закрывает ему рот ладошкой). Ну, понес, балаболка, понес... Дай-ка лучше я тебе немножко глюкозы волью... Ты же весь иссох, почернел...

Гуревич. Не по тебе ли, Натали?

Натали. Ха-ха! Так я тебе и поверила. (Встает, из правого кармана халатика достает связку ключей, открывает шкап. Долго возится с ампулами, пробирками, шприцами. Гуревич, кусая ногти, по обыкновению, не отрывает взгляда ни от ключей, ни от колдовских телодвижений Натали.)

Гуревич. Вот пишут: у маленькой морской амфиоды глаза занимают почти одну треть всего ее тела. У тебя примерно то же самое... Но две остальные трети меня сегодня почему-то больше треволнуют. Да еще эта победоносная заколка в волосах.

Ты — чистая, как прибыль. Как роса
На лепестках чего-то там такого.
Как...

Натали. Помолчал бы уж... (подходит к нему со шприцем). Не бойся, Лев, я сделаю совсем-совсем не больно, ты даже не заметишь.

Начинает процедуру, глюкоза потихоньку вливается. Она и он смотрят друг на дружку.

Голос Тамарочки (по ту сторону ширмы). Ну чего, чего ты орешь, как резаный? Перед тобой колола человека, — так ему хоть бы хуй по деревне... Следующий! Чего-чего? Какую еще наволочку сменить? Заебешься пыль глотать, братишка... Ты! хуй неумытый! Видел у пищеблока кучу отходов? так вот завтра мы таких умников, как ты, закопаем туда и вывезем на грузовиках... Следующий!

Натали. Ты о чем задумался, Гуревич? Ты ее не слушай, ты смотри на меня.

Гуревич. Так я так и делаю. Только я подумал: как все-таки стремглав мельчает человечество. От блистательной царицы Тамар — до этой вот Тамарочки. От Франсиско Гойи — до его соплеменника и тезки генерала Франко. От Гая Юлия Цезаря — к Цезарю Кюи, а от него уж совсем — к Цезарю Солодарю. От гуманиста Короленко — до прокурора Крыленко. Да и что Короленко? — если от Иммануила Канта — до «Слепого музыканта». А от Витуса Беринга — к Герману Герингу. А от псалмопевца Давида — к Давиду Тухманову. А от...

Натали (на ту же иглу накручивает какую-то новую хреновину и продолжает вливать еще что-то). А ты-то, Лев, ты — лучше прежних Львов? Как ты считаешь?..

Гуревич. Не лучше, но *иначе* прежних Львов. Со мной была история — вот какая: мы, ну чуть-чуть подвыпивши, стояли на морозе и ожидали — Бог весть, чего мы ожидали, да и не в этом дело. Главное: у всех троих моих случайных друзей струился пар изо рта — да еще

бы, при таком-то морозе! А у меня вот — нет. И они это заметили. Они спросили: «Почему такой мороз, а у тебя пар не идет ниоткуда? Ну-ка, еще раз выдохни!» Я выдохнул — опять никакого пару. Все трое сказали: «Тут что-то не то, надо сообщить куда следует».

Натали (прыскает). И сообщили?

Гуревич. Еще как сообщили. Меня тут же вызвали в какой-то здравпункт или диспансер. И задали только один вопрос: «По какой причине у вас пар?» Я им говорю: «Да ведь как раз пара-то у меня и нет». А они: «Нет-нет. Отвечайте на вопрос: на каком основании у вас пар..?» Если б такой вопрос задали, допустим, Рене Декарту, он просто бы обрушился в русские сугробы и ничего не сказал бы. А я — сказал: «Отвезите меня в 126-е отделение милиции. У меня есть кое-что сообщить им о Корнелии Сулле». И меня повезли...

Натали. Ты прямо так и брякнул про Суллу? И они чего-нибудь поняли?..

Гуревич. Ничего не поняли, но привезли в 126-е. Спросили: «Вы Гуревич?» — «Да, — говорю, — Гуревич.

Я здесь по подозренью в суперменстве.
Вы правы до каких-то степеней:
Да, да. Сверхчеловек я, и ничто
Сверхчеловеческое мне не чуждо.
Как Бонапарт, я не умею плавать,
Я не расчесываюсь, как Бетховен,
И языков не знаю, как Чапай.
Я малопродуктивен, как Веспуччи
Или Коперник: сорок—сорок восемь
Страниц за весь свой агромадный век.

Я, как святой Антоний Падуанский,
По месяцам не мою ног. И не стригу
Ногтей, как Гельдерлин, поэт германский.
По нескольку недель — да нет же — лет
Рубашек не меняю, как вот эта
Эрцгерцогиня Изабелла, мать ети,
Жена Альбрехта А́встрийского. Но
Она то совершала по обету:
До полного Ост-Индского триумфа.
И я не стану переодеваться
И тоже по обету: не напялю
Ни рубашонки до тех пор, пока
Последний антибольшевик на Запад
Не умыльнет и не очистит воздух!
Итак, сродни я всем великим. Но,
В отличье от Филиппа номер два
Гишпанского, — чесоткой не владею.
Да, это правда. (Со вздохом.) Но имею вшей,
Которыми в достатке оделен был
Корнелий Сулла, повелитель Рима.
Могу я быть свободен?..»

«Можете, — мне сказали, — конечно, можете. Сейчас мы вас отвезем домой на собственной машине...» И привезли сюда.

Натали. А как же шпиль горкома комсомола?

Гуревич. Ну... это я для отвода глаз... и чтобы тебе там, в приемной, не было так грустно.

Натали. Слушай, Лев, ты выпить немножко хочешь? Только — тссс!

Гуревич.

О Натали! Всем существом взыскую!
Для воскрешенья. Не для куражу.

Пока Натали что-то наливает и разбавляет водой из-под крана, из-за ширмы продолжается: «Перебзди, приятель, ничего страшного!.. Будь мужчиной, пиздюк малосольный!.. Следующий!.. А штанов-то, штанов сколько на себя нацепил! ведь все мудя сопреют и отвалятся!.. Давай-давай! А ты — отъебись, не мешай работать... Следующий... Ничего, старина, у тебя все идет на поправку, походишь вот так, враскорячку, еще недельки две и — хуй на ны! — от нас до морга всего триста метров!.. Следующий!..» Натали подносит стакан. Гуревич медленно тянет — потом благодарно приникает губами к руке Натали.

Гуревич.
Она имеет грубую психею.
Так Гераклит Эфесский говорил.

Натали. Это ты о ком?

Гуревич. Да я все об этой Тамарочке, сестре милосердия. Ты заметила, как дурнеют в русском народе нравственные принси́пы? Даже в прибаутках. Прежде, когда посреди разговора наступала внезапная тишина, — русский мужик говорил обычно: «Тихий ангел пролетел»... А теперь, в этом же случае: «Где-то милиционер издох!..» «Гром не прогремит — мужик не перекрестится», вот как было раньше. А сейчас: «Пока жареный петух в жопу не клюнет...» Или помнишь? — «Любви все возрасты покорны». А теперь всего-навсего: «Хуй ровесников не ищет». Хо-хо. Или, вот еще: ведь как было трогательно: «Для милого семь верст — не околица». А слушай, как теперь: «Для бешеного кобеля — сто кило́метров не крюк». (Натали смеется.) А это вот — еще чище. Старая русская пословица: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться» — она преобразилась вот каким манером: «Не ссы в компот — там повар ноги моет».

Натали смеется уже так, что раздвигается ширма и сквозь нее просовывается физиономия сестры милосердия Тамарочки.

Тамарочка. Ого! Что ни день, то новый кавалер у Натальи Алексеевны! А сегодня — краше всех прежних. И жидяра, и псих — два угодья в нем.

Натали (смиряя бунтующего Гуревича, — строго к Тамарочке). После смены, Тамара Макаровна, мы с вами побеседуем. А сейчас у меня дела...

Тамарочка скрывается, и там возобновляется все прежнее: «Как же! Снотворного ему подай — получишь ты от хуя уши... Перестань дрожать! и попробуй только пискни, разъебай!..» И пр.

Натали. Лева, милый, успокойся (целует его, целует) — еще не то будет, вот увидишь. И все равно не надо бесноваться. Здесь, в этом доме, пациенты, а их все-таки большинство, не имеют права оскорблением отвечать на оскорбление. И уж — Боже упаси — ударом на удар. Здесь даже плакать нельзя, ты знаешь? Заколют, задушат нейролептиками, за один только плач... Тебе приходилось, Лев, хоть когда-нибудь поплакать?

Гуревич. Хо! Бывало время — я этим зарабатывал на жизнь.

Натали. Слезами зарабатывал на жизнь? Ничего не понимаю.

Гуревич. А очень даже просто. В студенческие годы, например... — ох, не могу, опять приступаю к ямбам.

Ты знаешь, Натали, как я ревел?
Совсем ни от чего. А по заказу.
Все вызнали, что *это* я могу.
Мне скажут, например: «Реви, Гуревич! —
Среди вакхических и прочих дел:

Реви, Гуревич, в тридцать три ручья».
И я реву. А за ручей — полтинник.
И ты — ты понимаешь, Натали? —
В любой момент! По всякому заказу!
И слезы — подлинные! И с надрывом.
Я, громкий отрок, не подозревал,
Что есть людское, жидовско́е горе.
И горе титаническое. Так что
Об остальных слезах — не говорю...

Натали. И знаешь, что еще, Гуревич: пятистопными ямбами говорить избегай — с врачами особенно — сочтут за издевательство над ними. Начнут лечение сульфазином или чем-нибудь еще похлеще... Ну, пожалуйста... ради меня... не надо...

Гуревич. Боже! Так зачем же я здесь?! — вот я чего не понимаю. Да и остальные пациенты — тоже — зачем?

Они же все нормальны, ваши люди,
Головоногие моллюски, дети,
Они чуточек впали в забытье.
Никто из них себя не вображает.
Ни лампочкой в сто ватт, ни тротуаром,
Ни оттепелью в первых числах марта,
Ни муэдзином, ни Пизанской башней
И ни поправкой Джексона-Фульбрайта
К решениям Конгресса. И ни даже
Кометой Швассман-Вахмана-один.
Зачем *я* здесь, коли здоров, как бык?

Натали.

Послушай-ка, Фульбрайт, ты жив пока,
Пока что не болеешь, — а потом?.. —
Чего ж тут непонятного, Гуревич?

Бациллы, вирусы — все на тебя глядят
И, морщась, отворачиваются.

Гуревич. Браво.

Полна чудес могучая природа,
Как говорил товарищ Берендей.

Но только я отлично обошелся бы и без вас. Кроме тебя, конечно, Натали. Ведь посуди сама: я сам себе роскошный лазарет, я сам себе — укол пирацетама в попу. Я сам себе — легавый, да и свисток в зубах его — я тоже. Я и пожар, но я же и брандмейстер.

Натали. Гуревич, милый, ты все-таки немножко опустился...

Гуревич. Что это значит? Ну, допустим. Но в сравнении с тем, сколько я прожил и сколько *протек*, — как мало я опустился! Наша великая национальная река Волга течет 3700 километров, чтоб опуститься при этом всего на 221 метр. Брокгауз. Я — весь в нее. Только я немножко недоглядел — и невзначай испепелил в себе кучу разных разностей. А вовсе не опустился. Каждое тело, даже небесное тело (значительно оглядывает всю Натали) — так вот, даже небесное тело имеет свои собственные вихри. Рене Декарт. А я — сколько я истребил в себе собственных вихрей, сколько чистых и кротких порывов? Сколько сжег в себе орлеанских дев, сколько попридушил бледнеющих Дездéмон?! А сколько утопил в себе Муму и Чапаёв!..

Натали.

Какой ты экстренный, однако, баламут!

Гуревич. Не экстренный. Я просто — интенсивный.

И я сегодня... да *почти сейчас*...
Не опускаться — падать начинаю.

Я нынче ночью разорву в клочки
Трагедию, где под запретом ямбы.
Короче, я взрываю этот *дом*!

Тем более — я ведь совсем и забыл — сегодня же ночь с 30 апреля на 1 мая. Ночь Вальпургии, сестры Святого Ведекинда. А эта ночь, с конца восьмого века начиная, всегда знаменовалась чем-нибудь устрашающим и чудодейственным. И с участием Сатаны. Не знаю, состоится ли сегодня шабаш, но что-нибудь да состоится!..

Натали. Ты уж, Левушка, меня не пугай — мне сегодня дежурить всю ночь.

Гуревич. С любезным другом Боренькой на пару? С Мордоворотом?

Натали.

Да, представь себе.
С любезным другом. И с чистейшим
спиртом.
И с тортами — я делала сама, —
И с песнями Иосифа Кобзона.
Вот так-то вот, экс-миленький экс-мой!

Гуревич. Не помню точно, в какой державе, Натали, за такие шуточки даму бьют по заду букетом голубых левкоев... Но я, если хочешь, лучше тебя воспою — в манере Николая Некрасова, конечно.

Натали. Давай, воспевай, глупыш.

Гуревич. Под Николая Некрасова!

Роман сказал: глазастая!
Демьян сказал: сисястая!
Лука сказал: сойдет.
И попочка добротная, —

Сказали братья Губины
Иван и Митродор.
Старик Пахом потужился
И молвил, в землю глядючи:
Далась вам эта попочка!
Была б душа хорошая.
А Пров сказал: Хо-хо!

Натали аплодирует.

Гуревич. А, между прочим, ты знаешь, Натали, каким веселым и точным образом определял Некрасов степень привлекательности русской бабы? Вот как он определял: количеством тех, которые не прочь бы ее ущипнуть. А я бы сейчас тебя — так охотно ущипнул бы...

Натали. Ну, так и ущипни, пожалуйста. Только не говори пошлостей. И тихонечко, дурачок.

Гуревич. Какие ж это пошлости? Когда человек хочет убедиться, что он уже не спит, а проснулся, — он, пошляк, должен ущипнуть...

Натали. Конечно, должен ущипнуть. Но ведь себя. А не стоящую вплотную даму...

Гуревич. Какая разница?.. Ах, ты стоишь вплотную... Мучительница Натали... Когда ты, просто так, зыблешь талией, — я не могу, мне хочется так охватить тебя сзади, чтоб у тебя спереди посыпались искры...

Натали. Фи, балбес. Так возьми — и охвати!..

Гуревич (так и делает. Натали с запрокинутой головой. Нескончаемое лобзание). О Натали! Дай дух перевести!.. Я очень даже помню — три года назад ты была в таком актуальном платьице... И зачем только меня поперло в

эти Куэнь-Луни?.. Я стал философом. Я вообразил, что черная похоть перестала быть, наконец, моей жизненной доминантою... Теперь я знаю доподлинно: нет черной похоти! нет черного греха! Один только жребий человеческий бывает черен!

Натали. Почему это, Гуревич, ты так много пьешь, а все-все знаешь?..

Гуревич. Натали!..

Натали. Я слушаю тебя, дурашка... Ну, что тебе еще, несмышленыш?..

Гуревич. Натали...

Неистово ее обнимает и впивается в нее. Тем временем руки его — от страстей, разумеется, — конвульсивно блуждают по Натальиным бедрам и лонным сочленениям. Зрителю видно, как связка ключей с желтою цепочкою переходит из кармашка белого халатика Натали в больничную робу Гуревича. А поцелуй все длится.

Натали (чуть позже). Я по тебе соскучилась, Гуревич... (Лукаво): А как твоя Люси?

Гуревич. Я от нее убег, Наталья. И что такое, в сущности, — Люси? Я говорил ей: «Не родись сварливой». Она мне: «Проваливай, несчастный триумвир!» Почему «триумвир», до сих пор не знаю. А потом, уже мне вдогонку и вслед: «Поганым будет твой конец, Гуревич! сопьешься с круга, как Коллонтай в Стокгольме! Умрешь под забором, как Клим Ворошилов!»

Натали (смеется). А что сначала?

Гуревич.

Ну, что сначала? И не вспоминай.
О Натали! она меня дразнила.
Я с неохотой на нее возлег.

Так на осеннее и скошенное поле
Ложится луч прохладного светила.
Так на тяжелое раздумие чело
Ложится. Тьфу! — раздумье на чело...
Брось о Люси... Так, говоришь — скучала?
А речь об этой шлюшке завела,
Чтоб легализовать Мордоворота?

Натали.

Опять! Ну, как тебе не стыдно, Лев?

Гуревич.

Нет, я начитанный, ты в этом убедилась.
Так вот, сегодня, первомайской ночью
Я к вам зайду... грамм двести пропустить...
Не дуриком. И не без приглашенья:
Твой Боренька меня позвал, и я
Сказал, что буду. Головой кивнул.

Натали.

Но ты ведь — представляешь?!

Гуревич.

Представляю.
Нашел с кем дон-хуанствовать, стервец!
Мордоворот и ты — невыносимо.
О, этот боров нынче же, к рассвету,
Услышит Командоровы шаги!..

Натали.

Гуревич, милый, ты с ума сошел...

Гуревич.

Пока — нисколько. Впрочем, как ты хочешь:
Как небосклон, я буду меркнуть, меркнуть,
Коль ты попросишь... (подумав)
Если и попросишь —
Я буду пламенеть, как небосклон!

Пока что я с ума еще не сбрендил, —
А в пятом акте — *будем посмотреть...*
Наталья, милая...

Натали.
Что, дуралей?

Гуревич.
Будь на тебе хоть сорок тысяч платьев,
Будь только крестик промежду грудей
И больше ничего, — я все равно...

Натали (в который уже раз ладошкой зажимает ему рот. Нежно). А! ты и это помнишь, противный!..

Кто-то прокашливается за дверью.

Гуревич. Антильская жемчужина... Королева обеих Сицилий... Неужто тебе приходится спать на этом дырявом диванчике?..

Натали. Что ж делать, Лев? Если уж ночное дежурство...

Гуревич.
И ты... ты спишь на этой вот тахте!
Ты, Натали! Которую с тахты
На музыку переложить бы надо!..

Натали.
Застрекотал, опять застрекотал...

За дверью снова покашливание.

Гуревич. «Самцы большинства прямокрылых способны стрекотать, тогда как самки лишены этой способности». Учебник общей энтомологии. (Снова тянутся друг к другу.)

Прохоров (показывается в дверях с ведром и шваброю). Все процедуры... процеду-уры... (Обменивается взглядом с Гуревичем. Во взгляде у Прохорова: «Ну, как?» У Гуревича: «Все путем».) Наталья Алексеевна, наш новый пациент, вопреки всему, крепчает час от часу. А я только что проходил — у дверей хозотдела линолеум у нас запущен — спасу нет. А новичок... Ну, чтоб не забывался, куда попал, — пусть там повкалывает с полчаса. А я — пронаблюдаю...

Гуревич. Ну, что ж... (В последний раз взглянув на Натали, с ведром и шваброю удаляется, стратегически покусывая губы.)

Прохоров.

Все честь по чести. Я на то поставлен.
Ты, Алексевна, опекай его.
Он — с припиздью. Но это ничего.

ЗАНАВЕС

Четвертый акт

Снова третья палата, но слишком слабо заселена: одни еще не вернулись с ужина, другие — с аминазиновых уколов. Комсорг Пашка Еремин все под той же простыней, в ожидании все того же трибунала. Старик Хохуля после электрошока недвижим, и мало кого занимает, дышит он или уже нет. Витя спит, контр-адмирал тоже. Стасик онемел посреди палаты с выброшенной в эсэсовском приветствии рукой. Тишина. Говорит только дедушка Вова с пунцовым кончиком носа.

Вова. Фу ты, а в деревне-то как сейчас славно! Утром, как просыпаешься... первым делом снимаешь с себя сапоги, солнышко заглядывает в твои глаза, а ты ему в глаза не заглядываешь... стыдно... и выходишь на крыльцо. А птички-пташки-соловушки так и заливаются: фирли-тю-тю-фирли, чик-чирик, ку-ку, кукареку, кудах-тах-тах. Рай поднебесный. И вот, надеваешь телогрейку, берешь с собой документы, и вот так, в чем мать родила, идешь в степь, стрелять окуней... Идешь убогий, босой и с волосами. А без волос нельзя, с волосами думать легче... И когда идешь — целуешь все одуванчики, что тебе попадаются на пути. А одуванчики целуют тебя в расстегнутую гимнастерку, такую выцветшую, видавшую виды, прошедшую с тобой от Эльбы до Техаса...

В палату тихо-тихо заходят, взявшись за руки, Сережа Клейнмихель и Коля. Потирают на попах свои уколы, обсаживают Вову, слушают.

Вова. И вот так идешь... ветры дуют поперек... Сверху — голубо, снизу — майские росы-изумруды... А впереди — что-то черненькое белеется... Думаешь: может, просто куст боярышника?.. да нет. Может быть, армянин?.. Да нет, откуда в хвощах может появиться армянин? А ведь это, оказывается, мой внучок, Сергунчик, ему еще только четыре годика, волосики на спине только начали расти, — а он уже все различает; каждую травинку от каждой былинки, и каждую пичужку изучает по внутренностям...

Коля. А я вот ничего не сумею отличить. Я все время в палате. Липу от клена я еще смогу отличить. А вот уж клен от липы...

Стасик (снова дует по палате из угла в угол). Да! ничего на свете нету важнее спасения *дерев*! Придет оккупант — а где наша интимная защита? интимная защита ученого партизана? А в чем она заключается? — а вот в чем: ученый партизан посиживает и похаживает, покуривает и посвистывает. И наводит ужас на прекрасную Клару!

Вова. А мой сосед Николай Семенович...

Стасик (неудержимо). Господь создал свет, да, да! А твой Николай Семеныч отделил свет от тьмы. А вот уж тьму никто не может отделить ни от чего другого. И потому нам не дают ничего подлинного и интимного! перловой каши, например, с творогом, с изюмом, с гавайским ромом...

Коля. И с вермутом...

Стасик. Нет, без вермута. При чем здесь вермут?! И до каких пор меня будут прерывать? делать торными

тропы нечестивых? Когда, наконец, закончится сползание к ядерной катастрофе? Почему Божество медлит с воздаянием? И вообще — когда эти поляки перестанут нам мозги ебать?! Ведь жизнь и без того — так коротка...

Вова. А ты посади, Стас, какой-нибудь цветочек, легче будет...

Стасик. Хо-хо! нашел кому советовать! Да ты поди, взгляни в мою оранжерею. Жизнь коротка, — а как посмотришь на мою оранжерею — так она будет у тебя еще короче, твоя жизнь! Твои былинки и лютики — ну их, они повсюду. А у меня вот что есть — сам вывел этот сорт и наблюдал за прозябанием. Называется он: «Пузанчик-самовздутыш-дармоед» с вогнутыми листьями. И ведь как цветет! — хоть стреляй в воздух из револьвера. Так цветет — что хоть стреляй из револьвера в первого проходящего!.. А еще — а еще, если хотите, «Стервоза неизгладимая» — это потому, что с началом цветения ходит во всем исподнем! «Лахудра пригожая вдумчивая» — лучшие ее махровые сорта: «Мама, я больше не могу», «Сихотэ-Алинь» и «Фу-ты ну-ты». «Обормотик желтый!» «Нытик двухлетний!» Это уже для тех, кого выносят ногами вперед. «Мымра краснознаменная!» «Чапай лохматый!» «Хуеплетик недолговечный!» Все, что душе угодно...

Вова. И все это ты имел в своем саду, браток?

Стасик. Как то есть имел? До сих пор имею! Что, Вова, нужно тебе для твоих панталон?..

Вова. Нету у меня панталон...

Стасик. Ну, нет, так будут... И ты, конечно, захочешь оторочить верх панталон чем-нибудь багряным. Приходи в мой сад — и все твое. «Презумпция жеманная», она

же «Зиночка сдобная пальпированная» — да и как Зиночке не быть пальпированной, если она такая сдобная! «Мудозвончики смекалистые!» «ОБЭХАЭС ненаглядный!» «Гольфштрим чечено-ингушский!» «Пленум придурковатый!» — его так назвали за его дымчатые вуали, невзначай и совсем не остроумно. «Дважды орденоносная игуменья незамысловатая», лучшие ее разновидности: «Капельмейстер Штуцман», «Ухо-горло-нос», «Неувядаемая Розмари» и «Зацелуй меня до смерти». «Генсек бульбоносный!», пурпуровидные его сорта зовутся по-всякому: «Любовь не умеет шутить», «Гром победы, раздавайся», «Крейсер Варяг» и «Сиськи набок». А если...

Вова. А синенькие у тебя есть? Я, если выйду в поле по росе, по большим праздникам, — все смотрю: нет ли синеньких...

Стасик. Ну, как не быть синеньким! Чтоб у меня — да не было синеньких! Вот — носопырочки одухотворенные, носопырочки расквашенные, синекудрые слюнявчики «Гутен-морген»! «Занзибар опизденевший» — выбирай сорта: «Лосиноостровская», «Яуза», «Северянин», «Иней серебристый», «Хау-ду-ю-ду», «Уйди без слез и навсегда»...

Стасик, на словах «без слез и навсегда», снова деревенеет у окна палаты, с выкинутым вертикально вверх кулаком «Рот Фронт».

Вова. Д-даа... хорошие цветочки... А я ведь помню тяжелые времена... когда все цветочки исчезли из помину... и плохие и хорошие... кругом нашей деревни одни только эскарпы и янычары, траншеи, каски, руки, ноги — над Москвой только царь-пушки греме-

ли, и царь-колокола... Но встал генерал армии Андрей Власов, а за ним диктор всесоюзного радио Юрий Левитан, — и они вдвоем отогнали от столицы полчища озверелых заокеанских орд. И снова расцвели медуницы...

Все глядят на Вовин носик. У Коли опять чего-то текет, Вова бережно утирает. Почти никто не замечает, как староста Прохоров то вторгается в помещение, взглядывает на часы — ему одному во всей палате дозволено носить часы, — то снова исчезает из помещения. Музыка при этом — тревожнее всех тревожных.

Коля. Так ведь и осенью в деревне хорошо... Ведь правда, Вова?

Вова. Осенью немножко хуже, с потолка капает... Сидишь на голом полу, а сверху кап-кап, кап-кап, а мышки так и бегают по полу: шур-мур, шур-мур, бывает, кого-нибудь из них пожалеешь, ухватишь и спрячешь под мышку, чтоб обсохли-обогрелись. А напротив — висят два портрета, я их обоих люблю, только вот не знаю, у кого из них глаза грустнее: Лермонтов-гусар и товарищ Пельше... Лермонтов — он ведь такой молодой, ничего не понимает, он мне говорит: «Иди, Вова, в город Череповец, там тебе дадут бесплатные ботинки». А я ему говорю: «А зачем мне ботинки? Череповец — он у-у-у как далеко... Получу я ботинки в Череповце — а куда я дальше пойду в ботинках? нет, я уж лучше без ботинок...» А товарищ Пельше тихо мне говорит, под капель: «Может, это мы виноваты в твоей печали, Вова?» А я говорю: «Нет, никто не виновен в моей печали». А тут еще теленочек за перегородкой — чертыхается и просить чего-то начинает, — а я его век не кормил, и откуда он

взялся, этот теленочек, у меня и коровки-то никогда не бывало. Надо бы спросить у внука Сергунчика — так и его куда-то ветром унесло. И всех куда-то ветром уносит... Я уже с вечера поставил у крыльца миску с гречневой кашей — для ежиков. Сумерки опускаются. Вот уже и миска загремела — значит, пришли все-таки ежики, с обыском... Листья кружатся в воздухе, кружатся и — садятся на скамью... Некоторые еще взовьются — и опять садятся на скамью. И цветочки на зиму — все попересажены... А ветер все гонит облака, все гонит — на север, на северо-восток, на север, на северо-восток. Не знаю, кто из них возвращается. А над головою все чаще: кап-кап-кап, и ветер все сильнее: деревья начинают скрипеть и пропадать, рушатся и гибнут, без суда и следствия. Вот уже и птички полетели, как головы с плеч...

Коля. Как хорошо... А у вас в деревне — в апреле тоже тридцать дней или дня три-четыре накинули?

Вова. Да нет пока...

Коля. Ну, вот и зря... Надо бы немножко накинуть... У нас все должно быть покрупнее, чем у *них*... Они играют на пятиструнной гитаре, а у нас своя, исконная, семиструнная. Байкал, телебашня, Каспийское озеро... А тут получается обидно: и у них в апреле тридцать дней, и у нас тридцать. (Пускает слюну. Вова вытирает.) А равняться на Европу, как мне кажется, — это значит безнадежно отставать от нее... Конечно, мы не ищем для себя односторонних преимуществ, но никогда не допустим, чтобы...

Прохоров (врывается в палату с озаренным лицом). *Обход! Обход!* (Но странно: вместо привычного «Всем встать!» — староста отдает приказ ни на что не похожий.) Немедленно лечь на пол! Всем! Мордами вниз! Кто шевельнет глазами туда-

сюда — стреляю из всех Лепажевых стволов! Стас, прекрати свои ротфронты! (Подходит к Стасику, но рука его кататонически не выходит из состояния Рот-Фронт.) Ну ладно, отвернись только к стенке, но пасаран, пассионарий! вессеремус!

Гуревич (входит с помойным ведром, поверх ведра накинута холщовая мокрая тряпка. Швабру оставляет у входа. Подойдя к своей тумбочке, второпях снимает тряпку, из ведра достает почти ведерной емкости бутыль и устанавливает ее, прикрыв тряпьем. Глубочайший выдох). Ну вот. Теперь как будто бы *виктория*!

Алеха (с порога). Всем подняться — отряхнуться! Обход закончен!

Прохоров. Всем лечь по своим постелям. Замечайте, психи: обходы становятся все короче. Значит, скоро они совсем прекратятся. Вставайте, вставайте, — и по постелькам... Так, так... А что вы тут делали — пока *високосные* люди нашей планеты достигали невозможного — чем в это время занимались вы, летаргический народ?..

Вова. Нам Стасик говорил о своих цветочках... Он их сам выращивает...

Прохоров. Эка важность! Цветочки — они внутри нас. Ты согласишься со мной, Гуревич, ну, чего стоят цветочки, которые снаружи?

Гуревич. Мне скорее надо пропустить, Прохоров, а уж потом... И без того внутри нас много цветочков: циститы в почках, циррозы в печени, от края до края инфлюэнцы и рюматизмы, миокарды в сердце, абстиненции с головы до ног... В глазах — протуберанцы...

Прохоров. Налей шестьдесят пять грамм, Гуревич, и скорее опрокинь. Потом поговорим о цветочках. Алеха!

Алеха. Я здесь...

Прохоров. Немедленно: стакан холодной воды. У Хохули в чемодане — лимоны, вытаскивай их все...

Алеха. Все..?!

Прохоров. *Все,* мать твою ебп!

Гуревич, в сущности, начинает Вальпургиеву ночь. Наливает рюмаху. Внюхивается, до отказа морщится, проглатывает.

Прохоров (в ожидании своей дозы). Я думал о тебе хуже, Гуревич. И обо всех вас думал хуже: вы терзали нас в газовых камерах, вы *гноили* нас в эшафотах. Оказывается, ничего подобного. Я думал вот как: с вами надо блюсти дистанцию! Дистанцию *погромного* размера... Но ты же ведь — Алкивиад! — тьфу, Алкивиад уже был, — ты граф Калиостро! Ты — Канова, которого изваял Казанова, или наоборот, наплевать! Ты — Лев! Правда, Исаакович, но все-таки Лев! Гней Помпей и маршал Маннергейм! Выше этих похвал я пока что не нахожу... а вот если бы мне шестьдесят пять...

Алеха. Может, проверить, — горит?

Гуревич. Это можно... (На край тумбочки проливает немножко из своего остатка, зажигает спичку и подносит: тишина, покуда не меркнет синее пламя.)

Прохоров (он даже не разводит свои семьдесят грамм, он держит наготове Хохулин лимон. Опрокидывает. Страстно внюхивается в лимон. Пауза самоуглубленности). Итак. Кончились беззвездные часы человечества! Скажи мне, Гуревич, из какого мрамора тебя лучше всего высечь?..

Гуревич. Это как то есть «высечь»?

Прохоров. Нет-нет. Я не то хотел сказать. Я вот что хотел сказать: с этой минуты, если в палате номер три или в любой из вассальных наших палат какой-нибудь

неумный псих усомнится в богодухновенности *этого* (втыкая палец в Гуревича) народа, тот будет немедля произведен мною в контр-адмиралы. Со всеми вытекающими отсюда последствиями... *Они* открывают миру *все*, мы только успеваем прикрывать. Что говорить о Старом Свете?.. Из какого племени явился Христофор Коломбо — это, наконец, известно поголовно всем. Но мало кто знает, что первым человеком, из состава Коломбовой экспедиции, первым, ступившим на Новую Землю, — был иудей-марран Луис де Торрес! (впадая в раж) А *Исаак* Ньютон! А — *Авраам* Линкольн!.. А кто первый увидел Ниагарский водопад? —*Давид* Ливингстон!..

Гуревич. Помаленьку, помаленьку, староста. Иначе ты вызовешь переполох в слабых душах... А ты не подумал о том, что Алкивиад тоже вожделеет? Ты вот уже немножко порфироносен. А взгляни на Алеху...

Прохоров. Ал-леха!

Алеха. Я тут. (Пока Гуревич чародействует со спиртом и водою, — не выдерживает. Делает лицо. Тренькает себе по животу, как бы аккомпанируя на гитаре. Начинает внезапно и анданте.)

А мне на свете — все равно.
Мне все равно, что я говно,
Что пью паскудное вино
Без примеси чего другого.
Я рад, что я дегенерат,
Я рад, что пью денатурат,
Я очень рад, что я давно
Гудка не слышал заводского...

Вливает в себя все ему налитое. Исполинский выдох. Пробует лихо продолжить свое традиционное.

Обязательно,
Обязательно,

Я на рыженькой женюсь!
Пум-пум-пум-пум!
(по собственной пузени, разумеется)
Об-бязательно...

Гуревич. Стоп, Алеха. Не до песнопений. Кругом нас алчут малые народы. А мы, тем временем, сверхдержавы, — пробуем на вкус то, что вообще-то говоря, делает наши души автономными, но может те же самые души и на что-нибудь обречь. Приобщить этих сирых?

Прохоров. Еще как приобщить! Ал-леха!

Алеха. Я здесь. (Машинально подставляет пустой стакан.)

Гуревич. Болван. Ты понимаешь, что такое — сирость?

Алеха. Еще бы не понять. Сережа Клейнмихель, — у него на глазах Паша Еремин, комсорг, оторвал у мамы почти все. И он теперь все кропает и пишет, кропает и пишет... Позвать его?

Гуревич. Позвать, позвать... (Наливает полстакана.)

Прохоров. Клейнмихель! На ковер.

Гуревич (подошедшему Сереже). Так о чем тебе моргнула перед смертью твоя мама?

Сережа (всплакнув, конечно). Она все знала. Мамы — они всегда все знают. Что меня не допустют и не дадут начальство снимать картину фильма про маму и Семена Михайловича Буденного, и как они крепко целовали друг друга перед решающей битвой. А свою нечистую руку приложил к этому Пашка Еремин, еврейский *шапион...*

Гуревич. Не торопись. Выпей. (Сережа, выпив, прижимает руку к сердцу, не то в знак благодарности, не то всерьез желая уйти из этого мира.)

Сережа. Я знаю, что такое еврейский *шапион*. Первый признак — звать его Паша. А фамилия его — Еремин. Других доказательств и не надо. Он не дает мне ночью рисовать стихи и планы всего будущего.

Гуревич. У тебя это что в руках, Буденный?..

Сережа. Это что я прячу от предателя Павлика. Это все, что я построю, когда меня выпустят. А если я чего-нибудь построю — Павлик, злодей, все подожжет. Я вам сейчас прочитаю, но чтобы Пашку Еремина туда со спичками не подпускали...

Прохоров. Давай, я прочту, зануда. А то у меня есть баритон, а у тебя нет баритона... Так-так... Проект бу́дущих торжествований. Номер один: Дом больницы разбитых космонавтов. Номер два: Дом Любви и Здоровья больных космонавтов. Номер три: Дом Любви к своей маме как можно лучше и хорошо. Номер четыре: Дом, где не гуляют до двенадцати ночи, а живут с родными никогда и вообще. Номер пять: Дом Коммунизма. Там приучают не бегать с топором и не пропивать ребят и космонавтов. Номер шесть: Культурный стадион космонавтов, чтобы метать их в цель...

Гуревич. И долго еще будет эта тягомотина?.. Сереже больше не давать...

Прохоров. Сейчас-сейчас... (Продолжает.) Номер семь: Книжная фабрика культурных летчиков, с гипноседативным эффектом. Номер восемь: Дом и Культурная дорога для спортивных татар. Номер девять: Аэродром культуры для татар и космонавтов. Десятое: Вокзал Поездов. Чтобы девушки в коротких юбках стояли на подножке. И махали приходящими поездами вслед уходящим поездам.

Алеха фыркает.

Прохоров (продолжает). Спортивный внимательный институт. Спортивный внимательный светофор для татар и космонавтов. Спортивный внимательный интернат для всех аэродромов Космуса. Номер четырнадцать и предпоследний: Детский Мир на спортивной реке. Где маленькие шпионы тонут, а большие — всплывают для дачи больших и ложных показаний. Номер пятнадцать и последний: Космическая выставка веселой любви и тайных радостей всех веселых космонавтов веселого Космуса...

Гуревич. М-м-мда... Тебя все-таки дурно воспитывали, Клейнмихель... Может быть, и прав комсорг Еремин, расчленив твою маму?..

Сережа. Нет, он был глубоко не прав. Когда она была в целости, она была намного красивше... Вам бы только посмеяться, а ведь смеяться-то не от чего... У меня есть еще один проект, чтобы в России было поменьше смеху: трубопровод из Франкфурта-на-Майне, через Уренгой, Помары, Ужгород — на Смоленск и Новополоцк. Трубопровод для поставок в Россию слезоточивого газа. На взаимовыгодных основаниях...

Гуревич. Браво, Клейнмихель!.. Староста, налей ему еще немножко.

Староста наливает. Погладив Сережу по головке, подносит.

Сережа (тронутый похвалою, пропустив и крякнув). А еще я люблю, когда поет Людмила Зыкина. Когда она поет — у меня все разрывается, даже вот только что купленные носки — и те разрываются. Даже рубаха под мышками — разрывается. И сопли текут, и слезы, и все о Родине, о расцветах наших неоглядных полей...

Гуревич. Прекрасно, Серж, утешайся хоть тем, что заклятому врагу твоему, комсоргу, не будет ни граммулечки. Он, к сожалению, принадлежит к тем, кто составляет поголовье нации. Мудак, с тяжелой формой легкомыслия, весь переполненный пустотами. В нем нет ни сумерек, ни рассвета, ни даже полноценной ублюдочности. На мой взгляд, уж лучше дать полную амнистию узникам совести... То есть, предварительно шлепнув, развязать контр-адмирала?

Прохоров. Ну, конечно. Тем более, он уже давно проснулся, ядерный заложник Пентагона. (Потирает руки, наливает поочередно Гуревичу, себе, Алехе.) Вставай, флотоводец. Непотопляемый авианосец НАТО. Я сейчас тебя развяжу, — признайся, Нельсон, все-таки приятно жить в мире высшей справедливости?

Михалыч (его понемногу освобождают от пут). Выпить хочу...

Прохоров. Да это ж совершенно наш человек! Но прежде стань на колени и скажи свое последнее слово. (Михалыч вздрагивает.) Да нет, ты просто принеси извинения оскорбленной великой нации, и так, чтобы тебя услышали твои прежние друзья-приятели из Североатлантического пакта. Ну, какую-нибудь там молитву...

Михалыч (быстро-быстро, косясь на Прохорова, наливающего заранее). Москва — город затейный: что ни дом, то питейный. Хворого пост и трезвого молитва — до Бога не доходят. Чай-кофе не по нутру, была бы водка поутру. Первая рюмка колом, вторая соколом, а остальные мелкими пташками. Пить — горе, а не пить вдвое. Недопой хуже перепоя. Глядя на пиво и плясать хочется...

Прохоров (намного одушевленнее, чем во втором акте). Так-так-так...

Михалыч. Справа немцы, слева турки, ебануть бы политурки. Без поливки и капуста сохнет. Что-то стали руки зябнуть, не пора ли нам дерябнуть. Что-то стало холодать, не пора ли нам...

Гуревич. Пора, мой друг, пора... (Адмирал выпивает — и вытаращивает глаза от крепости напитка и перемен земного жребия.) По нашей Конституции, адмирал, каждый гражданин имеет право выпучивать глаза, но не до отказа... Вова!!

Вова подходит покорно, но почему-то держа за руку бледного Колю.

Гуревич. Дети, армянский коньяк на столе, читайте молитву. (К Прохорову.) А почему они, собственно, здесь, — а не там?

Прохоров. Ну, ты же сам слышал... эстонец... голова болит... разве этого недостаточно?.. А что касается Вовы, — так он просто так... подозревается в уникальности...

Гуревич. Не надо кручиниться, Вова, завтра же будешь со мною на свободе. У тебя есть *мечта*?..

Вова. Да, да, есть. Я хочу у себя в пруду развести такую рыбку — она называется гамбузия. Так вот, эта рыбка — гамбузия — поедает в своем пруду всех комариных личинок, а заодно и все лямблии. Потому что стоит человеку проглотить вместе с водой одну только лямблию, как она, сама по себе, порождает другую лямблию, а третья лямблия, родившись от сочетания первых двух лямблий...

Гуревич. И сколько этих вот самых лямблий может враз заглотать твоя рыбка гамбузия?

Вова. Она может схавать зараз семьдесят пять штук.

Гуревич. И — не поперхнуться?

Вова. И не поперхнуться.

Гуревич. Отлично. Вот ровно столько грамм ему и налейте. Только разбавьте водой. А Боренька-Мордоворот сегодня же ночью расплатится за то, что сделал тебе на носу эту «модус-вивенди»...

Вова (единым залпом выпив, — то, как травка, зеленеет, то, как солнышко, блестит). А самое главное, чем хороша гамбузия, — так от нее ни одного комарика в воздухе. Никто вас не укусит, смело идите в лес, мои маленькие радиослушатели. И гуляйте, пока не позовет Эдик...

Прохоров. А что это за Эдик?..

Вова. Никто не знает. Но, как только в небеса подымается Веспер, тут надо расходиться по домам, потому что Эдик делает знак: пора расходиться. Ничего не поделаешь... Сергунчик, мой внук, не послушался — и вот вам результат: ветры унесли его неведомо куда... по заказу Гостелерадио...

Гуревич. Удивительная все-таки страна — Россия! Ну, с какой стати Эдик? На каком основании — Эдик?.. (Обращается к Коле.) Коля! ты смыслишь что-нибудь в этой белиберде?

Коля. Конечно. Я уже давно усвоил эту дхарму. (Простирая к публике руку.) Отцы наши ели кислый виноград, а у детей на столе один только вермут, и больше ничего. Десертным вермутом облит, Онегин к юноше спешит, глядит, зовет его, — напрасно, его уж нет, младой певец нашел безвременный конец. Особой водки он просил, и взор являл живую муку, — и кто-то вермут положил в его протянутую руку!..

Гуревич. Здорово!.. Налейте поэту *мушкателейнвейну*!

Коля (выпивая свою долю мушкателейнвейна). А откуда в нашей палате взялся мушкателейнвейн?

Прохоров. Все оттуда же. А откуда в нашей палате, со слабоумными расспросами, взялись пытливые юноши? Взялось, значит взялось.

Гуревич. И при этом, кроме чести, не потеряно ничего.

Прохоров. Если явятся вопросы еще, обратитесь к Вите.

Гуревич. Да, да. Если кому чего неясно, — пусть обращается к нашему незабвенному гроссмейстеру. Какая честь — еще при жизни называться незабвенным! *Витя!!* Корчной! Что новенького-шизофреновенького?

Все смотрят на Витю. Не совсем понятно, спит он или проснулся, потому что улыбка его, оставаясь дежурной за время сна, становится, по пробуждении, сардоническою. Сейчас на нем ничего этого нет.

Гуревич. Ну, очень просто определить, спит человек или нет. Если он хочет присоединиться к компании, значит: проснулся. А если не хочет — стало быть, спит и не проснется *вовеки*...

Витя. Я проснулся. И пока в этом мире не кончится мушкателейнвейн, я никогда не усну.

Прохоров (поднося Вите). Теперь ты понимаешь, гроссмейстер, что мы живем не то что в мире высшей справедливости, а в мире такой справедливости, которая даже чуть выше в сравнении с наивысшей?..

Витя (приподымая большую, розовую голову). А я не умру?

Гуревич. Ты, Витя, слишком высокого о себе мнения... Во всей происходящей драме — до тебя — никто ни словом не обмолвился о смерти, хоть все и поддавали.

Счастье человека — в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей. Пьер Безухов. А если уж смерть — так смерть. Смерть — это всего лишь один неприятный миг, и не стоит принимать его всерьез. Аугусто Сандино.

Витя пьет и — встает. Всех обнимая своей улыбкой и не стыдясь живота своего, почему-то отправляется к выходу.

Прохоров. Наконец-то! Отрада и ужас Вселенной — Витя — хочет пройтиться в сторону клозета... Стасик! Прекрати свои рот-фронты. Иди сюда...

Гуревич (спохватившись). Да, да. Никакие рот-фронты и нопасараны уже не пройдут. Над всей Гишпанией — ясное небо. Франсиско Франко. По этому поводу — опусти свою глупую руку и подойди. Твоя неистовая Долорес — в соседнем отделении. Пропусти для храбрости сто двадцать, и мы соединим вас, недоумков...

Стасик. Так она еще не умерла?..

Гуревич. Давно уже подохла. Но, как только услышала о тебе, о предстоящем свидании, она вытряхнула землю из глазных своих впадин и сказала: «Пусть придет ко мне, я люблю молодых и растленных. Но прежде, — сказала она, — но прежде я должна привести себя в порядок, я ведь так долго пролежала в сырой земле...»

Стасик. Я понимаю... Женщина всегда есть женщина, если даже пассионария. У нас есть о чем побеседовать: массированное давление на Исламабад, подводные лодки в степях Украины! И — вдобавок ко всему — насильник дядя Вася в зарослях укропа. И марионетка Чон Ду Хван, он все мечтает стереть Советскую Россию с

лица земли. Но разве можно стереть то, у кого так много-много земли — и никакого-никакого лица? Вот до чего доводит узкоглазость этих чондухванов...

Гуревич. Налить ему немедля! И пропорционально тому, что он здесь сейчас нагородил... Боже мой, Витя!..

Витя (с улыбкой, обаятельнее которой не было от Сотворения). Вот, пожалуйста, шахматная фигура, я обмыл ее проточной водой... (Ставит на стол посреди палаты еще один белый ферзь. Два белых ферзя рядом — это уже слишком Многие теряют и остатки своих убогих рассудков.)

Прохоров. С шахматами мы потом разберемся... А шашки — где?.. Чемпион мира по русским шашкам Виктор Куперман... (Улыбка — в сторону Гуревича, вопрос адресован Вите.) Так вот, шашек нет. Сейчас растерянно смотрит на мир наш русский товарищ Куперман. И вот он, молодой и здоровый, крутится в своем гробу. Не путать с Долорес Ибаррури... Он крутится в своем гробу, хотя он молод и здоров...

Коля (прерывает старосту, чего с ним никогда не бывало). А кто вообще автор желудочно-кишечного тракта?..

Гуревич. Неужели и *теперь* тебе не понятно, *кто*?.. (присаживается к Вите).

Скажи мне, Витя, ну, а если б ты...
Ну... двадцать шесть бакинских комиссаров...
Чудовищно подумать!.. Что б тогда
Принес толпе из всех своих глубин?
Шпинозу? Группенфюрера СС?
Ударный финиш юбилейной вахты?
Рене Декарта?..

За дверью слышны каблучки. Это — Натали с последним обходом. И, слава Богу, она уже слегка первомайски-поддатая. Иначе — она уловила бы в палате спиртной дух.

Прохоров. Тишина!.. Все — по местам! Накрыться с головой!

Натали входит, всем желает спокойных ночей. Поправляет одеяло — у тех, на ком плохо лежит. Присаживается у изголовья Гуревича. Никому не слышные — а может быть, слышные всем, — шепоты и нежности.

Натали (полушепотом). Ни о чем не думай, Лев, все будет хорошо. (Гуревич пробует что-то сказать. Натали прикладывает пальчик к губам.) Тсс... Все дрыхнут. В коридоре ни души. Адье. Спокойной ночи, алкаши. (Проплывает к выходу, тихо-тихо прикрывает за собой дверь. Стук удаляющихся каблучков.)

Все пациенты разом сбрасывают с себя одеяла, приподымаются в постелях и завороженно глядят на два белых ферзя посреди палаты.

ЗАНАВЕС

Пятый акт

Между четвертым и пятым актом — 5—7 минут длится музыка, не похожая ни на что и похожая на все что угодно: помесь грузинских лезгинок, кафешантанных танцев начала века, дурацкого вступления к партии Варлаама в опере Мусоргского, канканов и кэк-уоков, российских балаганных плясов и самых бравурных мотивов из мадьярских оперетт времен крушения Австро-Венгерской монархии.

Подымается занавес.

Все та же третья палата, несколько часов спустя: все выглядит настолько иначе, что глупо и говорить об этом.

Прохоров. Рас-светает!.. Аль-леха!!

Алеха. Да, я тут.

Прохоров. Вдарь что-нибудь на своей гитаре, диссидент! Вдарь по сердцам наших просветленных узников!

Алеха.

Пум-пум-пум-пум.

Представление начинается. В нем принимают участие все, даже комсорг Пашка Еремин. Откуда только он успел нализаться — непонятно, ведь ему было отказано даже в граммулечке.

Пум-пум-пум-пум!
Пум-пум-пум-пум!

Я надену платье бело
И весеннее пальто.
Никого я не боюся:
Председатель — мой отец.

Вова.

Председатель к нам спешит,
«Не кручиньтесь, — говорит, —
Не кручиньтесь, не тужите,
Удобренья положите».

Михалыч.

Дети в школу собирались,
Мылись, брились, похмелялись.
Эх, в бога-душу-мать,
Дайте курочку!

Коля.

Ему уж 20 лет, —
А он такой дурак!
Ему уж 30 лет, —
А он такой дурак!
Ему уж 40 лет, —
А он такой дурак!
Ему уж...

Алеха (прерывает его).

Коля водит самолеты —
Это очень хорошо.
Вова пысает в компоты —
Это тоже хорошо!

Прохоров.

А агент из Миннесоты —
Тоже очень хорошо.

(Это, разумеется, выпад в сторону Михалыча, который в это самое время пробует, как сен-сансовская плисецкая лебедь, делать ручками фокусы-покусы.)

Сей агент, агент прекрасный,
Опрокинув свой бокал,
На груди ее атласной
Безмятежно засыпал.
Хо-хо!

Алеха.

Пум-пум-пум-пум!
Вся страна лежит во мраке —
Огонек горит в Кремле!
Пум!
Обожаю нежности
В области промежности!

Витя со всем своим пузом вступает в пляс, повязав наволочку вместо косынки.

Алеха (подтанцовывает к Вите).

Ай-ай! Ох-ох!
Все готово. Бобик сдох.
Что с тобою приключилось,
Манечка?

Витя (не без кокетства).

Совершенно ничего.
Ровным счетом ничего.
Ничего не приключилось
С Манечкой.
Просто — слишком завертелась,
Просто — очень захотелось

Съездить в будущем году
В Пизу или Катманду!
Оп-пля!!

Прохоров.

Кудри вьются,
Кудри вьются,
Кудри вьются у блядей.
Почему они не вьются
У порядочных людей?

Витя.

Хе! Хе!
Потому они не вьются —
Денег нет на бигудей!

Алеха (поправляя Витю).

Потому что у блядей
Денег есть на бигудей,
А у порядочных людей —
Денег только на блядей!

Гуревич (между тем с тревогой всматривается в полусонного Хохулю. Очень заметно, как тот, и выпив-то всего-навсего грамм 115, — клонится к закату. Гуревич подходит к нему, тормошит). Хохуля! Для оживления психеи хочешь еще немножко дёрнуть? Ты меня не слышишь?.. Не слышит... Передаю по буквам, Хохуля... дёрнуть... Д — движение неприсоединения, Дуайт Эйзенхауэр, девичьи грезы, дивные бедра, День поминовения усопших... Д. Следующая — ё... Только вот как передать ему «ё»?.. Подлец Карамзин — придумал же такую букву «Ё». Ведь у Кирилла и Мефодия были уже и Б, и Х, и Ж... Так нет же. Эстету Карамзину этого показалось мало... Стоп, ребятишки!! Хохуля — не дышит!..

Одни обступают мертвеца; другие — продолжают беззаботное буйство.

Прохоров. Вот к чему приводит лечение электрошоком! Вот вам блестящее подтверждение несостоятельности нашей медицины!

Стасик становится у трупа, оттянув подбородок, в позе стерегущего Мавзолей.

Гуревич. Ничего. Ничего неожиданного. Следует вполне полагаться на судьбу и твердо веровать, что самое скверное еще впереди.

Прохоров (добавляет). Рене Декарт. И да не будет никто омрачен! Мы отмечаем сегодня вальпургиево празднество силы, красоты и грации! А Первомай пусть отмечают нормальные люди, то есть не нормальные люди, а *нас* обслуживающий персонал! Ха-ха! *Танцуют все!* Белый танец! Алеха!

Алеха.

Пум-пум-пум-пум!
Пум-пум-пум-пум!
А я вот все люблю,
А я вот всех люблю:
Дюдюктивные романы,
Альбионские туманы,
И гавайские гитары,
И гаванские сигары,
И сионских мудрецов,
И сиамских близнецов...
Уй-уй-уй-ууууй!
(на мотив Петра Чайковского)

Не ходи пощипывать,
Не ходи посма-атривать,
Не ходи пощу-упывать
Икры наши де-е-евичьи-и...

Витя (под Кальмана, играя пузенью).

За что, за что, о Боже мой?
За что, за что, о Боже мой?
За что, за что, о Боже мой?
За что, о Боже мой?

Коля (под советскую детскую песенку).

У меня водчонки нет,
Даже вермутишки нет...

Прохоров (подхватывает).

Только пиво, только воды!
Только воды, только пиво!
И никто у нас не пьян!
Лейте, лейте, сумасброды,
Одуряющее диво
В торжествующий стакан!
Пиф-паф!

Подходит к баклаге со спиртом, наливает, в себя опрокидывает. То же самое хотели бы сделать и другие. Но Гуревич их останавливает.

Гуревич. Чуть попозже. Клейнмихель, подойди сюда. Я должен сообщить тебе отраду: твоя мама — не умерла! Она жива. Пашка ее не убивал! (Наливает ему.)

Сережа (прижимая налитое к сердцу). Ура! Моя мама жива!

Пашка. Ура! я ее не убивал! (Мгновенно выхватывает кружку из рук Сережи и залпом выпивает.)

Гуревич.

Ты ловок, Паша, как я погляжу.
Но здесь ты не сорвешь рукоплесканий.
А вот по морде смажут — это точно —
«Приватно и в партикулярной форме».

Прохоров. Рене Декарт?.. (К Паше):

Короче, друг любезный, —
Ступай в манду по утренней росе!

Паша, получив от старосты пощечину и икнув, присоединяется к пляшущим.

Гуревич. Нет, ты только посмотри, староста, на это вот итоговое и рвотное. Значит, все — все было не напрасно, все революции, религиозные распри, взлеты и провалы династий, Распятие и Воскресение, варфоломеевские ночи и волочаевские дни, — все это, в конечном счете, только для того, чтобы комсорг Еремин мог беззаветно плясать казачок... Нет, тут что-то не так... Подойди, Сережа, я тебе еще чуточек налью...

Сережа, перекрестившись, выпивает.

Гуревич. Ну, как поживают твои веселые космонавты Космуса?

Сережа (одушевленный пятью глотками, приплясывает в такт остальным).

Космонавты и татары,
Космонавты и татары —
Все неправда. Все говно.
Уносить свои гитары
Им придется все равно.
Эй-я!

Гуревич. Вот это да... А Вова? Где Вова? Что с Вовой?

Вова сидит в постели, затылком опершись о подоконник, без движения, и почему-то с совершенно открытым ртом.

Гуревич. Поди-ка взгляни, Прохоров, что с ним?

Прохоров. Дышит! Вовочка дышит! (Напевает ему из Грига.) «Идем же в лес, друг милый мой, где нас фиалки ждут. Идем же в лес, в зеленый лес, где нас фиалки ждут...»

Вова не откликается ни звуком. Рот по-прежнему открыт. А головку его уже обдувает Господь.

Гуревич. Однако!.. Там (кивает в ту сторону, где происходит маевка медперсонала), там веселятся совсем иначе. Ну, что же... Мы — подкидыши, и пока еще не найденыши. Но их окружают сплетни, а нас — легенды. Мы — игровые, они — документальные. Они — дельные, а мы — беспредельные. Они — бывалый народ. Мы — народ небывалый. Они — лающие, мы — пылающие. У них — позывы...

Прохоров. А у нас — порывы, само собой... Верно говоришь! У них — жисть-жистянка, а у нас — житие! У нас во как поют! а у них — какие-нибудь там Ротару и Кобзоны... А я бы эту прекрасную Софию Ротару утопил бы — вот только не знаю, где лучше, в говне или проруби. А прекрасного Иосифа Кобзона за чекушку продал бы в Египет... Хо-хо! только и делов! (Сепаратно выпивают по совсем махонькой. Остальные, томительно облизываясь, стоят в стороне.)

Прохоров. И вообще — в России пора приступать к коренной ломке всего самого коренного!.. Улицы я уже переименовал, эстрадных вокалистов — утопил. Теперь уже пора бы...

Гуревич. Да, да. Теперь уже пора бы менять этикетки. А то — ну, что за преснятина? Юбилейная, Стрелецкая, Столичная... Когда я это вижу, у меня с души воротит. Водяра должна быть как слеза, и все ее подвиды должны называться слезно. Допустим, так: Девичья Горючая — 5 рублей 20 копеек. Мужская Скупая — 7 рублей. Беспризорная Мутная — 4.20. Вдовья Безутешная — тоже не очень дорого: 4.40. Сиротская Горькая — 6 рублей. Krokodilovaia importnaia — червонец. Ну, и так далее... Но только — прежде чем ломать Россию на глазах изумленного человечества, надо вначале ее просветить...

Прохоров. Вот-вот. Наша запущенность во всех отраслях знания... подумать страшно. Я, например, у очень многих спрашивал: сколько все-таки граней в граненом стакане? Ведь у каждого советского стакана одинаковое количество граней. И представь себе — никто не знает. Из 145 опрошенных только один ответил правильно, и то невзначай. Пока не поздно, я думаю, не начать ли в России эру Просвещения?

Гуревич. Так мы уже ее начали. Пока — в пределах 3-й палаты. А там смотришь... Ну, чем был русский народ до нас? Вялый демонизм, унылое сумасбродство. Бесшабашность, сотканная из зевот. Ни в ком — никакого благородия, никакого степенства, ни малейшего превосходительства. А уж о высочестве, тем более о величестве — и говорить не приходится. Когда я, будучи

на воле, глядел на наших русских, я бывал иногда так переполнен скорбью, что с трудом втискивался в автобус...

Прохоров (патетически). Я тоже. Я считаю, что мы немножко недоделаны и недоношены. Но в нас есть *заколдованность.* Я чувствую это по себе, а сегодня ночью — особенно...

Гуревич. Ничего, ничего. Доносим, расколдуем, доделаем. А если в ком есть еще полузадушенность и недорезанность, — так это тоже легко поправимо...

Тем временем Алеха, Витя, Коля, Сережа и Михалыч медленно приближаются к двум мыслителям и смотрят на них с разной степенью обожания.

Прохоров. Алеха!?

Алеха. Мы все тут.

Прохоров. И хорошо, что все.

Гуревич. Вот именно. Там, на вонючем Западе, там тоже *все* только и делают, что стоят в очередях за бесплатной похлебкою. Ватикан им выдает эту похлебку или еще кто — не знаю, — но они глядят при этом в сторону России и думают... о чем уж они там думают, я тоже не знаю... но, как бы то ни было, мы должны быть постоянно начеку и готовить себя к подвигу! А вы — готовите себя к подвигу?

Витя Толстопузый. Еще как готовим!

Гуревич. Ну вот и прекрасно. (Обносит напитком всех поочередно. Продолжает при этом.) В сущности, мне их жалко. Мы с вами сейчас тоже тремся в очереди — но ведь не за жалкой ватиканской похлебкой, а за предметом высшей

категории! Это тоже надо понимать!.. И потом — они разобщены: у каждого *свой* трепет, *свое* урчание в животе. У нас — один трепет и одно урчание!

Алеха. Ура!

Прохоров. Это ты к чему, дурак, крикнул «Ура!»?

Алеха. А потому, что они разобщены. И мы их передушим, как котенков!

Прохоров. Как ты думаешь, Гуревич: передушим?

Гуревич. Да душить-то пока зачем? Так уж сразу и — душить! Миротворнее нас — нет среди народов. Но если они и дальше будут сомневаться в этом, то в самом ближайшем будущем *они* и впрямь поплатятся за свое недоверие к нашему миролюбию. Ведь им, живоглотам, ни до чего нет дела, кроме самих себя. Ну, вот Моцартова колыбельная: «Спи, моя радость, усни... Кто-то вздохнул за стеной — *что нам за дело, родной?* Глазки скорее сомкни». И так далее. Им, фрицам, значит, наплевать на чужую беду, ни малейшего сочувствия чужому вздоху. «Спи, моя радость»... Нет, мы не таковы. Чужая беда — это и наша беда. Нам дело есть до любого вздоха, и спать нам некогда. Мы уже достигли в этом такой неусыпности и полномочности, что можем лишить кого угодно не только вздоха, тяжелого вздоха за стеной, — но и вообще вдоха и выдоха. Нам ли смыкать глаза!

Прохоров. Я понял так, что все-таки душить. Только вот не знаю, с кого начать. Наверно, все-таки с фрицев.

Гуревич. Помилосердствуй, Прохоров! Каких еще фрицев? Для того, чтобы фриц не дышал, нам не понадобится даже качнуть левой ногой! Да фриц уже, по существу, и не дышит!

Витя. Я бы голландцев наказал, за их летучесть...

Михалыч. Тогда уж и жидов, за их вечность...

Прохоров. Тссс!.. Я предлагаю, Гуревич, лишить адмирала следующей порции напитка. И заодно разжаловать его в юнги. За вульгаризм...

Гуревич. Мы, пожалуй, так и сделаем.

Алеха. А меня вот лично интересуют Британские острова...

Гуревич. Ну, с Британией нечего и сюсюкать. Уже Геродот не верил в ее существование. А почему мы должны быть лучше или хуже Геродота? Надо, чтобы все достоверно убедились, что ее и в самом деле не существует, — а для этого приложить одно, самое незначительное усилие...

Прохоров. А янки в это время пусть чуточек потрепещут. Пусть у них будут поганые, бессонные ночи, нечего с ними гудбайничать...

Коля. Но вот... если мне прикажут душить скандинавов... так за что мне их душить? Они ведь такие белокурые-белокурые, такие нивчемневиноватые...

Гуревич. Вы ошибаетесь, Коля. Их надо пропесочить для начала за то, что своих зловонных викингов и конунгов они считают пращурами наших великих князей. И потом — за Квислинга и вообще за то, что они мореплаватели...

Прохоров (подхватывает). ...и за то, что они вольно разгуливают по обоим, нашим, исконно русским полюсам. Стервецы они, а никакие не мореплаватели... К ногтю! я так считаю...

Михалыч. До скорой встречи, дорогие товарищи моряки! А бескозырку передайте Настеньке. Все. (Как простреленный навылет, валится у обочины постели и храпит навеки).

Гуревич. Что это с ним? Шутит он?.. или..?

Прохоров. Юнгу просто немножко укачало нашими штормами. Это ничего... С итальяшками, например, мы и без него управимся. Пустее племени Господь от веку не сотворял. Им бы только все время обниматься, и ничего другого у них нету. Взять хотя бы этих... Сакко и Ванцетти. Вообще-то обниматься пусть обнимаются. Сакко прекрасен и телом и душою. У Ванцетти — души и в помине нет, зато какие формы! Что спереди, что сзади! Но формы-то формами, а зачем бросать в еловый костер, как головешку, нашего партийного товарища Джордано Бруно? Да будь я итальянец, как бы я осмелился взглянуть в русские глаза после этого!..

Алеха. Эх, разбередил ты меня этими... формами прекрасной Ванцетти! Полячку бы мне!..

Прохоров. Не будет полячек!!

Витя. А их-то за что? За Тараса Бульбу?..

Гуревич. Плевать в твою Бульбу!.. За то, что они опередили нас и в географической приближенности к Европе, и...

Прохоров. И в исторической ненависти к жидам...

Алеха (в подражание своему патрону). У меня есть предложение: разжаловать товарища Прохорова в мои ординарцы, *за вульгаризм*, и лишить предстоящей рюмахи...

Гуревич. Ну, это уж слишком! Шутнику надо просто дать немножко по шеям...

Прохоров подходит к Алехе и слегка дает ему «по шеям».

Гуревич. Боже! Они опять все перепутали!.. Ну, да ладно. Скажите-ка мне лучше, вы, готовые к подвигу: а кто из вас любит французиков?

Все. Все!

Гуревич (саркастично). Все?

Все (опомнившись). Никто!

Гуревич. Ну, то-то же. Тут уж слишком обильный криминал: и правый бок Багратиона, и живот Александра Пушкина, и левый глаз Кутузова, и...

Коля (пьяненький). Но это же турки!.. глаз у Кутузова...

Прохоров. При чем здесь турки? Какие еще турки?! Всех турок уже давно перестрелял из ружья наш болгарский товарищ Антонов, на площади святого Петра в Риме. А я — лично видел хорошую картину: на ней изображен Кутузов, и он въезжает на коне не помню куда, но с двумя глазами...

Гуревич. В том-то все и дело. Русский не должен быть одноглазым. Вот *они* — они могут себе позволить эту роскошь, все эти адмиралы Нельсоны-Рокфеллеры. А мы — нет, мы не можем. Тревожная обстановка во Вселенной обязывает нас глядеть *в оба*. Да. (Аплодисменты.)

Коля. Но... Лиссабон... наш такой красивый Лиссабон!..

Прохоров. А это еще что за Лиссабон? Что такое вообще — Лиссабон? Облить его водой со всех сторон и никого не впускать! Вот так. Или — поджечь его со всех сторон и никого не выпускать!..

Гуревич. Одно только слово «Лиссабон» — мне уже противно слушать. У меня разливается желчь, когда при мне говорят «Лиссабон». А разве должна разливаться желчь у человека? Нет, она разливаться не должна... Значит, и Лиссабона быть не должно! (Аплодисменты.) Тебе, Коля, нужен Лиссабон?

Коля. Не-а...

Гуревич. А тебе, Витя?

Витя. Нисколечко.

Гуревич. Вот видите: на свете существуют вещи, решительно никому не нужные, — цветут, благоухают и существуют. Тогда как человеку не хватает самого насущного. Короче, Лиссабона не будет... Но при этом — могу я рассчитывать на своих стратегических союзников?

Все (вразнобой). Можешь, можешь, Гуревич! Давай еще шлепнем по маленькой!..

Гуревич. Самое время! (Шлепают по маленькой.)

Сережа. Добрый день, быть может, вечер, я знать, конечно, не могу, привет от чистого сердечка я передать тебе спешу. Здравствуй, покойная мама, с приветом к тебе твой сын Федя. (И вдруг захохотал — необычайно — ведь его никто не видел даже улыбающимся. Похохотав и закрутившись волчком, падает на пол, бьется в странных пароксизмах.)

Все на время немеют. Музыка.

Гуревич (нахмурившись). Ну, что ж... Мама оказалась жива — и он от этого оказался мертв... В истории уже бывали случаи смерти от внезапно доставленного радостного известия. Мишель Монтень.

Стасик (сбрасывает с себя позу мавзолейного часового и снова начинает пульсировать из угла в угол палаты). Рожденные под знаком качества пути не помнят своего. Но мы — отребье человечества — забыть не в силах! Расслабьтесь, люди, потрясите кистями. И, пожалуйста, не убивайте друг друга, — это доставит мне огорчение. Бог мудрее человеков! Держитесь за ризу Христову! (И снова окаменевает: на этот раз в коленопреклоненной и молитвенной позе.)

Гуревич (вдохновенно продолжает). А если нет Лиссабона — понятное дело, остальные континенты проваливаются сами собой... Начиная с азиатского Востока. Это пагубное и зловещее скопление нечистот — не имеет права *быть*! Вот вам восточная надпись на камне, надгробная, — и ведь Евангельских времен! — «Всеобщий любимец, он был полон очарования. Не щадя никого, истреблял он всех без остатка». (Смех в зале.) Ну, что прикажете делать с такими народами? А ничего не делать! Они издохнут сами по себе. У них то и дело грохочут демографические взрывы, фурункулезы, хиросимы, напалмы, нагасаки, и вообще жрать нечего. Сами по себе — тихо вымрут, для очищения земли и небес! А все остальное довершит клещевой энцефалит, грызня марксистских диктатур и маньчжурская лихорадка. Близятся сроки Воздания! Выпьем по махонькой, дорогие собратья, чтобы приблизить эти строки!..

Алеха. Я, например, — за маньчжурскую лихорадку! (Первым выпивает, крякает и пробует возобновить представление.)

Пум-пум-пум-пум.
Пум-пум-пум-пум.
Вот он, вот он, конец света!
Завтра встанем в неглиже,
Встанем-вскочим: свету нету,
Правды нету,
Денег нету,
Ничего святого нету, —
Рейган в Сирии уже!

Хор (уже успевших выпить и прокрякаться).

Ничего на свете нету, —
Рейган в Вологде уже!

Прохоров (зычно).

Этот день победы!!

Хор.

Прохором пропа-ах!
Это счастье с беленою на устах!
Это радость с *пятаками на глазах*!
День победы!..

Гуревич. Ша! Пьяная бестолочь! вы, оказывается, ничего не поняли из моих вдохновенных прозрений! вы все перенапутали...

Прохоров. Мы все отлично поняли, Гуревич. Но только ты забыл про *то*, что есть ООН и Перес де Куэльяр... И когда начнут проваливаться континенты...

Гуревич. Ха-ха! Перес де Куэльяр, конечно, схватится за свою перуанскую голову. Вы видели когда-нибудь людей с перуанскими головами? А вот у него — перуанская голова, и он-таки за нее схватится. Ну, и пусть. Все равно ведь, никто за нас не будет спасать зачумленный мир! И вы, все, — пируя, не забывайте о чуме! Пир — это хорошо, но есть вещи поважнее, чем пир. Генерал Хейг. И веруйте в конечное русское торжество, поскольку с *ними* — крестная сила, и ничего больше. С *нами* — все остальное!..

Звук вначале непонятный. Будто кто-то с размаху затворил за собою дверь на щеколду. Все поворачиваются. А это — Вова. А это — Вовин рот, раскрытый в продолжение всего пятого акта, — захлопывается навсегда. Почти в это же время обрываются храпы комсорга Еремина под белой простыней. За сценой — «Липа вековая».

Коля (шатаясь, подходит к Вове и прикладывает ухо к его сердцу). Вова! Дядя Вова! Куда ты уходишь?!.. Не уходи.

В лесу-то ведь сейчас: как хорошо! и дух такой духовитый... (по-ребячески плачет) гамбузии плещутся в пруду... расцвели медуницы...

Вова не откликается.

Прохоров. Ну, почему бы действительно не отпустить человека в деревню?.. Ведь просился же, каждый день просился, — и всякий раз отказывали. Вот и зачах человек от тоски по лесным пространствам...

Гуревич. За упокой...

Четверо оставшихся, под все длящуюся «Липу вековую», выпивают за упокой.

Прохоров (в упор смотрит на Гуревича). И чем же все-таки кончится?.. Вся эта серия наших побед над зачумленным миром?

Гуревич. О! Вначале — конечно — русская нация будет чувствовать себя счастливо и триумфально. Как у Антихриста за пазухою. Но потом... Подцепив у побежденных все их недуги, они захиреют, и ничего не останется от их былого исполинства, они рассеются пылью по лицу земли. Вернее, их будет заносить — муссонами со стороны Яффы — их будет заносить все дальше и дальше на север, в сторону безжизненных просторов... все дальше на север, где дни еще облачнее, еще короче и, следовательно, где умирать еще безболезненнее и легче. Франческо Петрарка. И вот — пока русские летят в назначенную им бездну — народ Иеговы...

Прохоров. Наконец-то! Народ Иеговы! Мы с Алехой уже занимаем произраильские позиции. То есть единственно разумные. То есть предварительно даже выбивая с этих позиций самих израильтян!..

Гуревич. Лихо!.. Бахрейн, Кувейт и Эмираты, известное дело, обрекут нас на нефтяной голод...

Прохоров. Но ведь их к тому времени не будет: ни Бахрейна, ни Кувейта...

Гуревич. Ну так что ж, что не будет. Ты плохо знаешь арабов. Даже когда их самих уже и нет, — их упорствующий фанатизм и бестолковость все равно — остаются. Так вот, они обрекают нас на нефтяной голод. А нам — наплевать. Зачем она, собственно, нам нужна, эта нефть? Может, тебе, Витя, она нужна?

Витя. В гробу я ее видал.

Гуревич. Даже Вите она не нужна. Мы ее заменим чем-нибудь, эту поганую нефть. Вермутом, например, — правда, Коля?..

Коля продолжает плакать, все тише, тише, и не отвечает ничего. «Липа вековая» продолжается.

Гуревич. Итак, я поведу вас тропою грома и мечты! и шестиконечная звезда Давида будет нам путеводительной и судьбоносной!.. Говорят, звезда его беспутного сыночка Соломона была уже пятиконечной. Это нам не годится. Соломон Давидыч, имея восемьсот штук наложниц и...

Прохоров. Вот ведь до какой степени можно изблядоваться: пятиконечная звезда!

Гуревич (одушевляясь все более). Да здравствует Эрец Израиль до самого Евфрата!

Прохоров.

Зачем сужать? *От Нила* до Евфрата!

Гуревич.

Чего мельчать? От Нила до Евфрата —
Все это хорошо, но мелковато,
А от Евфрата — на восток, восток... —
И вплоть до Нила!..

Алеха. От Синайского полуострова — до Кольского!..

Гуревич. А если кто косо взглянет на нас — *если еще будет кому* глядеть на нас косо — будет как в Талмуде: Бен-Зама взглянул — и потерял рассудок. Бен-Азай взглянул — и умер. И да испепелит их Провидение! И да разметет их Господь божественной Метлою Своею!.. Итак, выпьем за союз сердец, покорных высшему жребию!

Прохоров. За союз сердец, связующий Россию и Израиль!..

Гуревич. За здоровье Ромена Роллана!.. сейчас я вспомню, почему мне пришло в голову выпить за этого лысого черта... Да, да, вспомнил. «И будь во всем Израиле хоть один праведный, говорю я вам, вы не имели бы права осуждать весь Израиль!» Роллан, письмо к Верхарну. И столицей мира будет — что бы вы думали? Иерусалим? Ничего подобного! Кана Галилейская — вот что будет столицей мира! Ха!

Алеха (басит). И бу-удешь ты столицей ми-и-и-и... (Не закончив, оседает на койку.)

Гуревич. Распростертие крыльев наших будет во всю ширину земли твоей, Эммануил! Не лишайте себя предрассветных чувств! Где твоя труба, лучший трубач Советского Союза Тимофей Докшицер?! Свистать всех на-

верх! Еще по *бокалу*! За солнечное сплетение обстоятельств!..

Алеха (голосом, хриплым и павшим). Ура.

Витя выпив, тоже оседает на койку, рядом с Алехой. Его начинает неудержимо рвать, рвать даже шахматными пешками и костяшками домино. Сотрясаясь рвотою, делает несколько конвульсивных движений ногами — падает на постель, бездыханный. Гуревич и Прохоров загадочно смотрят друг на друга. Свет в палате — неизвестно почему — начинает меркнуть.

Стасик (встает с колен. Забегал в последний раз). Что с вами, люди? Кто первый и кто последний в очереди на Токтогульскую ГЭС? Отчего это безлюдно стало на Золотых пляжах Апшерона? Для кого я сажал цветы? Почему?.. Почему в 1970 году ЮНЕСКО не отметило две тысячи лет со дня кончины египетской царицы Клеопатры?!.. (И снова замирает, на этот раз со склоненной головою и скрестивши руки на груди, а-ля Буонапарте в канун своего последнего Ватерлоо. И так остается до предстоящего через несколько минут вторжения медперсонала.)

Прохоров. Алеха!..

Алеха (тяжко дышит). Да... я тут...

Прохоров (тормошит). Алеха!

Алеха. Да... я тут... прощай, мама... твоя дочь Любка... уходит... в сырую землю... (Запрокидывается и хрипит)... мой пепел... разбросайте над Гангом... (Хрипы обрываются.)

Прохоров. Так что же это... Слушай, Гуревич, я видеть начинаю плохо... А тебе — ничего?.. (уже исподлобья).

Гуревич. Да видеть-то я вижу. Просто в палате потемнело. И дышать все тяжелее... Ты понимаешь: я сразу заметил, что мы хлещем чего-то не то...

Прохоров. Я тоже — почти сразу заметил... А ты, если *сразу* заметил, — почему не сказал? принуждал почему?..

Гуревич. Да кто же принуждал? Мне просто показалось...

Прохоров. Что тебе показалось?.. А когда уже передохла половина палаты, тебе все еще *казалось*?.. (Злобно.) Ум-мысел у тебя был. Ум-мысел. *Вы* же не можете... без ум-мысла...

Гуревич. Да, умысел был: разобщенных — сблизить. Злобствующих — умиротворить... приобщить их к маленькой радости... внести рассвет в сумерки этих душ, зарешеченных здесь до конца дней... Другого умысла — не было...

Прохоров. Врешь, ползучая тварь... Врешь... Я знаю, чего ты замыслил... Всех — на тот свет, всех — под корень... Я с самого начала тебя раскусил... Ренедекарт... Сссучара... (Пробует подняться с кровати и с растопыренными уже руками надвигается на спокойно сидящего Гуревича. Но уже не в силах — что-то отбрасывает его назад, в постель.) Сссученок...

Гуревич. Выражайся достойнее, староста... Что проку говорить теперь об этом? Поздно. Я уже после Вовиной смерти понял, что поздно. Оставалось только продолжать. Заметить-то я *сразу* заметил. А вот убедился — когда уже поздно...

Прохоров. Ты мне просто скажи — смертельную дозу... мы уже перевалили?..

Гуревич. По-моему, да. И давно уже.

Обмениваются взглядами, полными бездонного смысла.

Продолжает темнеть.

Прохоров. Пиздец, значит... Ну, тогда... Там еще чуть-чуть плещется на дне... Ты слушай: прости, что я в сердцах на тебя нашипел... На тебе нет никакой вины... Налей, Гуревич, весь остаток — пополам. Ты готов?

Гуревич (совершенно спокойно). Готов. Но только здесь умирать — противонатурально. Меж крутых бережков — пожалуйста. Меж высоких хлебов — хоть сейчас... Но здесь!.. (Чокаются кружками. Дышат еще тяжелее прежнего.) И потом — мне предстоит вначале большое дело... один обещанный визит... (Прохоров, ухватившись за горло и сердце, — клонится и клонится к подушке.)

Гуревич (машинально продолжает долбить). Они там маевничают... У них шампанское льется со стерлядями... У них райская жизнь, у нас — самурайская... Они — бальные, мы — погребальные... Но мы люди дальнего следования... Сейчас мы встанем... Изверг естества... неужели с ней? Уже несколько часов — с ней?.. А я-то: о Кане Галилейской... «Гуревич, милый, все будет хорошо...» — так она сказала. Сейчас мы посмотрим, до какой степени все будет хорошо... Сейчас, сейчас... (Вскакивает и опять обрушивается на стул.)

За сценой — или изнутри стен — упадочническая песня Надежды Обуховой: «Ой, ты, ночка, ночка те-омная...» etc.

Гуревич. Ты звал меня на ужин. Мордоворот, так я — к завтраку... Чудотворная девка! Натали!.. Пока я тут сижу и приобретаю модальные оттенки, они в это время... Господи, не мучай... они в это время... (Роняет голову на тумбочку и вцепляется в волосы.)

Голос сверху (голос, в котором не столько императива, сколько насморочного металла). Владимир Сергеич! Владимир

Сергеич! На работу, на работу, на работу, на хуй, на хуй, на хуй, на хуй...

Гуревич (подымает голову и глядит на птицу с недоумением безмерным). Боже милосердный! *Это* еще что? И я почти ничего не вижу... Библию мне и посох — и маленького поводыря... За малое даяние пойду по свету — благовестить. Теперь я знаю, что и о чем — благовестить...

Голос сверху. Влади-и-мир Сергеич! Владимир Сергеич! На работу, на работу, на работу (ускоренно) на хуй — на хуй — на хуй — на хуй...

Гуревич (с тяжким трудом приподымается со стула, вцепившись в тумбочку всей душою — только б не упасть, только б не упасть). Пока еще хоть немножко осталось зрения — я доберусь до тебя, я приду на завтрак... Ссскот... (Отрывается от тумбочки. Качнувшись, делает первый шаг, второй.) Ничего, я дойду. (Третий шаг. Четвертый. Спотыкаясь в темноте о труп контр-адмирала, — падает. Медленно, ухватившись за спинку чьей-то кровати, — встает.) Я дойду. Ощупью, ощупью, потихоньку. Все-таки дотянусь до этого горла... Ведь не может же быть, Натали, чтобы все *так и оставалось*. (Почти совсем темно. Пятый шаг. Шестой. Седьмой.) Боже, не дай до конца ослепнуть... Прежде исполнения возмездия. (И снова падает, рассекая голову о край следующей кровати. Две минуты беспомощных и трясущихся, громких рыданий.) Дойду. Доползу... (Как ему это удается? — снова встает во весь рост. Руками обшаривая перед собою пространство, делает еще пять шагов — и он уже у дверного косяка.) Сейчас... чуть передохну — и по коридору, по стенке, по стенке...

Прохоров, до того лежавший спокойно, приподымает голову — и издает крик, всполошивший все палаты, всех спящих и неспящих медсестер и медбратьев в дальней ординаторской и в докторском кабине-

те. Так в этом мире не кричат. Взбудораженные, полусонные, поддавшие постовые, с Ранинсоном во главе, — по освещенному коридору приближаются к 3-й палате поступью Фортинбрасов. Первое, что им предстает, — едва дышащий Гуревич, уже совсем слепой, с синим и окровавленным лицом. Боренька-Мордоворот пинком отшвыривает его от входа в палату.

Все врываются.

Ранинсон (перекрывая разноголосицу и гвалт). Срочно к телефону!! На центральный и в морг!!

Постовые медсестры (вразнобой). «А один-то! Один умер стоя! скрестивши руки!.. и до сих пор не падает, к стене привалился!» «Весь запас метилового — подчистую!» «Нет, один, по-моему, еще дышит...» «Кто же так кричал?» (И пр. и пр.)

Куча санитаров (толстых, с носилками). Сколько я помню, никогда такого урожая не случалось. (Начинается вынос трупов, поочередно. Конец финала второй симфонии Сибелиуса.)

Боренька. Наташа, где твои ключи?!..

Натали (ополоумев, даже не плачет). Ой, не знаю... Ничего не знаю...

Одна из медсестер. А Колю-то, Колю зачем понесли? Он ведь будто немножко дышит...

Ранинсон (язвительно). Ничего! Тоже — в морг! Вскрытие покажет, имеем ли мы дело с клинической смертью или клиническим слабоумием!..

Боренька (поддевая ногой раненую голову Гуревича). А с этим — что делать?

Ранинсон. Понаблюдайте за ним. А я — к телефону. Трезвону сегодня не оберешься.

Боренька (за ноги втаскивает Гуревича в середину палаты. Слепцу и зрителю почти ничего не видно. Бореньке видно все). Ну,

как поживаем, гнида?.. Тоскуем по крематорию?.. Вонючее ваше племя!.. (Серия ударов в бок или в голову тяжелым ботинком.) Мало вам было крематориев!.. Всех ведь опоил, сссрань еврейская. Всех!

Гуревич (хрипло). Я же — ничего не знал... (Еще удар)... Я же слепой... Я ничего не вижу... (Удар.)

Натали (из полутьмы). Что же теперь будет-то? Что же теперь будет-то? Мама!.. (Толчкообразно всхлипывает. Плачет, как девочка.)

Боренька (при каждой его реплике Сибелиус на время отступает, и вторгается музыка, которая, если переложить ее на язык обоняния, — отдает протухшей поросятиной, псиной и паленой шерстью). Ослеп, говоришь? сссучье вымя!.. раньше ты жил как в Раю: кто в морду влепит — все видать. А теперь — хуй чего увидишь! (Влепляет еще, потом опять в голову.)

Натали (истерично). Борька! Переста-ань! Перестань! Ведь это с ума сойти!.. Переста-а-ань же! (Закатывается в клокочущих рыданиях.)

Боренька (со все возрастающим остервенением). Душегубки вам строить надо, скотское ваше племя! (Серия ударов в почки, рычание слепого и сопение медбрата.) Пидор гнойный! Тварь ебучая! Ссскотобаза!..

Занавес уже закрыт, и можно, в сущности, расходиться. Но там — по ту сторону занавеса — продолжается все то же, и без милосердия. Рык Гуревича становится все смертельнее. Оттуда — из палаты — сквозь занавес — вылетает к зрителям куль с постельным бельем; следом тумбочка, и рассыпается вдребезги. Потом — клетка с уже околевшим *ото всего этого* попугаем. Никаких аплодисментов.

Ранней весной 85 г.

Крохотное послесловие

«За музыкою только дело», без этого нельзя. Кроме уже рассованных по тексту авторских указаний, можно использовать (совсем негромко) русские народные песни: вроде «Позарастали стежки-дорожки», «На Муромской дорожке», лучше оркестровые вариации на эти темы — (в 3-м акте). Русскую песню «У зари-то у зореньки» (в 1-й половине 4-го акта). 1-я часть 3-й симфонии Малера, совсем засурдиненно, в 1-м акте. Какое-нибудь из самых мерных и безотрадных Andante Брукнера в 5-м. Ну, и так далее.

Из записных книжек

Самый большой грех по отношению к ближнему — говорить ему то, что он поймет с первого раза.

У меня абсолютный слух. Я способен расслышать, как рушатся моральные устои на Пятницкой, 10, как плачут ангелы над погибшей душой друга Тихонова.

Это не для меня, это для менее сложных натур.

слово «что-нибудь» все честные люди пишут через черточку

Я на небо очень редко смотрю.
Я не люблю небо.

Так думаю я, и со мной все прогрессивное человечество.

Я сердоболен.

По Корану свидетельство одного мужчины приравнивается к свидетельству двух женщин.

Де Местр: простолюдин глуп, груб, безнравствен и подл.

Ванька-Каин и Сонька-маникюрщица. Уголовный роман.

футурист Антон Пуп

Не трогайте моих чертежей!

Жаб я не люблю. Я пауков люблю. И филина.

«Осерчала ты, Мать Богородица!
Богородица Мать, не серчай!»
(Городецкий)

Раз начав, уже трудно остановиться. 50 лет установления советской власти в Актюбинске, 25 лет львовско-сандомирской операции etc. etc. Все ширится мутный поток унылых, обалбесивающих юбилеев.

Как хороши, как свежи были позы!

«Но так скучать, как я теперь скучаю,
Бог милосердный людям не велел».
(Адамович)

Иди ко мне, подлюка, я с тобой поделюсь моей нехитрой девичьей тайной.

Опять о Прометее и под какую статью Уголовного кодекса попал бы страдалец.

Вл. Бестужев:
«Средь бесконечных волн рождаю
Мою свободную струю».

Вл. Бестужев:

«За видимым невидимое вижу,
Но видимое пламенней люблю».

Пидеразм Вроттердамский

Неуважение к русским только по одному мотиву — их легкий отказ от внешней, обрядовой стороны христианства, почти у всех поголовно, и от этого ущерб, всеобщий, самого христианского чувства.

«Приличие — величайшее несчастье XIX века»

(Стендаль).

В Японии свободно продаются в магазинах бамбуковые наборы для харакири.

«И что же дается в наших театрах? какие-нибудь мелодрамы и водевили!.. Сердит я на мелодрамы и водевили».

(Гоголь, «Москва и Петербург»)

О скульптуре: «Напрасно пытались изобразить ею высокие явления христианства».

«Не таковы две сестры ее, живопись и музыка, которых христианство вздвигнуло из ничтожества и превратило в исполинское».

«Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?»

(Гоголь, «Скульптура, живопись и музыка»)

Симбирский поэт начала века Ник. Лоскутов и его сборник стихов «Рыданье гибнущих надежд».

Гоголь о царе вандалов Гензерихе: им овладела та свирепая задумчивость, которая сушит и мучает душу.

Белый и синий — цвета Богородицы.

К вопросу о «собственном я» и т.д. Я для самого себя паршивый собеседник, но все-таки путный. Говорю без издевательств и без повышений голоса, тихими и проникновенными штампами, вроде «Ничего, ничего, Ерофеев» или «Зря ты все это затеял, ну да ладно уж» или «Ну ты сам посуди, ну зачем тебе это» или «пройдет, пройдет, ничего».

Чувствуешь себя, как Сухэ-Батор у гробницы Цеденбала, как Дездемона, придушившая Отелло, как бросившая Стеньку в волны небытия персидская царевна. Как Зойка, которая повесила полковника Курта Шнейдера на виду у всей деревни. А Шнейдер перед кончиною сказал: «Нас 73 мульона, всех, Зойка, не перевешаешь».

Если человеку по утрам скверно, а вечером он бодр и полон надежд, он дурной человек, это верный признак. А если наоборот — признак человека посредственного. А хороших нет, как известно.

Это напоминает ночное сидение на вокзале. Т.е. ты очнулся — тебе уже 33 года, задремал, снова очнулся — тебе 48, опять задремал — и уже не проснулся.

Бестолковость, т.е. поэтичность мышления.

Блажен, с кем смолоду был серп,
Блажен, с кем смолоду был молот.

Я владыка естества, не забывай, гаденыш.

В общежитии — «сапогом в живот надо, пусть корячится».

А она мне, субтильная мандавошечка, говорит на это: «А кто детей будет за тебя воспитывать, Пушкин что ли?».

Она пыталась придать своему голосу монархическую окраску.

Новость: Чапаева откачали.

Один, издеваясь, спрашивает: «Чьей женой была Нефертити, если мужем ее был Тутанхамон?» А другой, унылый скептик, отвечает: «Я с твоей Нефертити и срать рядом не сяду».

«Люблю сухой, горячий блеск червонца».
(Бунин)

Сильвио в «Паяцах»: «О, для чего тобой я околдован?»

У Городецкого: «Ах вы, ангелы, архангелы, святители мои!»

...написать задачник, развивающий, попутно с навыками счета, моральное чувство и чувство исторической перспективы.

Например такая задача. Выразить в копейках цены зверобоя, московской особой, столичной, российской и найти в истории европейской такую войну, все основные события которой следовали бы с теми же интервалами.

...Преодолевает свое «я», находит свое «я» и снова его теряет, преследует себя, обретает себя, вновь и уже окончательно преодолевает, но потом невпопад снова находит.

«По-модному одета
В широкое манто —
Она забыла это
И помнит только то».
(Потемкин)

Когда отступаешь от идеалов, напоминай обвинителям, что быть совершенно благородным скушно.

И рожи у них гладкие, классически-ясные. Если и есть прыщи, то где-нибудь у загривка.

солидное поэтизирование адюльтеров у этих антимещан и пидоров.

Ты жил в углу, мой Веничка.
Постранствуй-ка в пространстве.

Брюсов рифмует Сирию с Ассирией.

В стихах Ардова: «Дай руку мне, вся жизнь есть бред» или: «Не подходи, ты не поймешь цветов».

Коран рекомендует: «возноси хвалы при уходе звезд».

Во вступительной статье: все они пришли в канун века или чуть позже, и году к 20-му все перемерли или разбежались.

Все подлости относить на счет антиномичности ее души.

«Если хочешь — иди согреши».
(Д. С. Мережковский)

Северянин о городе Череповец:
«Давно из памяти ты вышел,
Ничтожный город на Шексне».

Писать надо по возможности плохо. Писать надо так, чтобы читать было противно.

Непомерностей надо требовать, непомерностей!

Оказывается, это знаменитый шансонье Шевалье, в своем соломенном канотье.

У Гоголя в «Майской ночи» Ганна признается Левко, что любит его без памяти за то, что тот умеет дергать и шевелить усом.

Конечно, можно прожить и без этого всего. Какое дело, к примеру, чукчам, есть у них Анакреон или нет?

И всегда с наступлением холодов с завистью вспоминаю Прозерпину, которую Плутон забирал к себе в Аид на эти зябкие полгода — и выпускал на волю к первым цветам.

Поэтизировать природу — самое недостойное занятие. Она ни в чем нам не сродни, т.е. слепа, нема, глуха и самое главное — не чувствует боли. У нее есть аппетит, пожалуй и все.

Розанов сказал: «Тайный пафос еврея — быть элегантным».

И Томас Манн в 42 г.: «И это такая простая правда, что больно говорить о ней».

Все настоящее берется оттуда же, откуда все ложное.

Вадим Лжедмитриевич

Суворин о Толстом: «Ну, что хотя бы и Хаджи-Мурат против Капитанской дочки? Говно». «Говно» было его любимое слово.

Знать о Перу не больше, чем есть в веселой истории Периколы и Пекильо у Оффенбаха.

О Брюсове в журнале «Сельская молодежь»: символист с гипертрофированным интеллектом.

Я длинен настолько, что «подпираю небосклон», как сказал поэт о Казбеке.

И вот тогда-то я научился ценить в людях высшие качества: малодушие, незрелость и недостаток характера.

молодежный вальс Хабибулина и молодежные песни Агабабова

Вопрос: кто из нас троих представляет собой художественную ценность?

говорить о меню применительно к духовной пище

Идеал последовательности: направляя заказ на книги в магазин «Книги стран народной демократии», писать так: Москва, К-9, ул. Горького, 15. Книги стран коммунистических однопартийных режимов.

Надо привыкать шутить по-«Крокодильски», например, так: «Будь у нее формы, я взял бы ее на содержание».

А ноги — ноги у нее длинные, как газопровод Уренгой — Помары — Ужгород.

Дай мне силы, Боже, пройти завтра мимо него и не плюнуть в лицо ему!

Веселись, негритянка!

в обществе блестящих женщин села Караваева

Это случилось в 1909 г., т.е. уже к тому времени, когда он (Скрябин) совсем раздухарился и стал давать своим опусам блатные названия.

Мне не нужна стена, на которую я мог бы опереться. У меня есть своя опора, и я силен. Но дайте мне забор, о который я мог бы почесать свою усталую спину.

что удобнее потерять: вкус или совесть?

если это система, то очень нервная, эта система

Рассказ о Маугли автобиографичен. Киплинг сам был вскормлен волками британского империализма.

и хочется кому-нибудь что-нибудь внедрить

А, знаю! Античность, громы Юпитера, зерно Персефоны, борьба титанов и драйзеров и т.п.

В 1956 г. стало известно, что Олег Кошевой был педерастом. Это послужило причиной фадеевского самоубийства.

С мира по нитке — голому петля

смертоносные сообщения

использование и возврат низменных чувств

В мировой поэзии скептицизм облекается обычно в форму шестистопных ямбов: например, так: Гамле́т не говорил: «ту би ор нот ту би». И Ма́льбрук никогда в поход не собирался.

у Ф. Сологуба: «Расстегни свои застежки и завязки развяжи».

Я лежу
На пляжу
На сопляжницу гляжу

О благородстве спорить нечего. У Матфея уже изложены все нормы благородства.

Если ты все знаешь, так скажи, какой средний грузооборот у Щецинского порта?

С детства приучать ребенка к чистоплотности, с привлечением авторитетов. Например, говорить ему, что святой Антоний — бяка, он никогда не мыл руки, а Понтий Пилат наоборот.

Любую подлость оправдывать бальзаковским: «Я — инструмент... на котором играют обстоятельства».

В мой венец он вплел 2—3 своих лавра, а я потом ходил и не понимал: откуда это так плохо пахнет?

Дежурная фраза Кузьминичны: «Сову видно по походке, а добра молодца — по соплям».

пристрастие всех неуравновешенных натур к моральной философии

все проделывала с потрясающей пластичностью

Хорошему человеку всегда хорошо.

«прекраснее самой красоты», как говорят на Филиппинах

Надо уметь «подождать до времени», чтобы избавиться от упреков разных сопляков, вроде Гамлета; надо доносить свои башмаки, прежде чем решиться.

Одна русская дама у Герцена: «Что мне надо сделать, чтобы полюбить Швэйцарию?»

Так же, примерно, модно, как в 50-х гг. было смеяться над Ламартином.

И чудак же этот Ахиллес Пелид! У всех нормальных людей только пятка неуязвима, а у этого — все наоборот.

Продается ручной скворец по кличке Федя. Разговаривает, свищет по-соловьиному, поет «Цыганский барон» и целуется. Цена 75 руб.

В 18—19-летнем возрасте, когда при мне говорили неинтересное, я говорил: «О, какой вздор! Стоит ли говорить!». И мне говорили: «Ну, а если так, что же все-таки не вздор?». И я наедине с собой говорил: «О! Не знаю, но есть!». Вот с этого все начинается.

Нужно, чтобы всякий предмет, попавшийся на глаза, мог стать темою.

Ягненок! Возляг рядом с волком! Слейтесь в поцелуе, мучитель и жертва! Сними паранджу, угнетенная женщина Востока!

философские камни в печени

Интересно, как глядели бы на тебя, если б ты сейчас вот вышел в белом жилете с отворотами a là Робеспьер. Или, например, орал бы в переулке: «Долой Гизо! Да здравствует Реформа!»

Последовательным антисионистом может стать только тот, у кого утвердилась Святыня.

Все больше разверзается пропасть между словом и делом американской администрации.

«Обжирайтесь, мрачные умы!»

Завет Талейрана: никогда не следовать первому побуждению, потому что оно всегда хорошо.

Не женщина, а телесное наказание.

индифферентная баба, беспорывная баба! Снежная баба!

Царь Мидас, к чему бы ни прикасался, все обращал в золото, а в твоих руках все делается дерьмом.

Вот еще красивое женское имя: Антанта.

Целых три рубля! «За каждым крупным состоянием кроется злодейство», сказал Бальзак.

Ритуальный танец Замбии «Убийство Лумумбы» символизирует радость жизни и борьбу с темными силами природы.

Чтобы жена никогда не сомневалась в твоей верности, — советую я, — дай ей понять, но только самым косвенным путем, что ты простофиля. Т.е. не абсолютно простофиля, а ровно настолько, чтобы не потерять любви и быть (одновременно) свободным от подозрений.

Добродетель ее подвергается частым нападениям по причине миловидной наружности. Но она, эта белая голубка, скорее умрет, чем запятнает свое оперение.

Вижу, как цветут каштаны. Прихожу к тому, что красивее калины ничто не цветет. Смотреть, смотреть. Нюхать, нюхать.

а оладьи такие нежные, такие аппетитные, — ну, прямо как девушки!

Ценные вещи создаются только в «мире, где все продается и покупается».

Любимый герой Шолохова (Давыдов, «Поднятая целина») говорит: «Ты бы лучше массовую работу вел, а расстреливать — это просто».

С этими людьми надо не человеческими словами говорить, вострым ножиком

Лично я убежден в историчности Адама и Евы.

О! До чего горька была участь женщины-узбечки до Октябрьской революции!

Родственные чувства испытывать удобнее, потому что они имеют очень четкий предел.

громадная душа в щуплом и веснушчатом теле.

Не женщина, а стихотворение в прозе.

Новая история интереснее старой. Можно было бы проследить, как дублируются поступки древних из тех соображений, которые им показались бы смешными. Муций Сцевола — о. Сергий, Курий — Гаршин.

тщетны россам все препоны

ничто не вечно, кроме позора

За одно и то же, т.е. за один способ поведения, известную группу металлов называют *благородными*, а газы — *инертными*.

«только деньгам нужна красота, красоте же и денег не надо»

«Был я голоден — и не накормили меня, был я наг — и не одели меня, не имел крова — и не приютили меня».

В стиле Ларошфуко: «Глупость недоверчива».

Вот клички: в 1955—57 гг. меня называют попросту «Веничка» (Москва), в 1957—58 гг., по мере поседения и повзросления, — «Венедикт»; в 1959 г. — «Бэн», в 1960 г. — «Бэн», «граф», «сам»; в 1961—62 гг. опять «Венедикт», и с 1963 г. — снова поголовное «Веничка».

Андре Моруа в книге «Моя родина», в книге, написанной специально для нефранцузов, говорит о Франции со всех сторон и решительно обо всем, кроме музыки.

А Мопассан, например, самой пошлой вещью на свете называл Эйфелеву башню.

Любите безмолвные игры.

Болван Робеспьер, он почему-то и в атеизме усматривал аристократизм.

И главное: научить их чтить русскую литературную классику и говорить о ней не иначе, как со склоненной головой. Все, что мы говорим и делаем, а тем более все, что нам предписано «сверху» говорить и делать — все мизерно, смешно и нечисто по сравнению с любой репликой, гримасой или жестом Ее персонажей.

А интересно, для чего чучмекам надо было устраивать в Ташкенте землетрясение?

У Чехова повсюду и постоянно герои поют романс «Не говори, что молодость сгубила...» Что это такое?

сантиментальная горячка

кремлевские обс-куранты

Всякие сопливые скептики ей говорят: «Бросьте, дамочка, вот уж третий год как он во гробе, и уж смердеть перестал». А она подошла ко гробу (о, как подошла!) и

говорит: «Встань и иди вон». И что ж вы думаете? — встал и пошел.

Она ведет с кем-то феноменологическую переписку. Она говорит, что устала быть экстравертированной. Но интровертированность ей не дается.

Колокольчики, лютики; собираю первые букетики; это развивает чувство тона и пропорции.

Мой малыш, с букетом полевых цветов, верхом на козе. Возраст 153 дня.

Во сне переживаю ситуацию, радующую совершенным отсутствием светлого исхода.

Я успел только пригубить из чаши восторгов, и у меня ее вышибли из рук.

А то, что я принимал за путеводные звезды, оказалось — потешные огни.

«Все хляби твои и потоки твои прошли надо мною».

далась вам эта внутренняя секреция!

«с точки зрения вечности» и «с точки зрения Фонарного переулка»

Двенадцатый день не пью, и замечаю, что трезвость так же губительна, как физический труд и свежий воздух. Мелкое наблюдение: я никак не могу вспомнить один редко употребляемый и более крепкий синоним к

словам «мракобес», «ретроград», «реакционер», «рутинер» — который уже день не могу вспомнить. Бьюсь об заклад, как только сниму с себя зароки и выпью первые сто грамм, припомню немедленно.

Для справки: в пересчете на абсолютный алкоголь в 1960 г. на земном шаре было выпито 65 миллионов гектолитров чистого спирта. В 1968 – уже 85 миллионов.

Открывайте возможности, в то же время внося неясности.

Когда он бывает чем-нибудь доволен, его любимая присказка: «Умерла моя старушка у окна».

Итак, в школах необходимо преподавать: астрологию-алхимию-метафизику-теософию-порнографию-демонологию и основы гомосексуализма. Остальное упразднить.

А я и спрашиваю: «Ангелы небесные, вы еще не покинули меня?». И ангелы небесные отвечают: «Нет, но скоро».

Научись скорбеть, а блаженствовать — это и дурак умеет.

В июне, в Мышлине, я все это (и самые тонкие яства, вроде Рильке и Малера) «кушал без аппетита». Теперь очень понятно, что значит «жрать все подряд» — только бы утолить голод. От этого голода (т.е. ни одной мелодии и ни одной стихотворной строчки за полмесяца) — самая естественная слабость, головокружение, «не речивость» и все такое. Если бы я вдруг откуда-ни-

будь узнал с достоверностью, что во всю жизнь больше не услышу ничего Шуберта или Малера, это было бы труднее пережить, чем, скажем, смерть матери. Очень серьезно (к вопросу о «пустяках» и «психически сравнимых величинах»).

«хорошенькое личико в стиле времен регентства»

И еще женское имя: Галиматья.

И при всем том я еще не встречал человека, которого эротическое до такой степени поглощало бы всего.

Прынц Гамлет, пляшущий матаню.

В Нотр-Даме бедняга Квазимодо полчаса «с жуткой равномерностью» и изо всех сил бьется головой об стену. И ничего. Потом он садится у двери «в позе, исполненной изумления».

Грустная песня США: «Отец небесный, заря угасает».

Невозмутимая истерия, но мне дорого обходится.

Стыд — лучшее из числа «благородных чувств». Можно завидовать мертвым во многом, но только не в том, что они срама не имут.

И возражения-то самые смешные: раз Флавий умолчал, значит Нагорная проповедь галиматья. Иона не мог попасть в чрево кита — значит и все книги пророков ничего не стоят.

«с недельку потужить» после кончины

Популярной в 20-е годы была поварская вегетарианская книга с названием «Я никого не ем».

Признаки верного благополучия в семье 20-х гг.: герань, гардины, граммофон.

Любит философствовать, приговаривая: «Кто создал наше тело? — Природа. Она живит и разрушает его каждый день. Кто выпестовал наш дух? — Алкоголь выпестовал наш дух, и так же разрушает и живит его, и так же постоянно».

Надо не деньги чеканить, надо чеканить афоризмы.

наш простой советский сверхчеловек

«Берегите слезы ваших детей, чтобы они могли пролить их на вашей могиле» (Пифагор).

он был человек простой и неотесанный, поехал в Горки проветривать мозги и т.п.

Бонапарт рекомендовал как можно чаще оперировать понятиями, ничего не выражающими и все объясняющими, например «судьба».

Прежде у людей был оплот. Гусар на саблю опирался, Лютер — на Бога, испанка молодая — на балкон. А где теперь у людей опора?

Один мой знакомый говорил: жизнь человеческая что детская рубашонка: коротенькая и вся в говне.

Есть языки, в которых вообще нет бранных слов и выражений, тем более нецензурных. У малайцев, например, самое сильное оскорбление и ругательство: «Как тебе не стыдно!»

А почему я бездельничаю — потому что в калашный ряд только со свиным рылом впускают, а вода только под лежачий камень течет, и т.д.

И если уж гнаться, то не меньше, как за двумя зайцами.

У жида есть искусство и есть торговля. И примесь искусства в коммерции, и примесь коммерции в искусстве.

«старичок крепкий, как умывальник»

«Гляжу я на тебя, Тихонов, и думаю: отчего это все великие люди плохо воспитаны?»

Для чего нам говорить «самолюбие», «тщеславие» и все т.п., когда у нас есть «гордыня», термин точный и освященный новозаветной традицией.

Аттила, принимая византийское посольство, сидел на троне и выковыривал грязь между пальцами ног.

Китайцы смеются, сообщая печальные новости — по их понятиям, это выказывает твердость духа и ограждает от выражений сочувствия. Эренбург: Эми Сяо сообщает ему о смерти своей жены — с хохотом.

Чувствуешь себя как соль рассыпанная, как разбитое зеркало, как в море оброненное колечко, как чернейшим из котов пересеченная дорога.

Я же не мешал тебе, когда ты грезил. Вот и ты не мешай мне грезить.

И сидят напротив меня три дамы: одна вся такая из себя пасторальная, другая – лунная (именно лунная, в отличие от солнечного мужа), третья – патетическая.

Фет — буфет. А у Маяковского даже: Фет — кафе.

и две коровы: одну назвали Догма, другую — Доктрина

Конь задохся, как удавленник. Бубенцы осатанели.

И еще женское имя: Агентура.

Дочку назову Пилюля, и вообще как-нибудь так ласково.

Mutantur tempora. В правлениях совхозов висят портреты патера Менделя. Стаханов, преклонный старик, застрелен в затылок при попытке к бегству ракетой «земля-воздух». Проходимец Лысенко объявлен врагом народа, а Надежда Крупская уличена в лесбиянстве. Мичурин, оказалось, на своем участке в Козловском уезде выполнял задания фашистских агентур. Сыновья удавлены. «Чорт» снова пишется через «о», а «весна» через «ять».

раздроблена нижняя челюсть правой ноги

Великолепное «все равно». Оно у людей моего пошиба почти постоянно (и поэтому смешна озабоченность всяким вздором). А у них это — только в самые высокие минуты, т.е. в минуты крайней скорби, под влиянием крупного потрясения, особой утраты. Это можно было бы развить.

Во Вьетнаме учрежден вымпел, который вручается подразделению, сбившему самолет противника после доклада Хо в Пхеньяне. Вымпел называется: «По приказу дяди Хо разгромим американских агрессоров».

У В. Тихонова ни сердца, ни ума, ни постоянства, ни идеи — одно только: индивидуальность.

А что нам с этих трехсот грамм будет? Мы же гипербореи.

И это желание выпить – вовсе не желание просто выпить, а то же тяготение к демократии. Заставить в себе говорить то, что по разным обстоятельствам подремывало, позволить взглянуть на те же вещи по-иному. Исподлобья или одухотворенно – не важно.

Ну, иногда поддам в присутствии дам — имбирную, агдам. А так я хороший.

Это кто тут у вас, Ерофеев, все стреляет? — спрашивает она.

Это Амур, — отвечаю, — стреляет мне в сердце, жестокая девушка.

Девочки должны быть парализованы. Так лучше.

«ни гласа, ни послушания»

Геббельс, автор неологизмов: «железный занавес» и «трудовой фронт».

отсутствие динамичности в моем характере

все потеряно, кроме индивидуальности

Не любить собак. Любимая собака Гитлера в подземье имперской канцелярии разделяет его судьбу. Собака-овчарка Блонди. Гитлер в марте 45 г.: «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак».

Солнце останавливали словом. Иоанн Богослов. Первые учебные заведения мира — школы риторики, а не военного дела, не медицины и пр.

познакомились и согрешили

И совсем это не Божья любовь. Это шашни Природы.

Байрон говорит, что порядочному человеку нельзя жить более 35 лет, Достоевский говорит: 40.

А какие имена (не фамилии, а имена)! Лазарь Каганович, Лаврентий Берия, Иосиф Сталин...

рожа красная, как святые раны Господни

Мне ненавистен «простой человек», т.е. ненавистен постоянно и глубоко, противен и в занятости и в досуге, в радости и в слезах, в привязанности и в злости, и все его вкусы, и манеры, и вся его «простота», наконец... О, как мои слабые нервы выдерживают такую гигантскую дозу раздражения. Я поседел от того, что в милом старом веке называли попросту «мизантропиею».

Господь, кого следует, приговаривает к стольким-то и стольким-то годам душевного потрясения.

стучит казбечиной по пачке «Казбека», гладит пистолет и дует в него, точит нож о голенище — «Ну, так как же, будем говорить?».

С этими людьми мне НЕ О ЧЕМ ПИТЬ.

Английские книги по этикету XV—XVI вв. запрещали, во время трапезы, плевать через стол и сморкаться в скатерть.

понемногу суживать тот круг вещей, над которыми позволительно смеяться

Мелкая сволочь. Люди вдесятеро сильнее их чувствующие зовут к самообузданию и являют образцы. А эти — не могут!

Публиций Сир: «Мы начинаем интересоваться людьми, когда видим, что они интересуются нами».

Вы такой нежный человек, Ерофеев, такой неожиданный. Я буду реветь, когда вы уедете.

Гете имел привычку принимать королевских особ у себя — во фланелевом халате и в тапочках.

Колхоз дело добровольное: хошь, не хошь, а вступать надо.

А вот еще одна моя заслуга: я приучил их ценить в людях еще что-то сверх жизнеспособности.

Магазины на ул. Пушкина. Соболя и колбасы. Вино, фрукты и диапозитивы.

«Буря возмущения среди трудящихся Англии»: консерваторы ввели трехдневную рабочую неделю.

и ограниченность и нормативность

Сравни их тяжесть и безвыходность и мою, дурацкую. У них завтра зарплата — а сегодня нечего жрать. А у меня ленинградская блокада.

А Тихонов бы все напутал. Он в Афинах был бы Брут, а в Риме — Периклес.

Т.е. виною молчания еще и постоянное отсутствие одиночества; стены закрытых кабин мужских туалетов исписаны все, снизу доверху. В открытых — ни строчки.

гарнизонным языком и походкою

с врожденным, но трогательным идиотизмом

Эпикур, в письме к Менелаю, свое знаменитое: «Благодарение божественной натуре за то, что она нужное сделала нетрудным, а трудное — ненужным».

Мистика всегда шла бок о бок с половой распущенностью.

«Гибельные следствия полуфилософии» (Карамзин).

Библейское: «И только печаль утоляет сердца».

Ввели новый термин: «бессильный гуманизм». Да и всякий гуманизм бессилен. Да здравствует бессильный гуманизм!

«вместо полноценного шизофреника с агрессивными наклонностями — ему подсунули заурядного болвана без всяких бредовых снов и аномалий»

«за кровавую блажь нескольких параноиков должна платить вся нация»

Вот и Христос: «тут же разрушу храм и в три дня его построю». Почему же в три, если он мог и в одно мгновение? Так убедительнее для обывателя.

«вмешиваться в земной правопорядок»

соитие страстотерпца с великомученицей

Они работают, ну и пусть работают. Это очень мило с их стороны.

Пресловутый Альмарик: «Россия — страна без веры, без традиции, без культуры и умения работать».

Марк Крепе у Максимова: «Да мир до самого светопреставления обязан благословлять Россию за то, что она адским своим опытом показала остальным, чего не следует делать!»

«обморочным ощущением отчаяния»

На всей земле нет более скучного умом человека.

Был один священнослужитель. Бывший. Он утверждал, что служит одному лишь кумиру. И что кумир этот — утробная ненависть к свободе и прогрессу.

Ото всего этого несет непоправимостью.

У него зато душа грамотная, душа — с высшим образованием.

«Мир — результат самоограничения Бога» (Л. Карсавин).

Не забывать о главном: трогательность.

Одну руку вложил в другую и сделал так подряд несколько стахановских движений.

Следует вести себя удовлетворительно. Отлично себя вести — нехорошо и греховно.

Я нахожусь все еще в той стадии, которая уповает.

И в самом деле (где-то у Шварца): если бы Франц Моор пришел в театр смотреть «Разбойников», он болел бы за Карла Моора.

Св. Филипп, в мире Феодор: «Не разлучай меня с моей пустыней».

«подкрепившись молитвой»

Альбер Камю «примыкал к модернистскому направлению так называемого героического пессимизма».

У него: «из столкновения человеческого разума и безрассудного молчания мира рождается абсурд».

Восстановить эту параллель пьющих и непьющих: Христос — Магомет; Дантон — Робеспьер; Геринг — Адольф; Есенин — Маяковский

По примеру языка нести коммуникативную функцию.

я уважаю немоту, если она высокоторжественна.

«Сорокин тем лучше Тихонова, что, когда выпьет, не говорит умных вещей».

Возьми на память из моих ладоней немножко водки и немножко пива... и не вспоминай жизнь свою.

Прежде у меня были в ходу глаголы: перебрать, поддать, а теперь – перекусить, подкрепиться и т.д.

женщина неограниченных возможностей

«непригодна для молодых субъектов»

бесстыдство помыслов

пукать надо чуть картаво, с еврейским акцентом

«ангел ты мой поднебесный»

«Превыше всего — забота о сохранении собственного достоинства» (Цезарь у Саллюстия).

Самые часто упоминаемые фамилии по заморским радиостанциям: Пиночет, Попадопулос, Померанц.

Протопоп у Лескова: «Мечтателю подобает говорить бестолково».

Да мало ли от чего дрожит рука. От любви к отечеству.

«Эта работа тем более подходила мне (работа историка), что я был свободен от надежд, от страха и от духа партийности».

Человек внезапный. А у меня нет никакого вкуса к этим внезапностям

У меня есть предчувствие, что я скончаюсь где-нибудь между Звенигородом и Вестфалиею. Но только интересно: ближе к Вестфалии или к Звенигороду?

«искалеченных правильной жизнью»

и одесситская манера выражаться: «Не доводите человека до крайности» и «Наплюйте мне в очи».

«мы восприняли это как оскорбление нашей мечты»

«Нет, товарищи, так мы счастья не достигнем!»

«По библейским понятиям, она была проклята Богом отныне и до века».

«такой нечаянный и огромный душевный покой (отсутствие самых ничтожных тревог), по словам людей суеверных, никогда не остается безнаказанным»

«одиночество, близкое к состоянию безмолвного душевного подъема»

«щемящие сердце взаимоотношения»

«у меня было какое-то важное дело на душе»
Ср. Сто дней Наполеона и Сто дней Магеллана.

«Поник я буйной головой,
Погибли идеалы».

(Некрасов)

Короткие мысли: «Любови цыганской короче», как говорил Блок.

На левую ногу я надел ботинок без носка, на правую — только носок. Пусть все видят, что я взволнован.

назидательное зрелище

Сходится клином земля, с овчинку кажется небо.

Это происходит и по вине людей и по Божьему попущению.

он щекотал под мышками эту великомученицу

Эпоха великих порнографических открытий

Солженицын не потому интересен, что о нем много трезвонят. Ср. например, шумы в местах радио «Свобода». Мы вслушиваемся не потому.

«хорошо образованную душу и хорошо устроенные члены» (у Коменского).

«кто хочет, пусть думает иначе»

«Здесь никогда не бывает благодатных времен года»

а иначе все это выглядело бы слишком легкокрылым

дегенеральный секретарь

«Наши внутренние силы ослаблены грехопадением»

«Это может доставить удовольствие только извращенному сердцу».

Из всех чар земных только пошлейшие на нее могут воздействовать.

«И все женские мысли твои,
Словно ласточки, стелются низко».

Романс Ипполитова-Иванова: «О, запах померанцев!»

Глупая радиостанция «Свобода», она выбирает для трансляций на Союз как раз те волны, на которых больше всего шума — нет бы сместиться влево или вправо.

Любить Родину беззаветно — это примерно значит: покупать на все свои деньги одни только лотерейные билеты, оставляя себе только на соль и хлеб. И не проверять их.

Никсон попросил Голду Мейр занять более гибкую позицию.

Уйди, противный, а не то я тебя убью из револьвера.

Глаза ее лучились и сверкали. Нехорошее, невысокое было это сверкание. Однако ж это было сверканием.

«Распускайте Думу, но не трогайте Конституцию» (Столыпин).

«таил в себе сокровища эгоизма и эпикурейских склонностей» (П. Анненков).

Вот у Некрасова изображение горя:
«Соленых рыжиков не ест,
И чай ему не пьется».

«Что мне в ваших рукоплесканиях?» (Иоанн Златоуст).

Настойчивость — это, по-моему, постоянное желание шлепнуть какой-нибудь настойки.

Всеблагий Боже, но чем же закусывать?

До победного конца. Т.е. или Садат пополам, или Мейр вдребезги.

послан на прежние местожительства

«там есть орхидея, прекрасная, как семь смертных грехов»

«заражен чужеземными взглядами»

«Обожаю простые удовольствия. Это последнее прибежище сложных натур».

«Идеальный человек. Но жаль, что пьянствует» (Чехов о Горьком).

Мы так и не прикоснулись друг к другу, я чмокнул ее в запястье, правда, а через полгода она родила пухлую девочку с голубыми глазами.

Мистика всегда шла бок о бок с половой распущенностью.

Чета Апухтин — Чайковский. Продлить и заподозрить: Рождественский — Таривердиев.

суесловие и пустозвонство

не инакомыслие, а супротивословие

Дуры песни поют, а дурак все горит, разгорается.

Князь Вяземский советует иметь по русскому часовому при каждом поляке.

«и раздвояется сердце человека»

«Не родись красивой», как сказал Андрей Эшпай.

И посылает нам искушения, чтобы удостовериться, насколько мы усовершенствовались.

«Я христианин и не подобает мне кланяться твари» (А. Невский).
«махровые головки» у цветов (русская поэзия)

Жандармский генерал-майор Глоба телеграфирует в Петербург директору Департамента Полиции: «Астапово

полное спокойствие. Население относится безучастно к участи графа Толстого».

Графу Толстому, за 3 дня до кончины, для поддержания деятельности сердца дают коньяк.

«Счастлив тот, кого смерть застигнет за подобным занятием» (Эразм Роттердамский).

Он все путает Андре Жида с Андреем Ждановым. Леконта де Лиля с Руже де Лилем и Мусой Джалилем. Бук с бамбуком.

вела себя естественно и позорно

30 лет, а выглядит, как цветочек, как блядиолус какой-нибудь.

Жители острова Гельголанд желают друг другу в Новый год не здоровья, не удачи, а «спокойного сердца».

«Иногда, хоть и редко, свежевыпущенная моча светится фосфорическим светом; причина фосфоресценции еще не выяснена» (проф. Бок).

Одоевский, 13 дек. 25 г.: «Ах, как славно мы умрем!»

Пленцдорф. «Еще один гвоздь в мой гроб, старики!»

я упал в обморок, но не показал и виду

Не замечать за собой ничего дурного. Пусть левая твоя ноздря не ведает, куда сморкнулась правая.

«а по ночам обнимать пустоту», как говорит Мопассан.

«нечто необычайное, превышающее всякое вероятие»

Что в этом случае сказал бы псалмопевец? Он ничего бы не сказал.

Выпью еще стакан солнцедара, закушу луковицей и буду славить моего Господа.

Щербина говорил о русских:
«Мы — европейские слова
И — азиатские поступки».

во Владимирской области, «заколдованной области плача»

О где же необольстительный Судия? Чего он медлит?

Не возмещу моральной потери, но и подставлять левую щеку потом не буду. Попробую забыть и «перестрадать». Пусть левая твоя щека не ведает, что тебя съездили по правой.

параноик «с византийским уклоном»

в скоморошьем расположении духа
в дидактическом, менторском etc.

свежа, как предание

«Прости меня, благородное животное».

Опять о животных. Столкновение со стадом кабанов... Когда Господь прибирает нас к рукам, против этого нечего возразить. Когда человек — это еще куда ни шло. Но — эти... etc.

«в этих стихах слышится вызов небосводу»

нации, скопом, вымирают от угрызений совести

Эразм говорил: всего безопаснее спать на клевере, потому что змеи никогда не прячутся в этой траве.

Конституция должна гарантировать человеку право на галлюцинацию и «перманентную угнетенность».

Сколько среди персонажей русской беллетристики XIX самоубийц — больше, чем было в действительности. Ср. в XX — повальные самоубийства, а ни один почти персонаж не покончил с собой.

И не забывать о своем диаспорическом родстве с иудеями.

Ключевский: «гальванистические подергивания мозгами».

От каждой двадцатой бабы тебя, Ерофеев, кидает в озноб.

Ему вообще пить нельзя: он от этого сразу падает в обморок. Особенно, если пьет в бабьей компании — они его так корежат, они его так пронзают, что он берет и шле-

пается в обморок. В один из этих обмороков он подхватил себе гонорею... а потом — вторую...

Твоя фатальная девочка скоро облысеет, раздавая локоны разным православным бабникам.

«в мою взволнованную душу, в которой свирепствуют тысяча бурь»

Какого им еще мессию? И что он сможет добавить к тому, что тот уже сказал? Этот, ихний, будет молчать и заниматься судопроизводством.

Еще женское имя: Прокуратура (просто Прошка).

«Между нами зияла метафизическая бездна»

Сослан в Тулу за гомосексуализм.

морганатический (т.е. тайный) брак скреплен симпатическими чернилами.

Этого глупца даже удобно держать у себя в квартире: он поглощает углекислоту и выделяет чистый кислород.

«Ночь глуха, полна соблазна.
Девы грудь волнообразна»
(В. Бенедиктов)

Хотел ее пощупать, но это вызвало бы большой международный резонанс.

Установить для Мельниковой, был ли Дантес евреем, она мне за это полтинник даст.

Черный сентябрь. Под угрозой парабеллума направить автобус с детишками куда-нибудь. Дорогой выбрасывать трупы первоклассников и цветы.

Мгновенье. Безобразно ты. Не продлевайся. А впрочем, погоди.

и никто во вселенной над этим не властен

Они мне вот: Россия погибает. Ну и пускай. Ей вроде бы к лицу. Никому бы так не пошло умереть, как Ей. Причем самым недостойным образом. Это входит, по-моему, в расчеты Господа Бога.

«поднять русского человека превыше страха и колебаний земли»

и лишить его демонического ореола

рукотворный, т.е. ману-фактурный

Если в граммах считать, я больше пролил слез, чем Боря водки выпил.

И Сергей Михалков, одержимый холопским недугом.

До чего дошло дело: передачи по радио для любителей русского языка: «Труженики-суффиксы и работяги-приставки».

А в одиночестве он занят непотребством, вместо того чтоб откровенно беседовать с Богом.

Еще замысел: если меня сейчас остановят и спросят (вздор какой-нибудь), я отвечу (невпопад). Если догонят, возьмут за локоть и спросят (опять вздор), я уберу локоть и ничего не отвечу. И т.д.

Что он замышляет против мира, знает он сам.

Сергий Радонежский: «От юности своей я не был златоносцем, в старости же тем более хочу пребывать в нищете».

«романтическая причуда» — прежде чем уничтожить человека, обрезать у него уши

О степенях взволнованности: у Ахматовой перчатку с левой руки надевают на правую руку. У Самуила Маршака те же перчатки уже надевают вместо валенок.

Лучшее назначение перчаток у «полноценных» людей. Герой Жуковского швыряет ее даме сердца в ебало. Герои Лермонтова — кидают ее оскорбителям, требуя сатисфакции. Герой Льва Толстого лайковой перчаткой лупит татарина по зубам.

всеобъемлюще, незыблемо и достоверно

Не умер, а «ушел за грань земного кругозора».

Старик Петруша: «А сегодня вот что снилось: сижу я на завалинке, курю, и вдруг мне глас с неба: брось курить, Петруша, а то умрешь».

Европе нужен бык, быку нужна Европа.

Ткацкая фабрика имени Пенелопы.

Вы такая аппетитная дамочка, такая соблазнительная, дозвольте у вас п-пульс пощупать.

Дурачить людей по методу Станиславского.

Я стал терпимее к иноверцам

Лучше недобдеть, чем перебдеть

в целях продолжения перспектив

разделяя его разрушительные идеи

Все то, что можно короче назвать собирательным именем «муки транзита».

Надо только уметь подкараулить это в себе и облечь в более или менее зловонную форму.

вульгарное	*изысканное*
хлебные карточки	гиацинты
жилотдел	грезы
казенные портянки	па-де-труа
маргарин	левкои

подоходный налог
ливерная колбаса
солдат
туберкулезный диспансер
«попердывал»
автобаза
младший сержант
Дашка
совнархоз
понос
санпропускник
завскладом

протуберозы
любовники
жюрфикс
грациозно
фильдекос
богиня
фиал
сладостный илот
маминька
лирический вздох
гармония
Санта Мария Новель

Смрадные и грешные отверстия ниже пупа

на мне слишком много вериг

О русских и прочих песнях. Русские продиктованы тем или иным видом опьянения, тоскливого или бесшабашного. А песни типа: «Под горою, под сосною спать уложите вы меня» — в состоянии похмелья, наутро.

Ср. итальянские: «Купите фиалки, они недорого стоят».

Ср. украинские: «Я не пойду за тебя, у тебя нет хаты» и пр.

Кстати, об Иоганне Штраусе. Проститутки у Чехова, Куприна, Горького etc. от него без ума, то есть именно от него: см. у Горького в рассказе «Отомстил»: «У него нервный звук. В его музыке звучит нега и страсть».

Вот чем (арифметически) измерять моральную ценность индивида: длительностью реакции на эквивалентное ранение.

«А что я с этого буду иметь,
Того тебе не понять»
(Новелла)

Тертуллиан и его знаменитое «душа человеческая есть по природе своей христианка».

Розанов: «Душа человеческая по природе своей язычница, которой, чтоб воспитаться христианкою, нужно пройти через тесные врата бесчисленных отречений».

В «Правде» 37 г. статья «Колхозное спасибо Ежову».

Советская власть стала взрослеть тоже на 37-м году.

мальчик величиной в 5 лютиков, в 2 одуванчика

Не говори с тоской «не пьем»,
Но с благодарностию «пили».

А после пива сразу красное, «не переводя дыхания», как говорил Эренбург

французские композиторы на М: Манто — Маникюр — Манекен — Медальон — Меню

Лишить нашу Родину-мать ее материнских прав.

«это я сделал, и вседержитель это видит»

толстеет, раздается, как топор дровосека

Макс Штирнер: «Я ничего не делаю — ни Бога ради, ни человека ради; все, что я ни делаю, я делаю лишь ради самого себя».

Из чьей-то скептической песни: «Ври, Мюнхгаузен! Выдумывай, барон! Выдавай за чистую монету! Не стесняйся, старый пустозвон, — все равно на свете правды нету!»

«И скончался на 88-м чихе под громкий смех окружающих».

Когда Господь прибирает нас к рукам — против Него нечего возразить.

Любить тебя или наоборот? Т.е. перед тобою пуд соли и тебя терзает: съесть с тобою этот пуд или высыпать его тебе куда-нибудь.

Я, как стакан, хрупок и тонкостенок. Я многогранен, как стакан.

«невозмутимо и безжалостно совершил свое черное дело»

пастельность и цельность

выебончик с надрывчиком

По Шопенгауэру: бессмысленна всякая деятельность (кроме деятельности мыслителя, философски доказать эту бессмысленность).

Как у тургеневских девушек — страсть к чему-то нездешнему, зыбкому, к чему-то коленно-локтевому.

инакопишущие

беспутства хватило бы на 10 гениев

В разврате каменейте смело.

У меня нет адресов, у меня только явки.

А какой твой любимый знак препинания? А какие отправления ты больше любишь: почтовые отправления, отправления поездов или отправление естественных потребностей?

На столе сервированы были болгарские духи с водой из унитаза.

С меня, болшевского, П. И. Чайковский написал свое знаменитое Andante cantabile на тему «Сидел Веня на диване, курил трубку с табаком».

Как увижу черноокую,
Промтовары разложу.

От одних только икр ее мороз подирает по коже.

И зимних друг ночей, трещит мужчина перед ней.

«без всякого намерения, из одной опрометчивости»

«следствие расположения духа и обстоятельств»

Народные заговоры и средства:

1. От зубной боли. Стиснув во рту корень лесной земляники, задушить двумя пальцами крота.

2. Все почти заговоры начинаются так: «Лягу я, раб Божий, и, помолясь, встану, благословясь, умоюсь я росою, утрусь престольной пеленою, пойду я из дверей в двери, из ворот в ворота, в июле и скажу... (что-нибудь ляпнуть)».

и трепетная, как реальность

Мартин Бубер: «Чувство времени у евреев развито намного сильнее, чем чувство пространства: красочные эпитеты Библии говорят — в противоположность, например, гомеровским — не о форме и цвете, а о звуке и движении».

Снять с него штаны и избить по пяткам дирижерской палочкой.

От любви к Родине: расстройство чувств, нарушение координации, дрожь в руках, в висках боли.

Я бесил их своим бессилием.

и преуспела на поприще бессловесности

Из всех слов женского рода это слово претерпело наибольшую девальвацию

Ну, конечно, зачем ему знать латинские глаголы и спряжения, когда ему «ведомы глаголы вечной жизни».

Не будем обижаться, не будем издеваться,
А будем обнажаться, а будем раздеваться.

мне хотелось бы черпать тебя загорелою рукою

вместо «плащ» говорить «гиматий»

«книга, полная романтических измышлений»

музыка балетно-дивертисментного характера

«Она (христианская религия) всегда оставалась в Советской России самой значительной альтернативой большевистской идеологии».

А в ответ на это сказать какую-нибудь гадость, например: «Служу Советскому Союзу».

Фрейд: «Удовлетворять свои сексуальные импульсы гетеросексуальным путем».

обед: опоссум с бататами

«До сих пор нет большей печали для человека, чем начать лысеть преждевременно».

Еще один предмет для подражания: св. Денис, когда ему отрубили голову, взял ее в руки и прошел с нею восемь верст.

В те дни, когда твоя осанна проходила через горнила.

В поваренной книге определение того, что такое гювеч — болгарское национальное кушанье из мяса, риса и овощей, которое может быть без мяса, и без риса, и без овощей.

«спивается от неосуществившихся амбиций»

Алиготэ — это лучше, чем либерте, эгалите, фратерните.

Когда легковерен и молод я был,
Российскую водку я очень любил,
Молдавскую водку я очень любил,
Кубанскую водку я очень любил,
Ну, да и Перцовую очень любил.
Когда ж легкомыслен я быть перестал,
Московскую водку я пить перестал
Стрелецкую водку я пить перестал.
И вдруг словно замер мой конь на бегу —
Стрелецкую водку достать не могу,
Российскую водку найти не могу,
Донскую, Степную купить не могу,
А что за причина — понять не могу.

В колыбель тебя надо! В землю тебя надо, в колыбель человечества.

«и ему стала так невыносима мысль о разлуке с сыном, что он задушил его носовым платком»

«и не было б детей, разрывающих наши сердца»

Ты вынул из меня душу. «Сердце трепетное вынул».

болеутоляющие функции

«Делая букет, надо в душе поговорить с цветком» (5-е правило из «50-и заповедей икебаны»).

Музыка хороша в высшей мере и не исполнена, а приведена в исполнение.

Со времени Паганини скрипка его лежала в Генуе, и никто не имел права прикоснуться к ней. Первый, кто дерзнул взять ее в руки и сыграть на ней, был скрипач Б. Гребенщиков.

Дон Гуан говорит Командору: Я чай пью — приходи ко мне чай пить — только со своим сахаром.

баба должна быть безгневною

«Твои глаза от этого синеют»
(П. Б. Шелли).

Ты как-то запала мне в душу, и я больше о тебе не вспоминал.

Они боятся вредного. «Это вредно». Вредно сдерживать в себе газы. Вредно сообща прикладываться к одному кресту.

не «пока живу», а «дондеже есмь»

Всё пусть. «Пусть скачет жених, не доскачет». «Пусть неудачник плачет».

Так и умру, не научившись свистеть. Так и не свистнув ни разу.

Приснилось однажды милиционеру, что он бабочка. Он весело порхал, делал ноздрями и не знал, что он — милиционер, был счастлив. А проснувшись внезапно, даже удивился, что он совсем не бабочка, а милиционер. И он не знал уже, — милиционеру ли снилось, что он бабочка, или бабочке — что она милиционер.

Может обойтись без всех тот, кто в себя погружен.

«Только питье держит в равновесии тело и душу» (Г. Белль).

У Горбунова: «Кто-то кричит и тонет. Чья-то душа Богу понадобилась».

Ты такая толстая, что тебя не то что таскать на руках, на тебя смотреть тяжело.

Поговорим о чем-нибудь несуществующем, хватит плоского реализма: об деньгах Тихонова, об уме Любчиковой.

Кто из нас больше всего накоротке с Богом? Людские мнения мы уже слышали, но на них начихать.

«Перед великим умом я склоняю голову, — сказал пошляк Гете. — Перед великим сердцем — колени».

Родилась тогда-то. И была со мной каждый день. А потом куда-то делась, я не знаю куда.

Идем, дома у меня никого нет, сестра-студентка — на овощебазе, брат в командировке, мать в параличе, отец — в Анголе.

Я выбросил ее из окна, с 9-го этажа на 4-й. Я защекотал эту великомученицу.

Из нее Лорелея бы хорошая вышла. Лежит в болоте, в чепце, в цветах, и ее, как магнолию, уносит потоком.

Прелюдия Глиэра в исполнении Я. Флиэра.

Удач тебе на всех путях твоих.

Я вначале мечтал быть стеклодувом, потом — фальшивомонетчиком, вампиром — а потом опять стеклодувом! И прекрасной дамой!

Ты с детства лелеял эту мечту — или эту мечту ты начал лелеять после детства или вообще никогда не лелеял?

Кто бы ни был прав — Библия или Дарвин — мы происходим, стало быть, или от еврея или от обезьяны.

Тем же занят был, чем были заняты пажи с графиней на виноградниках Мабли.

Плакать надо от чего-нибудь большого, не надо мелким быть в слезах. Например, от большого количества выпитого, от большой глупости Тихонова, от большого ума Любчиковой.

Почему я должен болеть за арабов? Ни один араб меня еще ни разу не похмелил.

И днесь не пью, и присно не стану.

Завет Николая Гоголя — не оставлять порывы. Мы даже в этом переборщили.

Он избрал самую скверную из баб. Надежду. Такое же отсутствие вкуса у него во всем, и в выборе самого скверного способа правления.

Снова выплыли гады из мрака.

Это мы уже одолели. Мы уже привыкли ценить только непомерное.

На нашей стороне все, в ком еще душа держится.

Это, можно сказать, не просто хорошая проза, а вкусная и здоровая пища.

«У лиц с пониженным или отсутствующим этическим чувством».

В этом, конечно, есть своя правда, но это комсомольская правда.

Хорошие сравнения у Гейне: как говорили о евреях, распявших Христа, так и в год знаменитого восстания в Сан-Доминго чернокожих: «Белые убили Христа! Перебьем всех белых!»

Слово «социализм» изобрел в 1834 г. Пьер Леру.

174 года со дня изобретения Карамзиным слова «впечатление».

Ты черный металл, я цветной, я и мягче и ценнее.

и ненависть к людям исполинского духа, где бы он ни проявлялся

«Однажды Бог явился мне и сотворил чудо», как сказала Юлия Шмуклер.

недемократические привычки, например, мыть руки перед едой

Нагадить — на вершинах Килиманджаро, Джомолунгмы, Фудзи, Монблана и на обеих вершинах Эльбруса. Вот это я понимаю.

Адам из мягкой глины, а Ева из твердого ребра.

проговорили ночь о первопричине всех явлений

Все мыслью объять и все успеть совершить.

мечта о благосостоянии в прямом, а не в карманном смысле слова

исправлять диспетчерские функции

вольный каменщик на богостроительстве

Мне все равно кем быть — барабанщиком или банщиком.

Любой донос хуже, чем тысяча плохо сделанных порнографических открыток. Любой дон-хуанов список лучше, чем самый лучший проскрипционный.

Пора домой. Я чем-то удручен.

«Она мечтала уйти из мира, где отсутствует замысел».

«Словно бы, говорит, мне скушно, третий день сердце чешется».

Прощай. Веревку и мыло я найду.

Гроза-то мелкая-мелкая. Гроза Николая Островского.

С таким грузом добросовестности можно ли жить?

У Гейне: «Только дурные и пошлые натуры выигрывают от революции. Но удалась революция или потерпе-

ла поражение, люди с большим сердцем всегда будут ее жертвами».

И этот хронический гамлетизм, хотя я не убил ни одного отца ни одной из своих невест, и мама моя не выскакивала замуж за убийцу моего папы.

«Пусть жена изменяет мне, только бы Родине не изменила»

Я влюблен в свою Родину, достоинства и изъяны ее.

Королева изящества и рыцарь мечты. Барышня и хулиган. Подлец и проститутка.

«Чувство юмора» (так называемое), доведенное до масштабов мефистофелевщины. И дурак Фауст с его прожектами, и оскорбленная девка, Мефистофель на случай «великого преобразования природы» удаляется на Брокен плясать с голыми ведьмами, и ни одна баба от него не накладывала рук.

Короче, свальная безгрешность.

«в тихий край медлительных движений и медлительных улыбок»

Взрыв в Хиросиме и единственное существо, выразившее протест, — Римский Папа.

И чего стоит мир, если над ним не тяготеет ни одно проклятие.

К вопросу о «больше пролил слез», чем и т.д. У меня больше грязных мыслей в голове, чем грязных волос на ней и т.д.

«подкрепляя достоверность своих слов ссылками на Талмуд»

Манера письма должна быть чрезвычайной, а интонация — полномочной.

И кроме, еще: мы обязаны свято хранить (оберегать) массивы Уссурийской тайги. Так разве я нарушил? Я сижу и свято оберегаю. Я в эти массивы еще даже ни одного окурка не бросил.

Так много зайцев в этих сверхснегах. Дед даже поскользнулся на одном из них.

Если б в 45 г. мы двинули бы дальше на Запад, дошли до самых западных штатов США, то по типу Суворов-Рымникский, Потемкин-Таврический, Дибич-Забалканский, маршал Жуков звался бы Жуков-Колорадский.

Когда Господь глядит на человека, он вдыхает в него хоть чего-нибудь. А тут он выдохнул.

Прямо пойдешь — жить не будешь, налево пойдешь — жизнь потеряешь, вправо пойдешь — умрешь, назад пойдешь — околеешь.

И холодно, как будто ты не у себя в постели, а где-нибудь в море Лаптевых.

чуйствую с утра недостаток ядерного потенциала

Не надо ничего, кроме соединения крайней бестактности с крайней неповерхностностью. Величайший образец — Иисус. Верх глубинностей и вершина бестактностей.

умен от вечной темноты

«крайне жизнеспособная посредственность»

Служить не катализатором, не ферментом даже, а просто антифризом.

Надо еще подумать, для каких целей в 40-х годах Господь обделил нас поражением

Ну, да что говорить, все зависит от душенастроения. Вот и наш портвейн народ зовет иногда пренебрежительно бормотуха, а иногда ласково портвешок.

Вино крепленое – «бормотуха». Тогда уж водяру надо ласково называть «косыночка».

Если б меня спросили: как ты вообще относишься к жизни, я примерно ответил бы: нерадиво.

Куда ты ведешь нас, безумный старик?
А хуй его знает, я сам заблудился.

Русское народное. Моя милиция меня бережет, сперва посадит, потом стережет.

А веселиться я не люблю. Я человек бесшалостный.

Ты буднишношатающийся, а я праздношатающийся.

«Чудней живи — скорей прославишься»

Ну, конечно же, буду более или менее весело и бессовестно врать. Ложь, только ложь, и ничего кроме лжи.

Андре Жид называет бескорыстную ложь «беспричинным актом».

В високосный год надо, чтобы водка стоила 3.66.

А вот Хомейни. Они поступают как Магомет, и торжествуют потому. Кто бы в Европе рискнул бы поступить a là Иисус?

До чего же разные: эти почитают грехом спутать Ишуя с Абессаломом, а те — перепутать Белу Руденко с Евгенией Мирошниченко.

Кто это говорил, что деревья — это всего-навсего недорезанные бревна?

И как быстро наступает тьма в этом ноябре. Я размахнулся — было еще светло, а как ебанул, полная темнота.

И два взгляда на вещи: точный и восточный.

Ведь блядь блядью, а выглядит как экваториальное созвездие.

Писал себе письма, похерив гордость мужскую, говорил о любви, просил перемениться. И пр. И сам себе, из девичьей гордости, не отвечал.

Урожай был получен не ниже, чем в прошлом году, несмотря на то, что в этом году погодные условия были таковы, что обусловили некоторое снижение урожая ввиду неблагоприятных погодных условий.

«вот рассмотрите сами внимательно Вашу душу»

очень невонючий образ мыслей, так что подозрительно

Самое милое из именований партии: правящая с этого года в Канаде прогрессивно-консервативная партия.

Спросят, кем работаешь, скажи первое, что в голову подвернется, например так: энергетиком Нурекской ГЭС.

Вернее, не так. На вопрос: кем работаешь, отвечать: энергетиком Нурекской ГЭС и по совместительству узурпатором.

надо так и говорить: «в лето Господне 1972-е» и т.д.

Зуся говорит: «Бог не хочет, чтобы я был Моисеем. Он хочет, чтобы я был Зусей».

«девушка с пальцами слишком тонкими, с мечтами слишком хрупкими» (Эренбург)

И у них, у этих девушек, в душе что-то такое большое-большое, неразрешимое-неразрешимое, как проблема иранского Курдистана.

Да ну, чепуха, так просто. Чтобы чаще Господь замечал.

Да и брамины говорят: «Религия должна состоять не в соблюдении внешнего культа, а в том, чтобы служить ей каждым своим дыханием».

и все дела-то у меня такие, мокрые, от слезы

Веня и теперь тупее всех тупых

«эволюция к более возвышенному воззрению»

А Кант вот что сказал: «Истинная нравственность поступков (заслуга и виновность) даже наших собственных — остается навсегда совершенно скрытой от нас».

Балаганный взгляд их на нашу словесность. В какой-то державе симпозиум: Войнович и Ерофеев. Пьеро и Арлекин. И пр.

Ну, короче, все то, но немножко не так, и подозрительно оттого. Как у героя 70-х гг. Ипполита Мышкина: аксельбант не на том плече.

«Стальная птица» и пр. у Аксенова. Пустые шти хлебает мельхиоровыми ложками.

Мои познания в альпинизме ограничены только тем, что «народному вождю Красной Армии» в сказочно далекой Мексике раскроили череп альпинистским ледорубом.

так же скучно, как делить человечество на две категории: брахицефалов и долихоцефалов

«Ну что же, это честная печаль», говорили в 80-х гг. прошлого века.

Я оптимистично гляжу на мой народ: Количество подбитых женских глаз все-таки больше, чем количество доносов женских.

души прекрасные надрывы

сидит такая ликующая, праздно болтающая

бесполезное ископаемое, вот кто я

внелогичен и по ту сторону всяких обязательств

Зин. Гиппиус говорила о повороте русской поэзии (и не только) от «понятного о понятном» к «непонятному о непонятном».

спец по части религиозных наитий

Погоди, я приеду позднее, тов. Суркин будет делать двухчасовой доклад о существе человека.

Под знаком вышибаемой из ума икоты. Под знаком рвоты, которой нет предела. Канун трагический.

а ведет себя так, будто он народное достояние

И по любому поводу говорит: «Спокойно, Маша, я Дубровский».

Ей — шлея под хвост, а мне кортик в грудь, по самую рукоять.

К вопросу о русской необгонимой тройке. Март 1953 г.: «Динь-динь-динь, и тройка встала, Ямщик спрыгнул с облучка».

«И сам летишь, и все летит» (о нынешней русской птице-тройке).

Я на мир не смотрю, я глазею на него.

Я живу в эпоху всеобщей невменяемости.

Все сообщают какую-то чепуховину: в Тель-Авиве подорожали яйца и бензин.

Помолчи, не проникай, я сам знаю свои сроки, не вводи свои танки в мой Кабул.

Гибну — потому что взломали стены в Сантьяго-де-Куба, штурмуют казармы Монкада.

Любопытные сведения из последней русской истории: в 1932 г. была объявлена «безбожная пятилетка», планировалось к 1936 г. закрыть последнюю церковь, а к 1937 г. — добиться того, чтобы имя Бога в нашей стране не произносилось.

А вот Михаил Евграфович говорил, что если хоть на минуту замолчит литература, то это будет равносильно смерти народа.

достойно только восхищения и ничего больше

Мне уже по вкусу бедные, но опрятные стихи.

И не то что слова эти не имеют ни цвета, ни вкуса, ни запаха, а сами эти обороты холостые, как у нового агрегата Саяно-Шушенской ГЭС

И набожность должна быть одаренной — а у него она и не глубока, и упряма.

Ну, немножко покаянствуешь, немножко подушегубствуешь.

Ты что же, зараза, хочешь изменить предначертания судьбы?

Стороны той государь, Генеральный секретарь.

а в это время я, одержимый гегемонистическими амбициями...

Красота моя с ума меня свела.

«пустота, которая утешает и морочит себя подвижностью»

А на прощанье — шаль с каймою
И что-нибудь еще — стяни.

«Я сказать тебе не смею,
Что давно тобою тлею,
От твоих прекрасных глаз
И от пламенных зараз».
(Ермил Костров)

Громадная ода Клушина, с заголовком: «Благодарность Екатерине Великой за всемилостивейшее увольнение меня в чужие края с жалованьем».

Нонешний русский патриарх выступает с заявлениями типа «Все советские люди должны сплотиться вокруг...» или «Долой конфронтацию! Да здравствует детант!»

А я на них (на православных) гляжу флегматично, как на декабристов-диссидентов барон Дельвиг.

Диссидентов терпеть не могу. Они все до единого — антимузыкальны. А стало быть, ни в чем не правы.

Я третий день шел в пятый класс школы, когда русские испытали атомную бомбу. 3 сентября 1949 г.

Говорить о ней, как по радио говорят о каком-то агрегате: отличается большой маневренностью и высокой проходимостью.

Человек — это звучит горько (просто сорвалось).

Контрреволюции не делаются в перчатках.

Почему британцы все это должны делать за нас: Оруэлл, Конквест, Кестлер и др.

А все, что загадка, то гадко.

в чем-то соглашаюсь с Вильямом Шекспиром, но кое в чем и нет.

А генерал Людендорф в 29 г.: «истинные германцы не могут быть христианами».

Нужно долго мучиться,
И тогда получится.
(Советская песня)

Да ты же написал гимн Советского Союза. И слова твои, и музыка твоя.

«Покажи мне Бога», — сказал некогда атеист христианскому мудрецу Феофилу Александрийскому. «Преж-

де покажи мне человека в себе, способного увидеть Бога», — ответил Феофил Александрийский.

Или начать так: «Я очень баб люблю, они смешные и умные».

Ах, зачем я не птица, не синяя птица?
Помолчал бы уж, старый вахлак.

выражает стиль не столь низменного, сколь неизменного народа

Сидит, надулся, как какой-нибудь Буонаротти.

Глядя на военных. Почему-то свербит из Чехова: «Хоронили генерал-лейтенанта Запупырина».

вечером — неусыпный, утром — беспробудный

«Мне, конечно, трудно сравниваться с передовыми доярками».

ты просто вписался в полукультуру.

И чего из себя воображает. Прямо не человек, а букет цветов из Ниццы.

Приятная и мучительная роль доверенного лица.

Мой партнер по стратегическому альянсу

Мне не до сук.

Даже когда их много, я к ним ко всем вместе обращаюсь на «ты».

Придать своим словам достаточную теплоту, и вместе с тем не переусердствовать.

Меланхолия ищет несчастье и фиксируется на нем.

«умудренный знанием грусти»

Нежность серьезная, без сюсюканья, без слащавости, без причитаний, даже без излишней ласковости.

Это такое страдание, что и смотреть на это было жестокостью.

Между прочим, самая милая из современных русских песен: «...я с каждой елочкой знакомлюсь за руку...» и т.д.

А разве я кого-нибудь трогаю? Даже иду когда, собачка какая-нибудь выскочит, я ей говорю: «С легким паром тебя, собачка». Только и всего.

Ж. П. Сартр: сахарная болезнь и самопроизвольная дефекация — болезни русского социализма времен диктата Иосифа.

Я в последнее время занят исключительно прослушиванием и продумыванием музыки. Это не обогащает интеллекта и не прибавляет никаких позитивных зна-

ний. Но, возвышая, затемняет «ум и сердце», делая их непроницаемыми ни снаружи, ни изнутри.

Если «да», то «да». Если «нет», то «нет». Что сверх того — то музыка.

Орфея и Фауста роднит то, что оба они заклинатели царства теней.

Человек, запятнавший себя сделкой с дьяволом, опознается после смерти: на смертном одре вы увидите его лежащим лицом вниз, и хоть пятикратно его перевернете, все равно так он и останется.

заключившие союз с чертом могут еще спасти свою душу путем принесения в жертву тела — т.е. самоубийством.

обходительная музыкальная манера

это возвышает меня, но не стимулирует

не попутно, а мимоходом

В 10-х гг. этого века сочинения Зигмунда Фрейда были внесены в «Индекс запрещенных книг». (См. Фрейд: «религия — иллюзия без будущего».)

греховный потенциал человека

Искусство теперь завязло, отяжелело и само глумится над собой.

он стонет и сознается уже на допросах «с малым пристрастием».

Эта колыбельная мелодия так же смахивает на траурную, как — еще Манн заметил — немецкая зыбка смахивает на катафалк.

необъятность сферы банального

ощущение своей социальной второстепенности.

желание чуть пофосфоресцировать

Но так как виновны мы, наш вопль повисает в воздухе и, подобно молитве короля Клавдия, «не достигает неба».

Это гибель, озаряющая небосвод багровыми сумерками богов.

Что лучше: дремать или следовать за ложными пророками?

Не исследование, а мечтательное умствование.

очень добропорядочная мысль

Сравнить превращение бесцветной мелодии в более терпкую и приятную с превращением воды в вино в кувшинах Галилейской Каны.

Я овладевал ею по мере того, как она мной овладевала.

Раньше привораживали мазью, сделанной из жира умершего некрещеного младенца.

Из числа людей уклоняющихся, сторонящихся, соблюдающих дистанцию.

временное приобщение к сельскому примитиву

Для того чтоб посвятить себя музыке, нужны известные душевные предпосылки, в которых ему отказано природой.

он страдал от чрезмерно развитого чувства комического

средневековая грехобоязнь

Мир вступает под новые, еще безымянные созвездия.

здесь слышатся короткие резкие удары, как звон пощечин по лицу Спасителя

На 27-м году жизни, наконец, научили понимать Шопена и женские партии Римского-Корсакова.

Я знаю ее и визуально и акустически.

моя привязанность к сфере словесно-гуманитарной

Не надо говорить: «прописной истиной», надо говорить: «общим местом».

Женщину красит заурядность.

Надо преодолеть высокоинтеллектуальную напряженность беседы, соскользнув в сферу легкой и обыденной болтовни.

Содержание

Венедикт Васильевич Ерофеев

Собрание сочинений
Том 1

Редактор
А.Л. Костанян
Художественный редактор
Т.Н. Костерина
Технолог
С.С. Басипова
Оператор компьютерной верстки
А.В. Волков
П. корректоры
В.А. Жечков, С.Ф. Лисовский

Издательская лицензия № 065676
от 13 февраля 1998 года
Налоговая льгота – Общероссийский
классификатор продукции
ОК-005-93, том 2: 95 3000 –
книги, брошюры
Подписано в печать 3.09.2001
Формат 70x100/32
Гарнитура Таймс
Печать офсетная
Объем 11 печ. л.
Тираж 15000 экз.
Изд. № 1727
Заказ № 1985

Издательство «ВАГРИУС»
129090, Москва, ул. Троицкая, 7/1

E-mail — vagrius@vagrius.com
Информация об издательстве в сети
Интернет: **http://www.vagrius.com;**
http://www.vagrius.ru
Новости «ВАГРИУСа» на сайте:
http://www.ONLINE.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
во ФГУП ИПК
«Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск,
ул. Гончарова, 14

ISBN 5-264-00706-3

